

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

И пусть не слушают —
Мне нечего им спеть.



Давным—давно
я разметала бисер.
Души
обезображенная
треть
не дарит чувств —
Остались только
мысли.

Елена
Бакановская.

И мы парим,
парим, парим
в кубическом
просторе лавки,
где пролетает
херувим
с лицом
замученного
Кафки.

Юлия
Кунина



Может, не искать причин
для драк за ту социальную
справедливость, что сегод-
ня глядится целесообраз-
ной, а завтра тонет в
кровавых озерах? Если оце-
нивать целесообразность, то
вести счет следует на одну
человека—единицу, а не на
людские коллективы любых
размеров.
...«Жила бы страна родная,
и нету других забот...» —



пели, словно роботы, не за-
думываясь, позволяя непоз-
нанному смыслу вирусом
внедряться и заполнять ду-
шу, свободную от знаний,
освященных канонами нрав-
ственности родившей нас
цивилизации. Если «нету
других забот», то лишь пус-
тым гулом гудят заповеди,
заложенные в основание на-
шей морали.

Юлий Крелин

То, что люди говорили для органов печати,
редко бывало интересным. Говорили то,
что им уже приходилось читать в этих
органах. И чем лучше
была у них память, тем
ближе они воспроиз-
водили это, уже тысячу
раз сказанное или на-
писанное. Инстинкт
самосохранения... под-
сказывал им держат-
ся как можно дальше
от точных деталей и
личных мнений...

Борис Носик

Ездок запоздалый и скрытый
Летит мимо Красных ворот,
И конь по асфальтовым плитам
Копытом
невидимым бьет.
И мчатся
для глаза незримо
Отец и испуганный
сын

По улицам
Третьего Рима,
Средь кладбищ его
и руин.

Александр
Тимофеевский



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов • Виктор Астафьев • Ценко Барев
Николас Бетелл • Александр Блок • Иосиф Бродский
Владимир Буковский • Армандо Вальядарес
Игорь Виноградов • Галина Вишневская
Георгий Владимов • Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский • Пауль Гома
Милован Джилас • Пьер Дэкс • Эжен Ионеско
Фазиль Искандер • Оливье Клеман
Роберт Конквест • Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов • Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный • Амос Оз • Булат Окуджава
Ярослав Пеленский • Норман Подгорец • Андрей Седых
Виктор Спарре • Витторио Страда • Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём • Юлиу Эдлис

Корреспонденты «Континента»

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti
via C.Hajech 10
20129 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский
Edward D.Losansky
3001 Veazey Terrace, N.W.
Washington, D.C. 20008 USA

Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «Континент» © В.Е.Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

70

**Париж — Москва
1992**

КОНТИНЕНТ CONTINENT

Revue trimestrielle

Dates de la parution:

debut du janvier, d'avril, du juillet et d'octobre

Publiee par l'Association des Amis

de la revue "Continent"

16, rue Lauriston

75116 PARIS, France

Prix 60 francs

Directeur de la publication

Vladimir Maximov

Континент © В.Е.Максимова

Содержание

Елена И г н а т о в а — Новые стихи	7
Николай И с а е в — Фарфоровые головы. Повесть	12
Александр Щ у п л о в — «В год посещения Воландом Москвы...» Стихи	62
Юрий М и л о с л а в с к и й — Чтец-декламатор. Рассказ	69
Александр Т и м о ф е е в с к и й — Стихи разных лет	86
Борис Н о с и к — Человеческий фактор. Повесть	92
Михаил А н д р е е в — «И уже не топится тюрьма...» Стихи	133
Александр П о л я к о в — Сразу за поселком — степь. Рассказ	136
Владимир А д м о н и — Стихи ленинградские, стихи петербургские	143
Юлиу Э д л и с — День Победы. Рассказ	148
КАРТА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ	
Наталья Г р у з д е в а , Анна Б е р д и ч е в с к а я , Елена Б а к а н о в с к а я , Юлия К у н и н а	169
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Юлий К р е л и н — Целесообразность	187
ЗАПАД — ВОСТОК	
Ян О р у — Размышления о филантропии	205
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Юрий Ц е х н о в и ц е р — Дневник без имен и чисел. Разрозненные мысли о нашем городе	218

ИСТОКИ

Владимир Бондаренко — «Господи, поверь в нас...» Поминальная молитва Валентина Распутина	245
---	-----

ИСКУССТВО

Елена Курляндцева — Дорогое искусство	260
---	-----

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Елена Степанян — «Не стал ничтожным ни единый...» Заметки о лирике Семена Липкина	275
--	-----

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Черная дыра» постперестройки	284
---	-----

НАША ПОЧТА	287
----------------------	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Зиновий Паперный, Михаил Яснов	291
---	-----

КОРОТКО О КНИГАХ	308
----------------------------	-----

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	311
---------------------------------	-----

НАША АНКЕТА

«Мы — Евразия»

Беседа с Никитой Михалковым

<i>Ведет поэт Эдмунд Иодковский</i>	317
---	-----

* * *

А. Сопровскому

Ты прав — расправленный простор,
травы, присоленная снегом,
и в полночь жизни — смутный вздор,
что не излечишься побегом,
судьба больна... а не страна...
все это было, было, было,
как бы истертое кино
перед глазами зарябило.

По мне же — горсточка тепла,
свободный говор, гонор нищий
и страшная живая мгла,
что за моей спиной свищет, —
важней. В любой из наших встреч
сквозь проговорки и усталость
земная соль, родная речь
тесней сбивается в кристаллы.

* * *

В этом горчайшем парке еще продолжим гулянья,
столь он премного воспет, что странно,
что до сих пор деревья выбрасывают почки
и на лугах вороны бродят поодиночке.

Сколько я туфель стоптала, твердя о красотах
его теням экскурсантов. Кто там
выгуливает ежонка у стен Монплезира?
Мы с маленьким сыном в юном ветшающем мире.

Боскеты его — гравюры. Пруды его — акварели.
Ты, ускоряя шаг, не шевельнешь даже пыли,
но мы здесь перекликались и не теньями были,
и среди каменных лиц наши лица не каменели.

В этом горчайшем... помнишь?... сова окликает
полночь.

Света его луны не отмыть и водой Иордана,
не замутить слезами, но позовешь на помощь —
и он задрожит, сияя из цветного тумана...

* * *

Всадник бел на оснеженной горе.
Дрогнет яблоко в кожуре,
зарумянясь на замше перчатки.
Вышли деды — «Здравствуйте, генерал!»
Овчина шапок — «Здравствуйте, генерал,
будь вам наши яблоки сладки».

Мне приснился Скобелев — генерал,
невысокий утоптаный перевал,
крап кровавый и кремнь Шипки.
Турок нам-то что твой басмач —
славянин, воитель и бородач,
переможет, конечно, в сшибке.

Заведу избу, а в ней образа,
а под ними картинку — смотреть глазам,
как гарцует Скобелев на лошадке,
вот и пристань... здравствуйте, генерал,
коммунисты... слышали, генерал?
Нам отчизны сумерки сладки.

Разве это расскажешь? Судьба хороша
тем, что мне не должны ни любви, ни гроша
все, с кем в нежители билась, как в неводе,
чешую обдирая, пробились — и ах! —
здесь мужчины в таких пожилых пиджаках
припадают к портрету Хомейни.

Мы стоим у «Машбира». Дырявый жилет
прикрывает крыло его. Прошлого нет,
все, что прожито, — грубо и начерно,
но усмешка его словно шепот впотьмах,
словно он разбирает в кривых небесах,
что нам дальше судьбою назначено.

1990

* * *

Из мира теней, тенет —
дому и граду привет,
где месяц и ангел вместе
вплывают в закатный свет,
латник в часовне спит,
в лавре от свеч тепло.

Мир тебе, Гром-гранит,
сонной реки стекло!
И отзовется: «Нет,
нет твоей тени здесь».
— Есть, — отвечаю, — есмь!
Здесьней судьбы замес,
полость истлевших лет.

Что сравнивать? Мой птичий профиль жалок,
седеет соколиное перо —
а ты в цвету. И яркий полушалок
в морозном воздухе сверкает, как осколок,
и снег хрустит «добро-добро-добро»...

Запомнила — январь, крещение Сына,
купель бездымной голубой воды,
морозный воздух, посвист соколиный
и маленькие девичьи следы.

Безгрешен поцелуй крещенской ночи,
вскрывает ветер лед реки больной,
горит вода в серьгах твоих сорочьих,
а туфельки ступают все короче
московской зачумленную землей.

ФАРФОРОВЫЕ ГОЛОВЫ

Наступила ночь. В принципе, было тихо. Многие спали. Ночь в среднерусской полосе значительно отличается от своей тропической подруги.

В тропиках об эту пору тапир пробирается к болотистым речкам, где встречается со своими товарищами по взглядам, и далее валяется в грязи, выбирается из своей темной норы двуутробка, чтобы поискать чрезмерных плодов, осторожная агути выходит из-за кустов, отряд кошачьих ждет своего красного оленя, следующего на неизбежный водопой.

Визжит маленький сапажу, стонет ревун, ноет двурукули, воет на ветке филин, квакают огромные лягушки, козодои доводят себя до того, что начинают вздыхать, орут попугаи, бьются в истерике обезьяны, и, лишь только забрезжит заря, поднимают свой отвратительный треск безумные птицы — цикады.

В России ночью проще. И тише. Основные события происходят, как правило, днем.

Утром новый аппарат редакции районной газеты «Ясный путь» целиком сидел в кабинете Обрезкина. Все были погружены в освещенный воздух и освещенную тень. По сути дела, в этом и заключается триумф техники Рембрандта. Да и все собрание напоминало собой не что иное, как прогулку стрелков среди бела дня.

На Обрезкина в этот великий день было приятно смотреть: он зашел в парикмахерскую и добился того, что ему сделали ацентральную ниспадающую прическу — волосы были направлены в разные стороны, соответственно их естественному росту. Несмотря на

огромное разнообразие существующих причесок, основными их элементами в Артебякине являлись волны и локоны. Локоны у Обрезкина были завиты способом «восьмерка»!

Труд в периодической печати во все времена и у всех народов пил и пьет красную кровь. Так как город Артебякин издавна стоял на перепутье торговых путей и никогда не был чужд вздохам и выдохам общей государственности, то и в Артебякине, стало быть, труд в печати регулярно уносил лучшие молодые жизни.

Не мудрено, что, когда возник вопрос: «Кого же теперь?» — все сразу с удовольствием указали на Обрезкина как на главного редактора городской газеты «Ясный путь», и у того не оказалось ни сил, ни денег, ни двухколесного велосипеда, чтобы отказаться и вести прежний честный и непорочный образ жизни, который, собственно, и составлял основной предмет его существования.

К моменту появления Обрезкина в редакции там уже всех сняли. Новая метла должна была мести по-новому. Обрезкин пошел по пути сильных личностей: окружил себя старыми знакомыми и журналистами, связанными с ним кровно...

По правую руку от редактора сидел его заместитель Аглашенный, заведующий сельскохозяйственным отделом Провиантов докуривал «бычок», вдыхая с никотином окись углерода, свинец, мышьяк и бензеперин. Табачная смола поражала реснитчатый эпителий.

На Провиантова локтем оперся Драповый мужик — заведующий отделом культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, науки, литературы и вообще...

Завотделом писем Бусурманов с отвращением держал над головой первое письмо редакционной почты.

Петя Темно-Синий, имевший форму неправильной жемчужины, являлся заведующим промышленным отделом.

Ждали, кто начнет делать газету.

Для начала решили вскрыть письмо с голубой маркой. Марка была из серии «Жизнь замечательных людей» и изображала Гете, когда он возвращался с первого представления «Ифигении».

Он увенчан лавровым венком госпожою Шредер, герцог Карл-Август представляет его публике, которая осыпает поэта-драматурга цветами. Перед ним склоняется Виланд. Герцогиня Амалия смотрит на него, подле нее находится баронесса, которая почти падает перед ним на колени. Амалия Коцебу стоит во втором ряду, осыпая Гете фишечками. Подле Виланда стоит Мерк, аплодирующий поэту-драматургу, и слабый поэт Музеус.

Обрезкин письмо читать не стал, но сжег, так как считал, что это хорошая примета — поступить так с первым письмом редакционной почты.

Ждали прибытия лидеров артебякинского кружка политминимума, в чьем прямом подчинении находилась газета.

Дом городского кружка политминимума находился недалеко. Перед ним стоял четырехгранный мраморный столб, на котором была приклеена бронзовая доска с надписью: «Коль велико удовольствие честным душам видеть добродетели и заслуги, общими похвалами венчаемые».

Наконец появились товарищи Дятловы — Дятлов-первый и Дятлов-второй.

Дятлов-первый относился к тем блестящим личностям, которые пополняют историю, как сыры кувшины. Он так привлекал к себе всех, что одна только речь, произнесенная им при первом въезде в Артебякин, пленила своими рассуждениями более семи тысяч человек, и ни один из них не вернулся домой.

Дятлов-второй был скорее скромным мыслителем, но обладал даром отвращать ураганы и приостанавливать градобития.

Передвигался Дятлов-первый на стреле Юпитера, что вызывало некоторое оживление в буднях артебянского общественного транспорта.

Напутствуя новый аппарат газеты «Ясный путь», Дятлов-первый разрешил исполнение газеты в акварельной технике, «по-сырому», или, как еще часто говорят, «аля прима».

В ответ Обрезкин попросил разрешения сделать первый номер газеты устным. Провести его сначала в городской черте, а далее среди цветущих огородов и равнин.

На это было получено соответствующее согласие.

Перед уходом, пожелав плодотворной работы, Дятловы набросали примерный текст передовой статьи, в которой Дама Добродетель и Дама Честь обмениваются рассуждениями в обществе Умения Вести Себя, Безупречной Репутации, Благородства, Истинного Желания, Небывалых Достижений, Подлинной Демократии и отдельных недостатков в условиях Развитого Социализма.

Работа начинала налаживаться. В окно по водосточной трубе влез камышовый кот. В петлице у Жульена была пошлая белая хризантема, опирался негодяй на тросточку с белой костяной ручкой.

— Я хочу дать брачное объявление, — заявил Жульен, садясь напротив Обрезкина.

— Ты ж женат, — отвечал Обрезкин, роясь в пачке корректуры.

— Татьяна больше не желает жить в камышах. Два года я говорил ей, что Венеция тоже находится на воде, и она соглашалась, но на днях заявила, что просто физически чувствует, как проходит молодость.

— Н-нда, — вздохнул Обрезкин, ощупывая склеротическое колено.

— Мы разошлись очень интеллигентно. Думаю, в Копенгагене она не раз пожалеет о содеянном.

Обрезкин удивленно поднял брови.

— Да... Она вышла за какого-то датского слависта. Я его видел. Производит впечатление очень интеллигентного и пунктуального старика. Ему лет 80, не больше.

— Не злословь, — сказал Обрезкин.

— Нет, ради Бога, я безумно рад за них. Особенно за Татьяну, да и за него. Исключительно бравый старикан. Дай Бог ему пережить. ...Впрочем, все это в прошлом. Я хочу начать все с начала, хочу снова жениться на хорошенькой.

Жульен пододвинул к редактору свое объявление:

«Молодой кот в зрелом возрасте (без пороков) желал бы познакомиться с целью брака с милой, музыкальной, веселой, очаровательной кандидатурой с уживчивым характером. Имеются значительные сбережения и связи...»

— А как там у вас Цапля поживает? — спросил Обрезкин.

— А что ему сделается? Шляется по камышам, дерет глотку. Да, собственно, заходи с аппаратом хоть сегодня. Поужинаем, посмеемся. Потом можно зайти и к Младенцу.

— Посмотрим, — решил Обрезкин.

Кот кивнул и по стенке выскользнул в коридор. Жульен отправился к женщине.

Кот вышел к нужному ему дому и позвонил три раза. Дверь открылась, и он оказался там, где желал. Наперсница разврата ввела Жульена в невысокую галерею, откуда они вышли наконец на террасу. У круглого мраморного столика, закрытого до половины цветной скатертью, сидела молодая женщина. На ней была спущенная ниже плеча белая рубашка, подпоя-

санная под грудью розовым шарфом, серая шелковая юбка и синяя шаль. Светлые волосы ее непринужденно украшались розовыми бутонами. Повернувшись влево, она смотрела на стоящего перед ней молодого человека в лиловом берете.

Кровь вскипела в тугих жилах Жульена и на мгновение ослепила его. Когда священный дар зрения вернулся к нему, на присутствие молодого человека нигде не было и намека. Кот несколько смутился, тем более, что раздался голос царицы:

— Подойдите, мой друг, всего лишь несколько шагов, но они сблизят нас до предела.

Жульен сделал предложенные несколько шагов, и ее дыхание заставило его покачнуться. Он оперся на трость, преследуя единственное желание: не рухнуть от любви.

— Поглядите на вазу! — приказала дева. — Вы видите теперь вазу.

Кот уперся шаровидными глазами в стоящую на площадке сада глиняную вазу, наполненную цветами. Тюльпаны, махровые и простые анемоны, махровый мак, гортензия, мальвы. Перед вазой, из приподнятого белого с голубым рисунком блюда вывалились махровые маки и анемоны, розы и гвоздики. Справа на краю фонтана лежали две белые розы, белый же цветок лежал в текущем от него ручейке. За фонтаном вдали виднелся кустарник и легкая изгородь. Слева был виден угол высокой садовой стены, увенчанной каменной вазой. Спереди росли кусты с высокой мальвой и лежал большой камень. Пейзаж был погружен в прозрачные коричневые тона, среди которых выделялись освещенные слева колоритные букеты.

— Мне нужны деньги! — капризно заявила дева.

— Много? — спросил Жульен, как спрашивают всегда, когда уверены, что много и очень много.

— Пятьдесят тысяч.

— Пятьдесят тысяч?! Сумасшедшие деньги.
Дева залилась слезами.

— Я не понимаю, на что можно потратить пятьдесят тысяч в условиях развитого социализма?! Вы можете мне объяснить?

Дева слабо указала на архитектурные обломки позади столика.

Жульен подошел к ним невнятным шагом капитана кавалерии. Действительно роскошные архитектурные обломки! Они были завалены грудой битой дичи: глухарями, дятлами, снегирями, вальдшнепами, сойками, куропатками, утками и зайцами. Вдалеке взбирался на холм окруженный гнусной сворой собак охотник в красном камзоле. Глаза резала желтая, коричневая, белая и ярко-красная шерсть и оперение животных и птиц.

— Я иду за ними! — и Жульен скрылся в галерее.

У Обрезкина, естественно, не оказалось пятидесяти тысяч. И у Аглашенного тоже. Драповый мужик долго рылся в карманах брюк, пока ему не надавали подзатыльников.

Решили идти в железнодорожный карьер и скандальить там.

Разные канавы обступали Обрезкина в сознательной жизни. Но так глубоко было в первый раз. Вниз карьер спускался уступами. Вверху едва заметен был тонкий слой чернозема, культурный слой земли. Обрезкин невольно уловил кровное сходство с этой узкой полоской и словно увидел со стороны размеры собственных гуманистических усилий.

Далее за черноземом шел мел, пески, юрские суглинки, наконец, красно-коричневая девонская глина.

Кварциты переходили в синюю до черноты железную руду Синюгу.

Карьер напоминал один из клубов Монте-Карло. Разница состояла в том, что огромные суммы здесь проматывались не одиночками, а государственными орга-

низациями с, казалось, неисчерпаемыми возможностями.

Сорокатонные самосвалы пробивались к экскаваторам через дороги, забитые кварцитами, и прямо на глазах резали их острыми краями гигантские покрывки. Каждая в 1300 рублей.

У Жульена до сих пор стремившегося выяснить, насколько мог реально существовать молодой человек в лиловом берете, вышибло из головы все подозрения. Он буквально почувствовал запах сумасшедших денег.

Между тем, перерасход по резине достиг 580 тысяч рублей. На общей организации работ, предложенной горняками автомобилистам, автохозяйства несли колоссальные потери.

Обрезкин с Аглашенным нашли маркшейдера Мельникова-Печерского и посоветовали ему показать, кто здесь хозяин. Мельников-Печерский погладил лоб Жульена, который тот не переставал совать ему под руки. Потом Мельников-Печерский сделал замер вывезенной руды и снял с выработки автомобилистам 655 тысяч тонн руды, в сравнении с их оперативным учетом — 10 процентов от вывезенного. Тогда автохозяйства добавили 650 тысяч официального перегруза...

Обрезкинцы чисто интуитивно взяли сторону автомобилистов, и горняки решили дрогнуть. Штраф в 90 тысяч рублей был заплачен. Жульен 50 сразу же забрал себе, и только его и видели. Вокруг оставшихся 40 тысяч замелькали идеи. Собственно, идея была одна, но все службы автохозяйства делали вид, что их много.

Уже сама по себе мысль пропить 40 тысяч вселяла в сердца такое ощущение, что разулыбались до ушей самые отъявленные скептики...

— Красиво идут! — говорили горожане, любясь колоннами. — Куда, не говорят?

Первым обо всем узнал экипаж буксира «Удовлетворительный», находившийся ближе всех к берегу на камнях известного у речников порога «Альпийская баллада».

— В волнах забвенья ищем, а берег пост иную песнь! — констатировали альбатросы, буревестники и часть команды, свободная от вахты.

Представители лесхозов в новых фуражках обступили Обрезкина с его аппаратом и просили показать Драпового мужика, что у него круглится под пиджаком.

— Это у него водка под пиджаком! — убежденно говорили друг другу люди из леса. — Они ее на берегу выпить хотят.

— Нет, это только всем кажется, — отпирался Драповый мужик.

— Тут и думать нечего, — мрачнели коллективы лесозаготовительных хозяйств, — если бы не мы — уже бы откупоривали...

Тревога передалась на плавсостав. Команда буксира «Удовлетворительный» отказывалась верить просочившимся слухам.

— Это у него плечо играет, круглится до поры! — кричали речники.

— Нет, это не плечо, — все больше отчаивались коллективы лесхозов. — Чего молчите-то, чего задумали?

Обрезкинцы на ковре из трав, кустов и цветов разложили закуску и вытащили стаканы. Травы набирали силу, и Аглашенный объяснил, что это вокруг прежде всего — вех ядовитый, растущий по берегам рек. Ядовиты все части растения, особенно корень, богатый ядом цикутотоксином.

Разлили по первой.

— Как, говоришь, яд называется? — переспросил Обрезкин.

— Цикутотоксин. Отравление протекает очень тяжело, с судорогами.

— Цикутотоксин — красивое слово, — повторил Обрезкин.

— Белладонну вижу, — продолжал бравировать Аглашенный. — Съешь три ягоды — расширятся зрачки!

— Так... — одобрительно кивнул головой Провиантов. — Расширятся зрачки.

— Болиголов пятнистый растет, — куражился Аглашенный. — Содержит в себе яд кониин. Во время отравления поражается центральная нервная система.

— В самую серединку, значит, — вздохнул Драповый мужик и протер впалую грудь любящей ладошкой.

— Белена. Приводит к рождению галлюцинаций, — показал Аглашенный на семечко.

Семечко тесно обступили и посмотрели с уважением.

— Слива, — кивнул Яша в сторону. — В плодах косточковых — яд амигдалин. При его расщеплении образуется пагубная синильная кислота. Паралич дыхания. Смерть.

С уклона выкатился состав и загромыхал мимо на знаменитое место пересечения трехпутного железнодорожного участка путепроводом, рельсы здесь закруглялись с радиусом меньше 200 метров. Машинист Вережкин помахал обрезкинцам рукой и повел электровоз «Е-10», стоимостью в 350 тысяч, и 11 думкаров, каждый в 250 тысяч, в последний путь.

— Притормозил бы, — предложил Обрезкин, указывая на место рядом.

— Не могу, — отвечал Вережкин. — Пневматический тормоз отказал.

— Пневматика отказывает в пути, — кивнул Драповый мужик.

— Куда же ты теперь поедешь? — вежливо спросил Обрезкин, заглядывая под уклон.

— Ты, главное, с рельсов не уступай, — советовал Вережкину экипаж буксира «Удовлетворительный»,

сидевший все там же на популярном у речников пороге «Альпийская баллада».

— Как же мне не уступать, когда там скругление, с моей-то скоростью? — узнавал Веревкин, подлиннее высовываясь из служебного окошка.

— А ты вот так, не уступай — и все! — безапелляционно отвечал экипаж «Удовлетворительного», покачиваясь на волнах разбушевавшейся стихии.

— Это у вас, у мазуриков, все можно, а у нас — порядок! — говорил Веревкин. — Чуть что — и к начальнику службы подвижного состава.

— Строг?! — узнавали речники.

— Ты, Веревкин, попробуй реостатным тормозом зацепиться, — посоветовал, вспомнив, Аглашенный.

— Реостатным, — передразнивал Веревкин. — Чего же ты раньше думал, теперь уж прыгать надо!

— Прыгнешь?! — восхитился Обрезкин.

— Могу и прыгнуть, — сомневался Веревкин.

— Чего тут прыгать, мы бы все прыгнули! — горланили на палубе «Удовлетворительного».

Веревкин действительно выпрыгнул.

При приземлении он продавил крупную воронку, а под нею протреснулся древнегреческий амфитеатр с целыми скамейками на трибунах. Туда и перешли. Машинист Веревкин сел со всеми и заспорил, что страшнее: крушение состава или крушение души?

Веревкин, как специалист, настаивал на приоритете крушения состава. Часть присутствующих колебалась. Обрезкин считал, что трагическое крушение души неизбежно, и сравнивал душу с подводной лодкой в Атлантике. Как ни меняй курс, глубину, чуткое ухо акустика тебя обнаружит, и специальный противолодочный корабль с отличным экипажем получит команду «Расчехляй!..»

На театлоне появились Дятлов-первый и Дятлов-второй.

— Ты что откопал, парасид?! — спросил Дятлов-первый и ткнул, спустившись, пальцем в скену. При этом Дятлов-второй зашел в левый параскений.

Веревкин отчаянно оглянулся и промолчал.

Дятлов-первый взобрался на декоративную скалу, где раньше, вероятно, помещался прикованный Прометей, и оттуда еще раз вопросительно посмотрел на машиниста Веревкина.

Спустившись оттуда, Дятлов-первый приступил к Веревкину вплотную и сказал:

— В последний раз спрашиваю... Театр откопал, да?

— Да, — выдохнул Веревкин.

— Ну, вольному воля. Не мальчик... Слышал, небось, о театрах разное?!

— Слышал... — признался Веревкин.

— Слышал и откопал?!

— Слышал и откопал.

— А ты что же, не слышал, что у нас уже есть один? — приподнял Веревкина над оркестрой Дятлов-второй.

Мало-помалу в амфитеатре стал собираться народ.

Собрание посвятили небывалым достижениям русского народа в минувшие понедельник и вторник и частично должны были затронуть историческое значение первой половины прожитой нынешней среды.

Слово было предоставлено председателю кружка политминимума товарищу Дятлову-первому.

Оратор начал свою речь с приветственного обращения к группе лиц, которые выполняли исторические решения последнего съезда и выращивали не более не менее, как лен-долгунец...

Одобрительные крики и здравицы правому делу прервали на время оратора.

Во второй части речи Дятлов-первый дал научную формулировку тому моменту, когда следует ожидать построения коммунистического общества в СССР.

— Всякий, — подчеркнул оратор, — изучавший хотя бы элементарную тригонометрию или аналитическую геометрию, знает о том, что некоторые кривые представлены для нас так, что мы находим одновременно и кривизну, уходящую своими разветвлениями в одну сторону, и кривизну, как бы приходящую своими разветвлениями с противоположной стороны. Подобного рода представления основаны на том, что все, доходящее до бесконечности удаленной точки, описывает некоторого рода бесконечную окружность, возвращаясь к нам с противоположной стороны... (Громкие аплодисменты, переходящие в овации. Крики: Верно! Правильно! Прекратите безобразие!)

...Окружность с бесконечно большим радиусом настолько уменьшает свою кривизну, что эта последняя доходит до нуля, и в этом случае круг превращается в прямую линию. Другими словами, бесконечно продолженная прямая есть окружность, а окружность с бесконечно большим радиусом есть прямая... По-моему, это понятно!.. У кого есть вопросы?

Вопросов оказалось умеренное количество.

Экипаж буксира «Удовлетворительный» спросил, не будет ли вновь открыта греческая мысль, раз откопали древнегреческий театр.

Из президиума поступило разъяснение, что проведение открытия греческой мысли вторично плановыми органами не планируется.

Машинист Веревкин спросил, можно ли ему всецело положиться на приведенную выше формулу насчет прямой бесконечно кривой линии, не последует ли отрицание ее последующими президиумами и не будет ли она квалифицирована как нарушение социалистической законности и искажение фундаментальных положений, так как слишком свежо в памяти осуждение Аристотеля Парижским университетом.

Драповый мужик отсидел ногу, встал в своем ряду и стал колотить ступней по каменной кладке. Колотил он до тех пор, пока из президиума не пришло предложение прекратить акты вандализма на местах.

Расходились под вечер.

На окраине города протекал ручей, берега которого поросли старыми деревьями. Справа через мостик шла дама в розовом декольтированном платье с высоким воротником. В правой руке она держала веер. Ее сопровождал, держа за левую руку, кавалер в коричневой курточке и круглой шляпе.

Впереди бежала постриженная белая собачка, откликавшаяся на кличку. Под деревьями сидели, обнявшись, дама в голубом и кавалер в откинутом назад красном плаще. Слева шла крестьянка в розовом корсаже и несла на голове корзину.

Аглашенный попросил у нее понести корзину на своей голове. Та отказала, и ему пришлось искать для головы иных развлечений.

Коллектив фабрики «Новый лист фанеры» и автоколонна № 6 осуществляли некое вакхическое шествие к музыкальному училищу № 1. Девушки жили в общежитии, наполняя собой пять этажей... Услышав издалека два знакомых голоса фанерщиков и шоферов, девушки — будущие педагоги — побледнели. Остановившись у общежития, фанерщики и автомобилисты потребовали любви.

Девушки, высунувшись в окошки, противопоставляли необузданным пожеланиям девичью честь и гордость, серьезность в большом и малом.

Фанерщики про девичью честь и гордость говорили:

— Фикция!

— Ничего и не фикция, — отвечали девушки.

Или:

— А вот и не фикция! Нам заниматься надо!

— Без кислорода любви зачахнешь! — говорили фанерщики. — Кислород любви обязан проникать в легчайшие легочные пузырьки, нареченные от бога — альвеолами!.. В альвеолах красная кровь неслышно и незримо поглощает кислород Любви!

Девушки закусывали губки. Тогда фанерщики заходили с другой стороны и шептали:

— Годы идут... Годы проходят...

Девушки задумчиво замолкали. Многим было уже по 19...

— Красота не вечна... Годы прибывают, — продолжали фанерщики.

Девушки начинали сомневаться.

— ...Мелеют воды Арала... Что и кто может спасти любимое море? — Никто и ничто...

Девушки вздыхали, откладывали замужество до лучших времен и распахивали форточки. Фанерщики залезали на тонкие девичьи постели и топили пуговицы курточек в петельках. Девушки гасили свет.

Ночью (ср. тропическое ночью) фанерщики ввали!

Выяснялось, что часть их служила в авиации и — как прямое следствие — улетаала,.. часть — в морском флоте, и — как прямое следствие — уплывала,.. остальных рассадили по танкам, и они ездили из огня да в полымя.

Все были разжалованы из-за раскрывшейся любви к жене командующего Округа. Из-за любви разделенной.

Фанерщики ушли под утро клеить фанеру. Автомобилисты в котлован. Девушки вновь посвятили себя занятиям педагогикой.

Артебякинские горняки ночевали в одной постели со своими женами. Это было прекрасно. Жены носили их фамилии. Тайнство супружеского ложа еще, безусловно, ждет своего певца. В нем, в тайнстве супружеского ложа, главная, непреходящая ценность супру-

жеского ложа. Мыслимо ли супружеское ложе без таинства супружеского ложа? Нет, не мыслимо! Потому что супружеское ложе без таинства супружеского ложа это уже пустое ложе или черт знает что. Некоторые тем не менее пытаются сомневаться в существовании таинства супружеского ложа. Что им ответить? Указать на цветущий пример дипозитариев, находящихся в ветрограде таинства супружеского ложа. Если и после этого останутся сомнения касательно таинства супружеского ложа, этот разговор следует прекратить как никуда не ведущий.

Обрезкин, Аглашенный, Провиантов и Драповый мужик, продолжая работать над устным номером газеты, уломали кота и напросились к нему в гости, в камыши. Совсем недавно сегмент объявили заповедником, и с самим котом идти было надежнее. Жульен шел первый. Вскоре под ногами почувствовалась трясина.

— В трясиноу ведешь? — любопытствовал Драповый мужик, потрагивая кота за плечо.

Вышли к низкой воде, кот раздал из тайника сапоги и пошли по колено. Обрезкин в ужасе остановился: «Товарищи! Мне о голенище кто-то трется!..»

Молча пошли дальше, пытаюсь представить себе, о ком шла речь. Охнул и встал как вкопанный Аглашенный.

— Не пускает, — прошептал он в оправдание Жульену.

— Я тебя сейчас тростью огрею! — крикнул кот.

— За что ж?! — искал правду в камышах Аглашенный.

— Да не тебя! — и Аглашенного тут же отпустили.

Вышли наконец к большой воде. Заповедным местам. В теплых лужах выдры с чудовищным криком натягивали на головы ондатры. В воздухе парили херадэсы, вяло принадлежащие к понтийским видам. Сатана ги-

гантская привычно облетала акваторию, критически скользя взглядом по теплокровным. В воде плескались, загребая плавниками, коловратка нотоммата, аэлозома, оперкулярия, стилонихия, эпистилис, квархезиум и амeba террикола.

Обрезкин выворóтил карман, достал крошки и покормил несчастных животных. Вышли на сухой островок, легли в тени орхидеи. Глаза слипал сон. Только задремали, как наверху что-то забулькало.

У Обрезкина хватило сил поднять голову. Худшие его опасения подтвердились. На верхней губе цветка находился род бадьи, в которую с грохотом падали капли секретной воды, выделявшиеся двумя гнусными рожками. Рожки издавали приторный запах. Понятно, что тут же загудели пчелы. Три толстенные особи со скрипом влезли в цветок и начали с отвратительным звуком грызть бугорки под роскошным брачным шатром. Одна не удержалась и хлопнулась в бадью с водой, облив висевшие с просушечными целями пиджаки обрезкинцев. Пчела вся в пыльце выбралась откуда-то сбоку через случайно найденный желоб и улетела.

— И так у нас делается оплодотворение! — возмутился Обрезкин и пошел искать Цаплю.

Цапля стоял на болоте на одной ноге и смотрел в сторону Волги, так примерно в район города Горького. В свое время Обрезкин бывал в тех местах с импровизациями и прекрасно знал направление тамошних умов и состояние женской доли.

Цапля посмотрел на Обрезкина прищуренным глазом и ничего не сказал.

— Легко дышится, не находишь? — спросил Обрезкин, тайно желая привлечь Цаплю внештатно вести «Уголок природы».

— И не надейся, — ответил Цапля, прочитав его мысли.

— Хорошо, — легко согласился Обрезкин. — Что нового?

— Сон сегодня видел. Будто семеро мост построили через реку.

— Не к добру.

— Куда уж.

Обрезкин с Цаплей пошли к своим.

Аглашенный дул на воду, оголял дно, ловил сомов руками и клал в котел. Драповый мужик помешивал. Кот декламировал:

— Часто меня спрашивают: Отчего же здесь? И я без тени рисовки отвечаю: А где же? Где же, как не в камышах? Не в тростниках? Среди бамбука?

Кот рванул на себя ближайший стебель.

— О чем задумался, дружище? Верно, ты вспоминаешь того египтянина, который изрубил твое гибкое тело, закладывая его в преднамеренный кирпич. Отчего нет тебе покоя? Отчего шумишь, отклоняясь от вертикали?

— Говори коротко, с ясной целью! — приказал вернувшийся Обрезкин.

— Всю охоту отбил, — обиделся кот, массируя мышцы щек веерообразным движением лапы.

Ночь лепилась со своими кулачками поближе, по небу летали неоспоримые жар-птицы и роняли ослепительные перья на драп, гипюр.

Подошел Цапля, протянул к огню ноги, задремал. Аглашенный считал столбы верховного престола, Обрезкин обнимал правой рукой съездившегося Цаплю.

По небу с оглушительным треском просверкнула молния. К костру вышли Дятловы.

— Я тебе говорил — они, — с охотничьим азартом крикнул Дятлов-второй.

— Это Цапля дремлет! — возмутился Дятлов-второй. — А ну встать, когда с тобой разговаривают!

Он энергично растолкал Цаплю.

— Что?! Спишь?! Ничего не видишь?!

Цапля встал на одну ногу.

— Ты что «вольно» встал? Когда скажу, тогда будешь «вольно» стоять.

Цапля встал на обе ноги и втянул голову в плечи.

— Мы прекрасно знаем, что ты за птица! Летом наш хлеб жрешь, а где зиму зимуешь?! Куда отлетаешь?! Ты скажи, Цапля, где ты зимуешь? Ты, пеликанья голова, через Польшу на Дунай вылетаешь! А оттуда напрямик до Северной Италии и Южной Франции! Каждый год так, да?! До сих пор с рук сходило?! А оттуда куда? В Ливию! В Алжир, дрянь! Чуть осень, помахал крылышком и к ним! Через Средиземноморье! А кто по долине Нигер спускается к Гвинейскому заливу?! Кто зимует в Гане?! Смотри у меня, Цапля! Я тебе крылья быстро пообрываю! Хватит, долго с тобой нянчились! Ты чем здесь недоволен? Почему миллионы перепончатых довольны? А ну, попробуй подпрыгнуть!

Цапля нерешительно переступил с ноги на ногу и подумал: «Улечу в нейтральную Австрию! Устроюсь в аптеку».

— Подпрыгни! Попробуй, попробуй!

Цапля подпрыгнул. Дятлов-второй мгновенно схватил его за ноги: «Видал, каков на перехвате?! Хватит, долго нянчились...»

И он сгреб Цаплю в охапку.

Обрезкин с котом заломили Дятлову-второму руки.

— Что? Лидеру руки крутить? Святыню мусолить?

Аглашенный попримял его по щиколотки в топкую землю, чтоб поостыл: «Заповедник... Цапля охраняется законом».

— Кто? Цапля? Дрянь? Никаких вам заповедников! — он пытался вытащить ноги из земли, но безуспешно. — А ну, подойди сюда!

Цапля подошел.

— Обязанности дневального по роте!

Цапля без запинки ответил.

— Удовлетворительный ответ! — и, обратившись к прибрежному порыву ветра, приказал:

— Снять ранее наложенное взыскание!

Обрезкинцы пошли обратно в город, затащили песню: «Как Ефимов, сын Трофимов, охоч по лесу гулять». Вдалеке замелькал желанный огонек. Три часа они шли на огонек, пока не вышли на территорию артебякинского института молекулярной биологии.

...Началось с малого: путевой обходчик Восьмеркин увидел, как с неба упал круглый предмет с ничтожно малым диаметром. Подойдя к дымившемуся углублению в слое дерна, он переложил еще теплый предмет в казенную фуражку и отнес на станцию. «Предметом» оказалась самая сложная и тяжелая из найденных до сих пор органическая молекула.

Восьмеркина вызвали в Москву. Семья провожала его, как могла. В Москве Восьмеркина пригласили на восьмой этаж и там, на восьмом этаже, предложили сесть. Там он и узнал, что он тогда поднял на 12-м километре.

Это был цианотриацетилен...

Восьмеркин, что совершенно естественно в таких обстоятельствах, встал с дивана. С него взяли подписку о неразглашении и угостили чаем. Восьмеркин отхлебнул, но далее отхлебывание прекратил: формула цианотриацетилена оказалась — HCN_7 .

Теперь он целиком и полностью отвечал за один атом водорода, один атом азота и семь (!) атомов углерода и пятерых детей.

Молекулярный вес этого соединения по предварительным данным был равен 99...

Перед Восьмеркиным поставили следующую задачу: ни в коем случае не допустить распада цианотриа-

цетилен в земных условиях (под личную ответственность), не допустить реакции цианотриацетилена с другими веществами (под личную ответственность), сохранить цианотриацетилен до постройки на его базе артебякинского института молекулярной биологии.

Восьмеркин вернулся в Артебякин, молекулу обнесли забором, покрасили его в защитный цвет и начали строить. Спустя четыре дня институт приступил к научным изысканиям. А Восьмеркина, как оправдавшего доверие, назначили директором.

Через четыре года во дворе института раздался младенческий плач. Попервоначально говорили, что это родила лаборантка Холкина. Но скоро младенец подрос и стал, вставая, заглядывать через забор. Артебякинцы реагировали по-разному, но все страшно испугались. Тогда Восьмеркин, имевший давние и прочные связи как в центре города, так и на окраинах, пошел в народ и разъяснил, что это не просто младенец, а последнее слово в науке, оттого он и имеет возможность заглядывать, вставая, через забор. Артебякинцы успокоились, но через некоторое время возроптали вновь. Младенец стал заглядывать через забор не вставая...

Теперь со стороны городских застроек было отчетливо видно, что Младенец сидит в кресле-качалке и пристально смотрит на центральную площадь Артебякина. Восьмеркин и здесь нашелся и обратил внимание горожан, что Младенец перестал плакать и скандалить и ведет себя тихо и скромно, как созерцатель. Отдельные артебякинцы еще некоторое время громко отказывали в спокойном созерцании Младенцу, но вскоре свыклись с ним и полюбили.

В самом деле, и было за что: у Младенца вились великолепные чудные золотые кудри, ниспадавшие на плечи... Глаза были ярко-голубые. Общее выражение

лица задумчиво-печальное. Одну ножку он любил за-
кладывать на другую и верхней покачивать.

Головку он обыкновенно клал на пухлую ладошку согнутой правой руки и смотрел всегда вдаль поверх собеседника. Говорили артебякинцы о Младенце часто и с одной целью — отвести душу.

Но самое очаровательное свойство Младенца заключалось в том, что он светился по ночам. Как светлячок в кипарис-дереве.

Обрезкинцы в сумерках приблизились к нему вплотную. Младенец раскачивался в кресле-качалке, с чувством декламировал:

— В красавиц он уж не влюблялся,
А волочился как-нибудь;
Откажут — мигом утешался;
Изменят — рад был отдохнуть.
Он их искал без упоенья,
А оставлял без сожаленья,
Чуть помня их любовь и злость.
Так точно равнодушный гость
На вист вечерний приезжает,
Садится; кончилась игра;
Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает
И сам не знает поутру,
Куда поедет ввечеру.

Обрезкин достал химический карандаш и попросил Младенца повторить с целью создать графическую копию, к коей намеревался прибегать постоянно.

— Тут многое для меня не понятно, — осмелился Обрезкин.

— Ступайте, ступайте, мужики, — отмахнулся Младенец. — Завтра заходите!

Обрезкинцы поднялись и вышли за забор.

— Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,
И я Бордо благоразумный
Уж нынче предпочел ему.
К а и я больше не способен;
А и любовнице подобен
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой...
Но ты, Бордо, подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ всегда, везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг,
Да здоровствует Бордо, наш друг!

— Да здоровствует Бордо! — заскандировали обрезаки, наполняя Артебякин весенними голосами.

— Да здоровствует Бордо! — несло по улицам.

— Что да здоровствует-то? — не расслышал Дятлов-первый.

— Бордо, кричат, да здоровствует, — ответил Дятлов-первый.

— А почему Бордо?! — не понял Дятлов-второй.

— Ты у них спроси. Наверное, в рамках культурного обмена по линии СССР—Франция.

— Да? Только б глотку подрать! — мрачно сказал Дятлов-второй, у него было отвратительное настроение.

Здесь пути журналистов разошлись.

Заведующий отделом писем Бусурманов, взглянув в случайное окно, увидел, как молодая женщина с каштановыми волосами, перевитыми жемчужной нитью, в жемчужном ожерелье и серьгах, обнажив до пояса левое плечо и грудь, собирается нанести себе удар стилетом, который она держит в правой руке.

На ней было желто-коричневое платье, а под ним белая сорочка, на плечи накинута синяя шарф.

Слева — стол, застланный малиновой скатертью, справа — с малиновой подушкой кресло. Фоном служи-

ла коричневая драпировка, первая половина ее была высоко приподнята. За нею — арочная дверь в соседнюю комнату, где на стене в нише — мужской бюст.

Бусурманов постучал в окошко безымянным пальцем левой руки, той, что ближе к сердцу. Женщина распахнула окно навстречу и, выронив молниеносно стилет, обвила мужскую шею легкими и сильными руками.

Первого заместителя Обрезкина Аглашенного ноги сами собой вывели в район пригородного колхоза «Уместная инициатива».

Он решил укрыться для сна в комплексе по производству шампиньонов, купленном на родине первой буржуазной революции — в Нидерландах.

Аглашенный забрался в секцию зарождения грибов и задремал. Ему снилось главное условие выращивания шампиньонов — стерильность.

Сон носил очень тяжелый фрейдистский характер, и Аглашенный прокричал до самого утра, постоянно приостанавливая физический рост шампиньонов, еще не отвыкших от центральноевропейских замашек.

Разбудили Аглашенного Дятловы, беседовавшие неподалеку с председателем колхоза «Уместная инициатива». Колхоз располагался в зоне рискованного земледелия. Говорили про соседей, тоже державшихся этой зоны.

— Рапортуют, — говорил председатель, — зерновой план выполнили. Ясно, отвезли на элеватор фураж, получили по шесть с полтиной за центнер. Теперь берут его назад в виде концентрированных кормов. Платят вдвое, а то втрое дороже. Возят...

Дятлов-первый слушал молча, сдерживая моментально побавровевшего Дятлова-второго.

— В обстановке небывалого порыва, следуя негибавшей воле артебякинского кружка и лично!..

— Еще что нового? — спрашивал Дятлов-первый.

— Возьми ты хоть кукурузу. Убирать можно хоть по морозу, нет, вырвали в прошлом году по теплу. Свеклу бы сначала — оставили на потом, копают до зимы. Под дождем и снегом сахар улетучивается, осталось по 7 процентов.

— Ты к какой зоне принадлежишь?! — перебил его, не выдержав, Дятлов-второй.

— К зоне рискованного земледелия! — отчеканил председатель.

— К северной или центральной?!

— К центральной!

— Врешь! Я тебе приказывал относиться к северной! И сеять на 20 дней раньше, а не когда тебе в голову взбредет! Почему не выполняешь? Почему саботируешь? Ты к какой зоне относишься?

— К условно-центральной.

— Чтобы сеял, когда приказывают, с условно-северной. Урожай еще прогнозируешь?

— Так точно.

— Прекратить шаманствовать! Ты посмотри, что у него здесь! — Дятлов-второй выхватил у председателя из-за пазухи лист ватмана с диаграммами и формулами. — Ты послушай, какие выражения у него: «средняя скользящая урожайность по четырехлетиям за 11-тилетний период», «среднеквадратическое отклонение», «в годы максимумов активности Солнца, а также появления сильных флуктуаций чисел Вольфа среднеквадратическое отклонение следует брать со знаком минус, в остальные годы со знаком плюс». Ты чувствуешь, куда метит, пострел? В какую сторону тянет? В какие края, в какие перелески, в какое болото? Ты в какую сторону тянешь с социалистических рельсов бронепоезд нашего сельского хозяйства? Как может выполнение государственного плана колебаться от солнечной активности, сволочь! А где решающая, организационно-вдохновляющая роль артебя-

кинского кружка политминимума?!.. Где трудовой героизм масс? Где научно-технический прогресс?!

— Учитывается, — прохрипел председатель.

— Значит, планировать, глядя на солнце и на тебя, подлец?! Наш основной порочный закон для сельского хозяйства — планировать в этот год больше, чем в предыдущий!.. Ты понимаешь или нет, что на этом порочном принципе построено все наше планирование?..

— Понимаю, — прохрипел председатель.

— Понимаешь и гнешь... свою линию! Значит, собрав выдающихся тружеников и сказать: «Золотые, серебряные, будем несказанно бороться в этот год только за 18 центнеров, когда брали уже и по 28 и больше?! Ты хочешь возвести на русской меже бастион фатализма?! Чтобы опали решающие сантиметры высоких знамен?!.. Откроем в широких поймах рек лавки порнографии?!.. Будем участвовать в маневрах НАТО «Бриск фрей» и «Бит блю»?! Расстреляем нас с Дятловым-первым у стены Пер-Лашез?!.. Не выйдет, диссидент! Мы боремся за нереальные, вредные планы и не выполняем их, но в трудовых битвах, теряя молодость, мы духовно вызреваем... Понимаешь ли ты, мерзавец, вызреваем!.. Чтобы иметь силы и опыт, политическую зрелость, чтобы отвинтить тебе голову в любую минуту!

— Ты что ж, говорят, уже 10 лет урожаи предсказываешь, и все сходится?! — спросил Дятлов-первый.

— Сходится, — прохрипел председатель.

— Непокойный ты мужик, — вздохнул Дятлов-первый. — Помнишь, его еще не было (он кивнул на второго), ты принес комплексный план по всей области, на городской ЭВМ с любителями составили?

— Помню.

— И что вышло? По мясу область дала на 40 тысяч тонн больше, а Москва сказала: научный прогноз — это хорошо, а когда много мяса — еще лучше!.. И еще

накинули — сказать страшно! Сколько «хвостов» лишних держали впроголодь, зерна недоедали, структуру посевов завалили! Ты думаешь, ты один такой умный? Я тебе цифру, область — мне, ей — Москва.

— Ты что же, негодай, захотел, — снова закипел Дятлов-второй. — Сеять то и там, что и где можно вырастить с наименьшими затратами?

— Хочу, — прохрипел председатель.

— И я хочу! — захотелось вдруг Аглашенному, хотя он совершенно не понимал, о чем речь, но ведь все ж таки он был вторым человеком в артебякинской прессе.

— И до тебя руки дойдут! — пообещал Дятлов-второй и, продолжая стучать пальцем по лбу председателя, продолжал:

— Вы к какой зоне относитесь?

— Рискованного земледелия! — отвечали ему хором.

— Конкретно!

— Центральной зоне.

— А я что приказал? А ну-ка подпрыгните!

Председатель и Аглашенный подпрыгнули.

Дятлов-второй моментально схватил их за ноги и сгрел в охапку:

— Видал, какой на перехвате? Смотрите, у меня разговор короткий: быстро сделаю сапожную щетку!..

Обрезкин и Аглашенный еле-еле дотянули до дому.

В окне домика напротив, за столом, покрытым оливкового цвета скатертью, на которой лежал белый платок, лютня и стояло зеркало, сидела, причесывая свои распущенные каштановые волосы, молодая женщина.

Обрезкин, как всегда в таких случаях, пожалел о том, что он не бабочка-самец с черными крыльями, с шестью чистыми большими пятнами, если рассматривать их сзади... Если же рассматривать их спереди, а именно в этом положении самка-бабочка замечала бы

самца при его, Обрезкине, приближении, то эти белые пятна оказывались бы окруженными ореолом прекрасного голубого цвета...

В Артебякине Обрезкин впервые полюбил, в Артебякине лечил с годами ухо, горло, нос, руки и ноги ультразвуком. Ультразвук пронизывал Обрезкина волнами, совершенно невидимыми светским глазом.

Пора было и приступать в родном городе к написанию первой передовой статьи в качестве главного редактора местной газеты.

После шестичасового размышления Обрезкин наконец вывел:

«Небо! Зачем ты меня так к себе привлекло? Зачем ты произвело на меня такое сильное впечатление? Почему я не могу дня прожить, не думая, не глядя на тебя? Почему я не могу посвятить тебе ни одного из своих произведений? Небо! Боже мой, Небо! Как я люблю тебя! Как мир велик!»

Постепенно в редакцию набились все сотрудники аппарата. Обрезкин сделал устное заявление о том, что пьянство сотрудников аппарата редакции еще до выхода первого номера газеты стало существенным явлением в культурной жизни города: заведующий отделом писем Бусурманов переночевал у одинокой вдовы, и она уже звонила лично Обрезкину, просила отпустить его как можно раньше; смещен Аглашенный — человек, который сначала говорит, а потом думает. И тут же в редакции появился новый заместитель Обрезкина.

Баланоглосус был трудолюбивый, испытанный идеологически боец. По своему умственному положению — полухордовый. На условной лестнице эволюции занимал почетное и подходящее место. Руководство склонно было характеризовать Баланоглосуса, оценивая его многолетнюю деятельность в печати (до этого он работал в портовой газете на Баренцевом море

«На плаву, как на духу») как практически полностью хордового червячка...

Сотрудники аппарата газеты «Ясный путь» стоя приветствовали нового заместителя Обрезкина.

— А теперь, наконец, за работу, — воскликнул редактор. — Пусть каждый напишет в первый номер! Я прослежу лично, чтобы в материалах не было разницы между происходящим вокруг ужасом (вариант — восторгом) и его публикацией для общественного самосознания.

Баланоглосус тут же сел катать передовую. Кот улегся к нему на стол и стал подглядывать.

— А что это за статья? Позвольте хоть одним глазком! Я предчувствую удовольствие. Дайте поболтать-ся на пальме первенства при ее чтении. Э-э...

Баланоглосус решил начать путь журналиста в Артебякине с проблемной для него и, следовательно, дорогой для остальных драмы.

Хордовый развернул папку, опали тесемки:

«Драма

ВАЛЕРИЯ И ЕЛИЗАВЕТА

Действие первое

Квартира, принадлежащая Валерии и Елизавете.

Сестры играют в домашнюю игру за столом.

Е л и з а в е т а. Валерия, отчего ты отказалась отнести ласточку в группу «Животный мир»? Я не понимаю тебя, Валерия.

В а л е р и я. Елизавета, мне показалось вчера, что она ведет совершенно другой образ жизни, ее нельзя приручить...

Е л и з а в е т а. Валерия, прошу тебя, подумай, не относится ли ласточка к животному миру!

В а л е р и я (подавленно). Пожалуй... С усилием ее можно отнести. (Вдруг порывисто). Но все-таки она необыкновенное существо.

Е л и з а в е т а. Но ведь она живое существо?

В а л е р и я. Ну пусть тогда пойдет в «животный мир» (делает жест), я хотела иначе.

Е л и з а в е т а. Валерия, как же иначе? Как ты хотела, откройся!

В а л е р и я. Пусть будет по-твоему!»

— Дайте взглянуть, что же вы пишете! — продолжал домогаться Жульен. — Не скрывайтесь от меня! Ничтожность в главном одновременно не лишает меня способности оценить высверк чужого пера. Я вижу заголовки.

На Жульена прочитанная драма произвела тяжелое впечатление до такой степени, что он тут же нацарапал на столе нечто свое: «Многие из нас уже начинают лысеть!..» Но, по счастью, мрачное настроение оставило его, как только он вспомнил, для чего здесь валяется.

Кот ждал публикации брачного объявления. В оставшиеся несколько минут перед женитьбой он вновь ощутил желание жить полной грудью и стал писать статью об Энтузиазме. Работа полностью называлась «Мой Энтузиазм».

«Мой энтузиазм, — писал Жульен, — проявляется как стеническое эмоциональное состояние, выражающееся в ярких психологических переживаниях. Мой Э. обуславливается интересом к определенному делу, увлечением определенной идеей, захватывающей кота всецело, доминирующей в моем сознании, оттесняющей другие интересы на второй план. Естественно, что целевая установка, сокращенная повышенным эмоциональным тоном, прочно фиксируется и удерживается, срастаясь с личностью кота. Так как кот с Э. отдает все силы излюбленному делу, он достигает гораздо большего по сравнению с котом без Э. При Э. особенно повышается чувственная и творческая дея-

тельность, несравненно чаще в голову приходят свежие идеи и желания. Но о Желании, об этом единственном несломленном весле, в моей следующей статье!...»

Кот заслал материал в набор.

Экипаж буксира «Удовлетворительный» пришел в редакцию вслед за просочившимися к ним слухами о Валерии и Елизавете, и если не увидеть сестер, то, во всяком случае, пожать руку автору передовой статьи. У экипажа была скверная привычка жать руку людям, вдруг ему понравившимся. Аглашенный, которому нечего было делать после работы, тут же предложил экипажу выколоть на груди вакхическую сцену. Экипаж вырвался из одежд, но свободного места не оказалось, и пришлось вернуться внутрь формы. Тем не менее, «Удовлетворительный» с благодарностью пожал руку Аглашенному и выпускать не собирался. Бывший заместитель главного редактора послал тотчас за своим счастливым преемником, а сам стал слушать, как хрустят косточки его заветной правой.

Вошел Баланоглосус, и Аглашенный бросился представлять его экипажу.

Он вытолкнул их в коридор и запер деревянный прямоугольник на ключ. Вскоре он увидел в окно, как экипаж вел упиравшегося Баланоглосуса в сторону павильона «Пиво-воды-годы-жизнь».

По дороге вспомнились чудеса фотосинтеза, феномен хлорофилловых зерен, попытки перелететь через Атлантику.

Аглашенный, вновь обретя свободу, стал подбивать заведующего отделом писем Бусурманова выколоть ему на левой стороне груди вакхическую сцену.

Аглашенный аргументировал свое предложение тем, что у молодой вдовы будет возникать дополнительный ассоциативный ряд, в контексте этого ряда

сам Бусурманов будет восприниматься более универсально. Некоторую вольность сюжетной канвы скрадывала, по мнению журналиста, традиционность композиции.

Бусурманов просил в двух словах вскрыть наконец предмет разговора. Аглашенный отвечал, что предполагает выколоть у Бусурманова на груди аллею парка, по которой движется процессия. Впереди, взявшись за руки, идут два пляшущих амура, за ними, ударяя в медные доски, молодая вакханка с развевающимися волосами. Дальше, поддерживаемый сатиром и юношей, едет на осле пьяный силен, за которым следует толпа поющих и играющих юношей и девушек, в числе их, ближе к молодой вдове, будет плясать с тамбурином в руках поющий сатир и идти колесом, стоя на руках, голый юноша с овальным лицом. Слева, вдали, вокруг бюста Пана, никого нет. Вдали, за темными холмами, темные же холмы. Вся сцена будет покрыта темно-коричневой тенью, на фоне которой, как бы освещенные красноватым светом горящего слева вакхического костра, выделяются фигуры процессии.

Бусурманов отвечал, что подумает и посоветуется с молодой вдовой.

Обрезкин готовил материал о самом ядовитом существе, живущем на территории Коста-Рики.

Аглашенный и Жульен сидели по правую и левую руку и, перебивая друг друга, утверждали, что смотреть на Обрезкина в момент работы одно загляденье.

Аглашенный перетащил кота себе на колени и старался сгладить ему уши, при этом глаза у Жульена принимали форму ромбов. Два ромба носили в петлицах командиры дивизий Красной Армии (6—8 тысяч штыков), так что легко себе представить восторженный трепет, с которым Аглашенный наслаждался достигаемым эффектом.

Лягушка называлась Дендробатид... Через свою ярко окрашенную жуткую кожу лягушка выделяла токсическое вещество такой страшной силы, по сравнению с которым яд кобры, гюрзы или скорпиона был задерганным пони в детской упряжке зоопарка.

Услышав о том, что яд способен убивать очень крупных животных, кот вышел, демонстративно хлопнув дверью.

Аглашенному пришлось в одиночестве встретить сообщение о том, что целые племена индейцев приходили в священный ужас от одной только мысли, что приходится жить на территории Коста-Рики, бок о бок, в известном смысле, с Дендробатидом.

Аглашенный, стараясь быть незамеченным, выскользнул в коридор. Здесь Драповый мужик рассказывал Жульену, что при ремонте ядерных котлов атомных ледоколов используются в виде временных полумер все презервативы, купленные в городе Мурманске. И это похуже Дендробатида.

Обрезкин в обеденный перерыв пошел отдыхать к Младенцу. Во дворе института молекулярной биологии днем, как всегда, было шумно и оживленно. Части местного гарнизона, как могли, повышали боеготовность, множа состояние дисциплины на семизначные числа.

Лейтенант Восемнадцатиструев объяснял своему взводу мотострелков, во-первых, ту простую, но фундаментальную мысль, что лейтенанты являются золотым фондом нашей армии, а во-вторых, что надо делать, если подразделения противника вскроют нашу оборону на левом фланге еще до того, как он посдет учиться в академию.

— Уже на этом простом примере, — говорил лейтенант, — отчетливо видно, что военная служба не мед.

Безусловно, лейтенант рассказал бы еще много поучительного, но его вызвали на офицерскую летучку, проводившуюся капитаном Надломленным. Он проводил ее с лейтенантом и старшими лейтенантами.

Она, собственно, была посвящена разъяснению огромной принципиальной разницы между капитанами и лейтенантами, какие бы они формы ни принимали. Капитан Надломленный не двигался перед строем, а стоял на месте и видел каждого лейтенанта насквозь... Он говорил о том, что в последнее время лейтенанты совсем обнаглели! Не прослужив и 12-ти, 16-ти лет, они уже начинают иметь собственное мнение и фактически плюют на распоряжения капитанов. Что совершенно недопустимо. Происходит это потому, что политработниками пущена на самотек разъяснительная работа о той колоссальной разнице, которая разъединяет легионы лейтенантов от института капитанов... Дело в том, что капитаны значительно выше по воинскому званию, чем, скажем, лейтенанты. Поэтому в головы капитанов постоянно приходят мысли, которые и не снились старшим лейтенантам. Если, например, собрать в одном месте всех старших лейтенантов и приказать им думать об одном и том же в течение двенадцати минут, то достаточно всего **ОДНОГО** капитана, чтобы додуматься до этого еще раньше!

Крайне печально выглядит массовая самонадеянность лейтенантов. Подавляющая часть из них даже не скрывает, что дерзает стать капитанами. На чем основаны подобные настроения — совершенно не понятно! Действительно, ничтожная часть из лейтенантов станет наконец капитанами, но такие случаи исчисляются единицами, и, чтобы достичь подобной степени совершенства, надо отказаться в этой жизни от всего.

Капитан заметил Обрезкина и поставил его в строй лейтенантов, так как и для гражданской молодежи подобные беседы приносили одну пользу.

После беседы Обрезкин почувствовал себя так плохо, что уже не мог вспомнить, зачем шел к Младенцу, и решил вернуться обратно. По дороге он встретил человека, осуществлявшего в Артебякине радиовещание. Он был директором, главным редактором и диктором.

Звали его Александром Вовлеченским.

Счастливой особенностью шефа артебякинского радиовещания являлось как раз то, что понять из-за его дикции что-нибудь в передачах было совершенно невозможно.

Объем местного радиовещания составлял 45 минут в среду, 46 минут в субботу и сигналы точного времени в понедельник. На этой сумасшедшей идеологической работе Александр продержался 19 лет.

Особенно местному радиовещанию удавались передачи «Человек труда».

Александр обыкновенно спрашивал человека труда: «Щ... т... р... зд... ке?»

На что человек труда отвечал что-то до такой степени длинное и печальное, как будто бы пересчитывал в уме вагоны удлиненного состава с надписью на каждом: «Засыпай сверху! Отсыпай снизу!»

Так же эмоционально воспринималась рубрика «Мать и дитя». Более одинокой и несчастной матери, за которую приходилось читать Александру мягким голосом, и более несчастного дитя в его же исполнении трудно было себе представить. Они постоянно говорили между собой о чем-то несусветном. Иногда можно было разобрать: «Мама, мама, я же тебе русским язы...» Судя по дальнейшей интонировке голосов, мать, вероятно, опять втянула дитя в какую-то скверную историю. С другой стороны, чувствовалось, что и

само дитя было способно завалить любую самую выигрышную ситуацию.

Наконец пришло первое письмо-отклик на брачное объявление Жульена. На обратном адресе значился город Саратов. Свободная женщина работала заведующей станции переливания крови. Коту это понравилось.

— В этом есть что-то от стилистики «Синей Бороды», — говорил Жульен, застегивая дорожное пальтишко. — От близости бульваров, резко тормозящих автомобилей, дешевых кинематографов. Саратовская мысль не известна широкой общественности, между тем, сами не сознавая этого, мы обязаны ей многим, так же весьма...

Кот широко распахнул дверь, весь вышел и остаток фразы проговорил уже в коридоре.

Но так легко в Саратов у нас еще никто не уезжал.

Во дворе института молекулярной биологии в каре стояли капитаны гарнизона и слушали майора Случившегося. Заприметив кота, шедшего не разбирая дороги, майор поставил его в строй, так как и для гражданской молодежи подобные беседы приносили ощутимую пользу. А беседа была посвящена разъяснению огромной принципиальной разности между мирадами капитанов и феноменом майоров.

Майор Случившийся в упор смотрел на капитана Надломленного, персонифицируя в его лице всю сомнительную идею капитанов, которых невозможно ни с кем перепутать из-за их полной неспособности ориентироваться в окружающей среде. Капитаны совершенно теряют голову в самой простой житейской ситуации: например, при встрече со светофором.

Тем не менее капитаны рассматривают себя чуть ли не некими прообразами будущих майоров.

А между тем трудно найти в нашей стране человека, который не знал бы и не любил песню: «Капитан,

капитан, никогда ты не станешь майором». Она звучит на устах миллионов. Прислушайтесь!

Каре вяло прислушалось.

— Чу! Вот и сейчас простая задушевная песня звучит в темных аллеях!.. Что сделало песню подлинно народной?! Отвечаю, легко запоминающиеся слова.

Коту надоело стоять в застывшем каре капитанов, он прошмыгнул между сапогами и исчез в избранном направлении.

Туман над Артебякином рассеялся, и появилась реальная возможность приступить к сверхэксперименту под названием: «Людвиг Фейербах и конец классической философии».

В эксперименте участвовали лучшие силы, которые оказались под рукой. Смысл эксперимента заключался в том, чтобы на максимально длительный срок вынести из продовольственных магазинов продовольственные продукты и посмотреть, что будет.

Руки сами собой потянулись к тракторам по перспективе Виньолы.

А Обрезкин сразу сел писать годовую статью под заголовком «Взрослеем!».

В кабинет, как нарочно, заглянул всегда неуволнимый заведующий промышленным отделом Провнантов.

— Вот из-за таких, как ты, и гибнут Новые Вавилоны!!!

— Но рождаются Персидские Царства! — отвечал Провиантов, дивясь собственной удали, и поведал еще новость, которая ни в чем не уступала «Людвигу Фейербаху и концу классической философии».

...И вот вышел на улицу Коля, Коля, виноград, идет по улице играт. Вместе с ним накатывалось шуршание женских юбок, блеск кинжалов, крики страсти, гиперболы отваги и чистый звон червонцев, или иначе говоря, — как-то сидя по своему обыкновению в крес-

ле, болтая ножкой, Младенец спросил лейтенанта Восемнадцатиструева, что он знает о Влечении. Лейтенант, внутренне распровавшись с Академией, достал новую фуражку и тут же пошел к капитану Надломленному и доложил о Желании Младенца.

Майор Случившийся заорал, что не желает ничего слушать об этой истории. Что у Младенца нет и не может быть никакого Влечения! Что феномен младенчества оклеветан группой фрондирующего офицерства. Открыл сейф, достал новую фуражку и ушел в штаб корпуса, докладывать о своем Не Желании полковнику Листу Калины.

Полковник пришел в неимоверную ярость. Ярость просто душила его, и он не мог выговорить ничего логически завершенного, из перекосившегося рта вырывалось только: «Майоры... Везде одни майоры!..»

Через несколько минут состоялось экстренное совещание оперативного отдела штаба корпуса, на котором фигурировали три офицерских рапорта уже в письменной форме.

После ожесточенных споров штаб корпуса телефоновал Младенцу просьбу развеять (подтвердить) свой запрос лейтенанту Восемнадцатиструеву о Влечении.

Младенец подтвердил запрос и, пользуясь случаем, переадресовал его непосредственно штабу корпуса.

Через 8 часов штаб корпуса попросил Младенца перечислить ряд наиболее приятных для него ощущений, и также не отказать в столь же объективном перечислении неприятных, и в заключение выразить конкретные пожелания в предполагаемом радиусе Влечения.

По получении ответа штаб корпуса через 16 часов объявил зону артебякинского института молекулярной биологии эрогенной зоной...

Обрезкина вызвали в кружок политминимума, и Дятлов-первый указал ему, что газета должна взять на себя активное освещение и пропаганду нового курса на эротизацию и резкого увеличения уровня сексуальности общества.

В конце разговора он пригласил Обрезкина в глубь здания, в висячий сад. На пурпурной драпировке лежала молодая полуобнаженная женщина с зеленым шарфом.

— В зависимости от гнева Дамы или расположения самый куртуазный человек может стать некуртуазным и наоборот, — сказал Дятлов-первый, садясь в первом ряду и усаживая рядом Обрезкина.

— Наша с вами задача состоит в том, чтобы высказывать пожелания видеть Даму в саду, присутствовать при ее раздевании, возлежать с обнаженной и целовать ее. Эти и другие элементы эротического мистицизма...

...Обрезкин собрал у себя в кабинете аппарат редакции и распорядился наглухо закрыть окна и двери и выключить телефоны. В образовавшейся тишине в письменном столе Обрезкина раздалось щемящее постукивание.

— Жук-точильщик призывает самца! — объяснил Обрезкин.

Журналисты тактично молчали, прикидывая, что потребуется от них в заданной ситуации.

— Курс на эротизацию не есть минутное настроение, не есть случайная прихоть руководства, не есть мальчишество штаба корпуса, а есть веление времени, плотское проявление объективных законов развития. Нам есть у кого учиться, с кого брать пример.

Обрезкин сделал жест в сторону исключительно временно закрытого окна.

— С сегодняшнего дня зона артебякинского института молекулярной биологии и находящийся на ней Младенец объявлена... эрогенной зоной, товарищи!..

Расходились более уверенные в завтрашнем дне.

Тут же из Саратова приехала женщина — заведующая станцией переливания крови. Жульен-экспресс покинул ее, не оставив адреса. Женщина попробовала найти его через газету, там ей посоветовали обратиться к Обрезкину.

— Отчего же именно к нему? — удивлялась женщина. — К человеку, не дававшему на горе клятву.

Отведя редактора в сторону, она сказала: «Обрезкин, я одна в незнакомом городе. Одна, без духовных средств».

— Так ли высока станция, как пытался представить Жульен? — спросил Обрезкин, чтобы как-то поддержать разговор и сообразить, что делать дальше.

— На ней отдыхают птицы, — отвечала женщина.

— Верно ли, что если вдруг станция опрокинется, то нахлынувшие потоки крови...

— !!!

— И, наконец, верно ли, что кислород любви обязан проникать в легчайшие легочные пузырьки — альвеолы? Верно ли, что в альвеолах красная кровь неслышно и незримо поглощает кислород любви?

— Это так, — сказала женщина и прикрыла глаза.

Обрезкин снял с нее зеленый шерстяной шарф, освободил от тяжкого объятия кожаного пояса.

И тут он вдруг понял, что переживаемый момент выходит далеко за рамки камерности. При обнажении конкретной женщины обнажилась титаническая созидательная работа миллионов.

Развязанный в долю секунды зеленый шарф нарисовал перед его мысленным взором необозримые поля и пастбища южных республик, проникновение в тайну хлопковой коробочки: остригаемые от шерсти бара-

ны блеют, фабрики всячески вытягивают из хлопка и шерсти нити и этими-то нитями пошивают шарфы и юбки.

Но чтобы шарф отражал только зеленый цвет, юбка — красный, день и ночь не спят ни один, ни два, ни шесть-семь человек в системе нефтехимдобычи. И это не все: льняное поле, льняное семя, льняные рубашки страны (припев поется дважды).

— А это что? — спросила начальница станции, показывая глазами на одинокий листок на столе Обрезкина.

Редактор прочитал и не сразу сообразил: «В море глубоко», «Как аукнется — так и откликнется», «Фосфор любит темноту», «Судовой врач оказывает медицинскую помощь команде».

— Моряки с буксира оставили... фрагменты стенгазеты.

— «Фосфор любит темноту» — это правда! — обрадованно согласилась заведующая станции. — В них есть много истинного чувства. «Судовой врач оказывает медицинскую помощь команде». Я хочу посмотреть на них. Они пишут так, как положится на душу. Это редкость нынче. Упоминание врача тоже волнует меня. Какой он? Два-три совета опытного медика всегда кстати.

Обрезкин поступил так, как поступает каждый второй мужчина, занятый в печати. Он вспомнил о своем заместителе, который как в воду канул на буксире. Обрезкин вновь завязал зеленый шарф узлом на груди и объяснил заведующей станции, как пройти к речному вокзалу.

Экипажу буксира зачитывалось приветствие пароходства в связи с тем, что экипаж оказался зачинщиком и победителем в сублимировании уретральной эротики и занял второе место по бассейну.

В ответном слове экипаж буксира, внятно не очень знавший, почему «второе», поблагодарил и заверил дирекцию пароходства.

Вообще-то «второе место» по бассейну был приятный сюрприз.

От безмерного употребления пива физиономии экипажа и Баланоглосуса распухли до такой степени, что человеку с умом и сердцем на них страшно было смотреть. Главный предмет гордости заместителя Обрезкина — хорда — значительно прогнулась. Совместно с экипажем буксира «Удовлетворительный» они поставили корабль на зимний судоремонт. Поскольку в общечеловеческом смысле было лето, нашлись люди, которые сумели это дело замять и снова выволочь их на более-менее чистую воду, но экипаж «Удовлетворительного» обратился к остальным речникам начать немедленно с утепления служебных помещений, строго следить за тем, как сложится в условиях ремонта судьба каждого килограмма угля и его старшего товарища — киловатт-часа.

В настоящий момент Баланоглосус сидел в банке с водой, так как экипаж научил его путем активного брожения готовить пиво, и писал под диктовку передовую для первого номера газеты Обрезкина в форме письма к Аскезе.

Так как под диктовку Баланоглосус писать не привык, а писал всегда, можно сказать, самой хордой, ему предложили сначала написать педагогические раздумья о Капризанстве.

— Капризанство, — диктовал экипаж. — Еще Никого и Никогда не доводило до Добра!

«Капризанство, — приписывал хордовый от себя. — В Капризанстве мне видится единственная возможность сохранить в нетронутom виде...»

— Капризанство... — диктовал экипаж. — Еще Никого и Никогда...

«Капризанство, — с замиранием сердца писал хордовый, — еще выведет нас на широкую, светлую, столбовую дорогу!»

— Аскетический образ жизни — Аскеза, — диктовал экипаж, является тем нравственным инструментом, коим...

«Капризанство! Еще выведет нас на широкую, светлую, столбовую дорогу!» — писал Баланоглосус.

Кстати, о дорогах. Заведующая станции так и не добралась до буксира.

Она сбилась с пути, попала во двор молекулярного института и здесь поинтересовалась происхождением Младенца. Узнав, что он детище науки, стратегический сын полка, который со временем опрокинет всю догматику военного искусства, она кивнула ему, и тут ее заметил полковник Лист Калины, проводивший собеседование с майорами гарнизона; он поставил заведующую станцией в строй, так как и для гражданской молодежи предполагалось много поучительного.

Полковник в толстом сизом одеяле тумана рассказывал майорам о своих встречах с полковниками — Листом Шпажника Черепитчатого и Листом Прострелом Раскрытым. Лист Калины говорил, что никогда бы так долго не рассказывал о своих встречах с полковниками, если бы ему еще чаще не приходилось встречаться с майорами. Эти встречи каждый раз выбивали его из седла, и если бы не следовавшие за этим встречи с полковниками, то встречи с майорами...

Здесь у Листа Калины язык совсем заплелся, и он начал снова, но много проще. Он сказал, что встретить в этой жизни майора большое горе. При этом он посмотрел на майора Случившегося, тот подобрался, распрямился и всем своим видом как бы подтвердил, что, действительно, хорошего в этой встрече маловато.

— Полковники украшают нашу жизнь, как каштаны Киев! — веско сказал Лист Калины, и майоры, раскрыв планшетные командирские сумки, записали мысль в тумане.

Вообще полковников в отставке в Артебякине было очень много, особенно в отставке. Они селились здесь подобно беглым крестьянам в Запорожской Сечи, возглавляя все отделы кадров сколько-нибудь музыкальных учреждений, и, наконец, через их руки проходили все лебеди, поступавшие в Зоопарки СССР для наглядных целей.

— Из полковников, как из симпатичных куколок, вылетают красавцы генералы! — закончил свою импровизацию полковник и разрыдался.

Вернулся кот из Саратова. Злой и мрачный. Привез гостинцы. Столкнулся в холле редакции с тоже наконец вернувшимся Баланоглосусом, хорда которого прогибалась под стопкой листов письма к Аскезе и рукописью о капризанстве.

— Я вижу, вы не любите котов, — заключил Жульен. — А я не люблю собак. Нас всех — четверо: Гете, Стринберг, Акутагава и я — никто не любил и не любит собак... Но меня удивляет другое, то, что японцы прибавляют к своему возрасту год в материнской утробе... Учитывается все!..

Баланоглосус в разговоре старался не участвовать, он стал перестукиваться с жуком-точильщиком стола Обрезкина, стараясь выведать, что она будет делать вечером.

Взятый курс на эротизацию сразу же потребовал столько железа (уже помимо требований тяжелой индустрии), на появившийся «плюс» сексуальных намерений, что грохот вокруг стоял ужасный.

Кот отвел Обрезкина в сторону, и ему пришлось проорать, не было ли в висячих садах, рядом с полуобнаженной Дамой на пурпурной драпировке, юноши в лиловом берете? Получив от Обрезкина все возможные заверения, что ничего подобного не было, Жульен пришел в отличное расположение духа и стал подражать голосам отдельных граждан и организаций. Осо-

бенно ему удавались звуки трудовых поцелуев. Явственные звуки трудовых поцелуев сбивали с толку даже опытных работников строго спланированного производства, так как в сущности не ясно было, кто кого целует и за что.

К тому же, неизвестный поцеловал молодую вдову и, как перешептывались, обнаженную на пурпурной драпировке.

Раздалось несколько подозрительных поцелуев и на территории эрогенной зоны гарнизона. После чего сменили пароль, и разводящий на гортанный крик часового отвечал уже что-то другое.

Но это — минутные увлечения простонародья, на чьих медных деньгах скорее всего стираются орлы и лучше всего сохраняются — коты!..

Это был тот редкий случай, когда весь аппарат Обрезкина находился под рукой. Весь «Ясный путь» сидел, болтая ногами, в кабинете редактора.

— Я вот что, — сказал бывший первый заместитель Аглашенный. — Я есть хочу. Пока поезда ходят — я лучше поеду, с араратской пшеницей скрещусь... Высокобелковая! В рамках эротизации. И так... вообще, пожевать!

— Смотри, — предупредил Обрезкин. — Это южное растение. Как бы зимой не слег.

— Высокобелковая, — размышлял Аглашенный, — двузернянка, неприхотливая — скрещусь! Да и тебе советую — печать печатью, благодарственные письма читателей! Ты к подсолнечнику подберись... и ехать никуда не надо.

— К подсолнечнику... — сомневался Обрезкин.

— С высокопродуктивным сортом, — шептал Аглашенный. — Заразила там... Тля гелехризозная, огневка, ржавчина — все нипочем!

— В рамках эротизации, — твердо сказал Обрезкин.

— Это обязательно, — поддержал Аглашенный. — Чтоб Младенцу, золотые кудри, поперек дороги не вставать и себя помнить.

— А газету на кого?

— А хордовый на что?! Еще и рад будет, балда Баренцевая!

Баланоглосус действительно обрадовался. Пошли все провожать Аглашенного на вокзал, на благословенный юг, и сразу начали терять людей и животных.

Первым пал Жульен, так как вообще уставал раньше других, поскольку был цветоаномалом и всегда с болью смотрел на белый цвет чистых листов бумаги, которых кругом было пруд пруди! Белый цвет, являвшийся по сути дела ничем иным, как соединением красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового, никак не укладывался у него в голове. Отчего он, повторяем, уставал раньше других.

Тем более устанешь, если прямо на обрезкинцев вышла во всей красе и силе женщина — заведующая станцией переливания красной крови верхневолжского нашего города Саратова.

Кот как-то сразу сдал, и только когда шею сдавили невидимые обручи ошейника, Жульен гордо заметил:

— Может быть, никто сейчас бы и не помнил имени Макьявелли, если бы не интриги прелата Ардинагелли, очернившего его в глазах Медичи.

— Ну, до Макьявелли вам далеко, — переходя, тем не менее, на «вы», — сказала заведующая станцией, защелкивая замок навечно.

— В том-то и дело, что рукой подать! — вздохнул кот. — Но даже не переживаемая минута смущает мой внутренний взор, то, что Леонардо непременно назвал бы «сфумато», меня томит предчувствие, — и кот

прокричал вослед удалившимся друзьям: — О, тень Макьявелли!..

Они ничем не могли помочь.

Глазом не успели моргнуть, как исчез заведующий отделом писем под покровом цветочной шали молодой вдовы.

— Красавец ты у нас, — крикнул Обрезкин, как можно скорее проходя мимо Младенца.

— Так уж и красавец, — печально кокетничал Младенец.

— Красив как бог!

— Вот ты говоришь, красив как бог... А ведь Парменид считал, что бог неподвижен, конечен и имеет форму шара.

— Ну?

— И Ксенофонт был того же мнения, — Младенец покачал ножкой и продолжал, рассуждая более всего сам с собой. — Не счесть богов в свите Афродиты. Эрот — начало и конец, Поф — страстное желание, Тимэрот — плотские вожделения, Антэрот — ответная любовь, богиня Пейто — любовные уговоры, Илифия — роды.

Мужик «посерьезнел». Вот за это они и любили беседовать с артебякинским Младенцем. Была в нем удивительная сила отстраненного переубеждения. Вот и сегодня обрезкинцы в считанные минуты успели влюбиться в богиню Пейто, вплотную занимавшуюся любовными уговорами.

Обрезкин на артебякинском вокзале в ожидании удлиненного эшелона на юг разговорился с машинистом Веревкиным, знакомым публике по началу повествования. Разговор шел на уровне официального красноречия о «неписаном» учении Платона, так сказать, внутриакадемическом. Машинист рассказывал, что на шестом пути из вагонов лес выгрузили и начинают

бревна грузить. Тот, что прибыл, пойдет на мебель, а тот, что убудет, на телеграфные столбы.

Обрезкин усматривал в этом событии подтверждение о двух противоположных принципах всего сущего (единицы и неопределенной двоицы, в нашем случае еще более неопределенной), господствующих как в мире явлений, так и в мире идей.

Машинист Веревкин кивал головой и говорил, что прибывший круглый лес и отправляемый — уже сообразили грузчики — один и тот же: по-простому обменяли и отправили...

— Я тебе больше скажу, — сказал Веревкин. — Сейчас вокруг нас с тобой 175 тысяч тонн леса, который сюда не следовало завозить, и 170 тысяч тонн леса, который не стоило бы увозить...

Обрезкин и здесь нашелся, так как усматривал «вертикальный дуализм» двух упомянутых миров и «горизонтальный дуализм» принципов, действие которых в интеллигильном и сенсильном мире аналогично.

— Ну, это как всегда у нас, — соглашался Веревкин. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

Подошел Аглашенный, поговорили еще о бытии, идее, едином и благом, а когда подошел совсем близко отставший Драповый мужик — о небытии, материи, множественности и зле.

Трудно сказать, как бы события развивались дальше, но в этот момент в Артебякин забежала молодая лань.

Молодая лань металась по городу, но не от страха, как более подобало бы молодой лани в крупном промышленном и культурном центре, а от горя...

Но какое же горе может быть у молодой лани?

И тем не менее горе — было!

Горе молодой лани возникло из-за того, что глаза женщин Артебякина оказались прекрасней ее собственных...

Из женщин Артебякина упомянем здесь лишь: обнаженную на пурпурной драпировке, молодую вдову, в объятьях, заведующую станцией переливания крови, что в Саратове.

В процессе метания по городу молодая лань получила горькую возможность ознакомиться во всей масштабности и объеме с конкретными мерами по небывалой эротизации общества.

Молодая лань, привыкшая к солдафонским шуточкам касты индийских наяров, живших отдельно от женщин в чисто мужской военной организации, была приятно поражена тем уровнем утонченного эротизма, достигнутого благодаря скрещению Обрезкина с высокоурожайными сортами подсолнечника. Теперь редактор «Ясного пути» имел внутреннее соотношение $82/144$ в дробных числах Фабиноччи, заметно пополнил на лицо и поправился.

Экипаж «Удовлетворительного» с ног сбивался из-за вившихся по всей палубе лоз амурского морозоустойчивого винограда.

Драповый мужик скрестился с соей, польстившись на ее жир, белки, на те же аминокислоты, что входили и в мясо...

И, тем не менее, молодая лань ошибалась. Глаза самой молодой лани были чернее и пленительней всех красавиц Артебякина, и обрезкинцы не видели ничего прекраснее в целом свете. Поэтому Обрезкин и его наперсники пошли за молодой ланью следом, когда она покинула город, и исчезли из Артебякина навсегда. Издалека они напоминали трех опрятных детей на своейвольной прогулке.

В последний раз бросили они взгляд с предместного холма на свое лоно. На дом, где они нашли полезное

занятие для рук и восхитительные размышления о новых предметах.

Перед зданием редакции лежали гранаты, винные ягоды и гроздья белого и красного винограда. Ниже располагались разрезанный гранат и пять яблок, возле которых были разбросаны белые цветы. Над берегом реки пролетала белая морская ласточка, под нею плыла лысуха, справа же, на берегу, сидели два галстучных кулика, окруженные несколькими цветущими растениями.

Обрезкин еще не знал, что после вышедшего первого подписанного им номера газеты его уже сняли за публикацию цитаты из Фридриха Энгельса.

«Англия, конечно, демократическая страна, но демократическая в том же смысле, как и Россия, ибо народ везде, не сознавая этого, господствует, и во всех государствах правительство является только другим выражением образованности народа».

«В ГОД ПОСЕЩЕНИЯ ВОЛАНДОМ МОСКВЫ...»

* * *

В год посещения Воландом Москвы
носился по-военному неброский
одежный стиль. И живописец Бродский
накладывал последние мазки

сухого лака, шедшего в отлив,
на полотно с названием «Ленин в Смольном».
В деревне стал явлением застольным
фанерный патефон. Уж брезжил срыв

кулацкой хлебной стачки. Волчий вой
на сходках РАППа сделался неистов.
Смеялся лидер правых коммунистов
Бухарин (как и Каменев — живой).

В год посещения Воландом Москвы
из коммуналок радио гремело,
и танцевался «Красный мак» Глиэра,
и замышлялись новые мосты.

Хруст португееи шел через плечо.
Максакова невыразимо пела.
Еще не шилось шахтинское дело
и спорилось о Боге горячо.

Но Бог не снизошел со стороны,
чтоб в юную безбожность окунуться,
в грядущее взглянуть — и содрогнуться,
и отвести Голгофу от страны,

которая, поднявшись на мыски,
смотрела на вождей своих с любовью,
которая потом оплатит кровью
год посещения Воландом Москвы.

Но Бог не снизошел, не поглядел,
не вырвал очи, на забился рыбой.
Он просто оказался не у дел
пред истиной, рожденной красной дыбой.

Страна тонула с веком наравне,
но верила безумному парому.
И Аввакум сгорал в своем огне,
и Аввакум подбрасывал солому.

В президиумах царствовал графин —
на тушинском параде и в застенках...
И плавал шестиполый серафим,
рожденный полым разумом Лысенко.

В год посещения Воландом Москвы
махали толпы парашютным стропам,
сияли футболистские мослы
и оставался век (урок Европам!)
до посещения герром Риббентропом —
вослед за герром Воландом — Москвы.

ВСТРЕЧА

Пушкин вышел из дому. Гоголь вышел под дождик.
Дождик шел в понедельник. Дом стоял на

Плющихе.

Пушкин шел по брусчатке. Гоголь шел по мокротам.
Александр — неВасильич, Николай — неСергеич...

Пушкин видит коляску. Гоголь видит Татьяну.

Пушкин вспомнил о прозе. Гоголь вспомнил о музее.

И летающий в небе купол сахарной церкви
весь — от яблока Евы, весь — от яблока глаза...
На Тверском неВасильич порешил, что невинность
оттого и не вечна, что невинна не вечность.
И арапские губы для приветствия выдул,
потому что навстречу шел к нему неСергеич.
На Тверском неСергеич, поравнявшись с Татьяной,
углядел в ее стати ход рессорной коляски
и нашел подтверждение своему озаренью,
потому что навстречу шел к нему неВасильич.
Вот они поравнялись и маршрутным лобзаньем
закрепили устои реализма в России.
Было очень приятно наблюдавшим за встречаей,
в перспективе сулившей что-то нужное людям.

* * *

Страна, ты стоишь на вертячем песке
с вопросом в глазах и затайкой в виске.

Вдолжки — на версту и вширки — на версту.
Раздолье воронам, приволье кресту.

Еще не война, но болеют войной,
и жеваный воздух налит тишиной.

И Вальки Устинова рев и божба
летит, не касаясь ни сердца, ни лба.

Да что же случилось с тобою, страна?
Кому отфутболена эта вина?

В какой неизвестной безродной душе
сожжен Аввакум, схлопотал Бомарше?

Какая на листьях тяжелая пыль,
и первые страхи ночами спят?

Какой после сказки окажется быль?
Но спят палачи и котлы не кипят.

И только валютные бляди в такси
летят, словно ведьмы по нищей Руси.

* * *

Мы тебя признаем после смерти —
лишь в земле подернется трава.
И найдем по триумфальной смете
поздние и постные слова.

А пока живи, наш недолюбыш,
недомолвыш наш, живи, живи!
Если провожать — так не до луга ж?
Предавать — так ведь не до любви?

В этом мире, где слова не значат
больше крови, чем за них дают, —
первые — поют, вторые — плачут.
Третьи — разом плачут и поют.

Первым — жизнь отпущена по мерке.
Для вторых придуман зимний свих.
Третьим — петь и плакать после смерти.
Третьим — петь и плакать. Мы — из них.

МОЛИТВА

Оледенел от лени — но горю.
Пот нажил на висках — но отрясаю.
Не шкурник, не школяр — но отрицаю.
Не гвоздик, не господь — но говорю.

Не верь словам. В словах защиты нет.
Не верь в мое покорное молчанье.
Молчанье беззащитно, как мерцанье.
Когда мерцанье — вера,
ересь — свет.

Не верь тому, что именуют «грех»,
тому, что в спешке называют «счастьем».
Рубашка счастья сшита безучастьем,
желанием похожести на всех.

Я взял в поводья клятву и божбу.
Я приручал и совесть. Мне не больно.
Ведь совесть — только облако, не больше!
Дождь — совестливость духа. Верь дождю!

Мы трепетность храним под языком,
убив любовь в объятьях монотонных.
Не верь бессмертью в письмах многоточных.
Жизнь — повод к точке. Карандаш — с курком!

Пускай у нас в руках бунтует кровь
и сердцу умирать — всегда не время...
И все-таки не верь, как я не верю
неверью своему в твою любовь!

...Оледенел от лени — но горю.
Пот нажил на висках — но отрясаю.
Не шкурник, не школяр — но отрицаю.
Не гвоздик, не господь — но говорю.

* * *

«Любимая, жуть, когда любит поэт...
(все почки взрываются разом!).
Тебе был пожертвован разум и бред,
сомненьем спресованный в разум.

От грифельной стертости карандаша
до вафельной хрупкости перьев
тебе отдавалась судьба и душа —
пылинка, обросшая перлом.

Ты вся восходила на прочных дрожжах:
на волчьих и очных вопросах,
не ведая, как стригунок, о вожжах,
не зная, как бог, о доносах.

Ты стала строфой с ударением на
какой-то глазастенькой гласной.
На хрупкий курсив разлетелась слюна
и «кровь» написалась не с красной.

Я сам приторочил себя к колесу
скрипящего в спицах хорея,
поверив, что смертью — от смерти спасу,
даруя паренье, как рея.

Любимая, вот они — эти стихи,
слова в промежутках разбавки...
Висит восклицанье последней строки,
как будто Вийон на удавке.

Смотри, уж салюты вослед им палят.
Смотри, им сулят воскрешенье...
И взгляд у них черен. И черен как взгляд
идущих на самосожженье...»

Он выдвинул ящик ночного стола:
холодной змеей шевелилась зола.

ЩУПЛОВ Александр Николаевич родился в 1949 году в Москве. Закончил Московский государственный педагогический институт — исторический факультет. Автор восьми книжек стихотворений. В последнее время работал в еженедельнике «Книжное обозрение», заведующим в нем отделом художественной литературы. С 1978 года состоит членом Союза писателей.

ЧТЕЦ-ДЕКЛАМАТОР

Армейский генерал Николай Прокофьевич Пономарев, служивший некогда начальником штаба сводного противобольшевистского фронта, на исходе семидесятих годов прибыл в Иерусалим, чтобы там умереть и быть похоронену на горе Елеонской.

К этому времени Пономареву исполнилось девяносто лет, и он оказался последним из доселе здравствующих российских военных, произведенных в чин полного генерала еще на отечественной территории, — впрочем, всего в полусотне верст от ее тогдашней северно-западной границы.

За несколько дней до своих именин, празднуемых на Николу Зимнего, генерал Пономарев приземлился в аэропорту возле города Лидды — удела Великомученика и Победоносца Георгия.

Было шесть утра. Свекольного тона солнце, в форме гусиного яйца лежа, значительную часть пологой нижней дуги оставалось за горизонтом.

На бетоне, вплотную к трапу, присутствовали двое полицейских и рослый, несколько тучный парень с раздавшимся вперед и в стороны смугло-пористым надменным лицом: он, по всей видимости, то ли вел счет выходящим, то ли просто примечал за пассажирами — в большинстве своем североамериканскими туристами в одинаковых белых с голубыми выстроченными полями панамках.

Пахло гнилыми померанцами и сахаристою гарью ливанского табака.

Николая Прокофьевича поразил едкий цинковый туск небес, откуда замедленно отделялась и мерцала чешуйчатая сухая мгла, хамсин.

Сообразуясь с дружескими советами людей, хорошо знающих теперешние порядки на Среднем Востоке, генерал Пономарев — через своего адвоката — заранее вошел с ходатайством в Главную канцелярию наместника Иудеи и Самарии, прося о дозволении на непрерывное проживание во Святом Граде — с тем, чтобы обыкновенно предоставляемую властями полугодичную визу стало б возможным продлевать, не покидая для этого пределов Палестины.

Проситель передвигался с помощью особенно изогнутой, расчетверенной книзу ортопедической трости и, предположительно, не требовал к себе какого-то либо утомительного, порождающего добавочную ответственность внимания. Напротив того, сочувственный подход к пожилому человеку в очередной раз показал бы всем заинтересованным, что новое начальство отнюдь не стремится к созданию излишних ограничений, если только эти последние не диктуются нуждами безопасности.

Из канцелярии наместника подписанные Николаем Прокофьевичем бумаги были переданы в окружной департамент министерства внутренних дел и в христианский сектор министерства культов; после сравнительно недолгой для подобных случаев процедуры, ходатайство генерала Пономарева было удовлетворено — покамест полученное разрешение давалось на два периода кряду, что означало двенадцать месяцев.

Николай Прокофьевич поселился в миссийских помещениях Русского Гефсиманского Сада при храме во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Седьмилуковичный, московской архитектуры, возведенный в память Государыни Марии Александровны на средства Ее Августейших Детей и потому прозванный «царским», — он был поставлен на пустом щебнистом участке. Это обстоятельство тревожило Василия Николаевича Хитрово — ревнителя российского православия на Святой Земле — Палестине. В письме, отправленном в

Санкт-Петербург недель за пять до появления на свет генерала Пономарева, Хитрово настаивал на необходимости отделать спуск, ведущий от церкви под гору, террасами, которые следовало бы затем украсить посадкою деревьев различных пород; между деревьями Хитрово полагал выстроить несколько домиков для сторожей и старых служивых.

Проект отделки участка вскоре осуществился, но наиболее примечательною растительностью Сада стали не деревья, а скорее трава: вокруг укрепленных на террасах алебастровых вазонов с пеларгониями, по соседству с привычною палестинскою зеленью вроде мелкого терновника, лаванды и цикория, весною пробивались кашки, лютики и даже клевер — увядающие дотла в четверть отведенного им срока; семена-пришельцы были занесены сюда на подошвах бесчисленных пилигримов — и принялись.

Птицы в Русской Гефсимании до Четвертой Палестинской войны заводили пение по квадратам.

В тот краткий — для не знающей ни рассветов, ни закатов Иудеи — преддневный зазор: на конечной доле петлоглашения — в самом начале четвертой стражи — первым вступало в распев пространство над монастырским кладбищем; обширная каменная паперть и собственно храм, разумеется, выпадали, зато снизу вверх и сверху вниз по склону Елеонской горы квадраты вспыхивали один за другим: от домика игумении, и до высоких, о двух щитах, ворот Гефсиманской обители.

Захватывая край обрыва, квадраты переходили через переулочек и достигали базилики «Отче Мой» у Вифанского тракта; а в самом Саду движение шло от дерева к дереву, в глубь огороженных цементированною стеною владений Русской Духовной Миссии и Православного Палестинского Общества.

При этом кипарисы и сосны казались еще совершенно черны, тогда как изнанка масличной листвы отражала неопределенный, но явственный свет.

Впоследствии птичьи квадраты рассредоточились до беспорядка, где ничто певчее больше не подавало голоса; рано или поздно каждое из этих зияний изменяло своей немоте и принималось скрежетать по-вороньи.

Иеромонах отец Стратоник, рассказывая генералу Пономареву о соловьиных стаях, — а допустимо ли исчислять соловьев стаями, словно каких-нибудь чижигов-пыжигов? — не без труда возводил над подлокотниками инвалидных кресел крупные ледяные кисти тончайших рук, теряющих клёшенные рукава греческой рясы.

Отец Стратоник — в миру полковник Степан Сергеевич Филиппов, получивший в 1918 году от Шаха Персидского золотую саблю и звание генерал-лейтенанта, — поселился в Гефсиманском Саду много прежде Николая Прокофьевича; принял постриг и почти тотчас же — сан.

Обезножев, он сильно страдал от зависимости и унижений, что, сами того не понимая, причиняли ему раздражительные неуклюжие инокини, по большей части — дочери здешних крестьян, приведенные в русскую обитель волею домашних обстоятельств.

Но хуже всего приходилось иеромонаху от жестокостей Мнемозины.

То не была естественная в его положении память молодости и страсти: таковые воспоминания в нем, человеке стеснительном, прихваченном изнутри тысячью скоб, оставались настолько тонки, что до мыслеобразов не снисходили.

Не досаждал отцу Стратонику и многосложный перебор событий, которые близко по времени предстояли его изгнанию — он был избавлен от серьезных боевых неудач и оттого полагал, что если бы высшее добровольческое командование действовало на вверенных попече-

нию генералитета плацдармах подобно тому, как он сам управлялся с разбойниками в Персии, — все дальнейшее получило бы шанс развернуться иначе.

Филиппов терзался как раз промежуточным отрезком своей длящейся жизни; эти срединные сорок лет ни в каком звене ни разу не перекрылись ничем более значимым; их не уравнивали ни поистине весомое прошлое, ни сколько-нибудь достойное внимания настоящее.

Как обыкновенно бывает, Филиппову казалось, будто прежде написанные им полемические брошюры, статьи и произнесенные речи теперь дословно и без поправок перечитывались вслух, вновь провозглашались и обсуждались в собраниях, притом, что слова, признанные наилучшим ответом на злобу дня, уже на вторые сутки звучат и нелепо, и странно.

Но назойливый этот шум легко погашался изучением книг, сочиненных другими.

Увечный иеромонах просил отвезти его в монастырскую библиотеку — там сестра Феодора извлекала для него с полок кое-какие из присланных в обитель военных мемуаров и трудов по истории. Первые же страницы этих томов приводили отца Стратоника в ярость, и он заносил им на широкие наглые поля: «Ложь!! (Трижды подчеркнуто) Февральские предатели, посмеявшие нарушить присягу, отрекшись от заветов Императорской Армии, самочинно титулуют себя вождями — ими же измышленного «белого движения», — а далее карандаш проскальзывал у него меж сомлевшими пальцами и упал на пол.

На литургию отца Стратоника прикатывали в креслах в алтарь, — куда его противники и единомышленники топотали следом, не ощущая святости Богослужения, как прежде не ощущали смысла традиций исторической России; здесь присутствовали отважные, но непоследовательные братья Драгомировы, храбрецы Барбович и

Абрамов, зловещие безумцы Туркуль и Скоблин, самодур Шатилов и добродушный Бискупский, последний припоминался непременно в штатском пальто, прислонившись к штукатурке гулкого берлинского подвала-бомбоубежища.

Днем и ночью они вели какой-то невразумительный, беспросветный разговор — не-разговор, от которого полковник Филиппов впадал в дурнотную, не приносящую отдыха, злокачественную старческую дремоту.

Генерал Пономарев едва ли не с первых же месяцев стал избегать отца Стратоника, очевидно опасаясь источаемой страдальцем материи горестного беспокойства.

Происходя из заштатной Унжи Костромской губернии, Макарьевского уезда, Пономарев относился к тем немногим, кому дается легко понести — снедающее прочих дотла — чувство совершенного отсутствия связей между причиной и следствием, между результатом — и предварившими его разнонаправленными усилиями.

Непонятно — кому и неизвестно — каким образом проигранная кампания, в паре с невозможностью взять реванш — обстоятельство, всего ужаснее действующее на воинов и спортсменов; зрелище уверенных и спокойных мерзавцев при боевых орденах, — словом, вся эта несправедливость, вся эта от единого дуновения вспыхивающая горячая смесь чудом не добрызнула до генерала Пономарева.

Его память отвращалась от вида картин томительных и жестоко непоправимых; его судьба исполнилась последовательно и равномерно, тихо смыкаячись нисходящими слоями, наподобие меда, переливаемого из емкости в емкость.

Однажды вознегодовав, пономаревская душа, надсаженная избытком омерзительных впечатлений, произнесла «не хочу» — и молодой русский генерал, едва очутившись в Финляндии, женился на перешедшей в

православие вдовой бельгийке, чтобы отправиться с нею в Брюссель.

В Бельгии Пономарев сперва преподавал гимназический курс математики, а позже ведал страховыми операциями в небольшом пароходном агентстве. Перед новой европейскою войною ему представилась возможность вкупиться в торговое товарищество владельцев аптекарскими складами.

Таким образом генерал Пономарев исподволь покинул историю, где еще совсем недавно являл собою действующее орудие на знаменитые происшествия. Вертикальный список имен, обязательных к перечислению, сократился на строку, но это пришлось Николаю Прокофьевичу все равно — не по безразличию, а за душевную ненадобностью; уже к пятидесяти годам он, тяжелый, с вальяжно склоненным торсом и остроугольным рисунком седых волос, плавно зачесанных к темени, отзывался на превосходительное обращение шуточным, но обязательно отказом:

— Я, дорогой мой, не генерал, не адмирал, а чтец-декламатор. Ну-ка, откуда?

И начинал какое-нибудь «Письмо к ученому соседу» либо «Толстый и тонкий», читая скучноватые эти рассказы и вправду ловко и великолепно.

Жену Пономарев похоронил вскорости по переезде в Австралию — там обосновалось достаточно беженцев из Харбина и Шанхая, людей, чья нерасторопность помешала им достичь Нового Света.

В Австралии Николай Прокофьевич занялся церковными делами, и в конце концов принял предложение близко знавших его иерархов — помочь малочисленной нашей Миссии в Палестине и остаться там навсегда.

Это «навсегда» — если подразумевать под ним живую жизнь — никак не могло стать чрезмерно продолжительным для Пономарева, и тем не менее он, приехавши умирать, ни в чем не опознавал своей собствен-

ной, по его большое тело посланной, к нему во сретенье вышедшей — смерти.

Нелицемерно веруя каждому церковному слову на-счет удела всяческой твари, Пономарев поймал себя вдруг на склонности к некоему задорному детскому подначиванию, метанию камушков в направлении неподвижно разверстого зева — и готовности немедленно упорхнуть, если растревоженная преисподняя обратит свой снулый взор на выходки дерзца.

Он стоял во храме поблизости от панихидного столика, видимо завалясь на свою ортопедическую трость, присогнув набрякшие ноги, обутые в разляпистые стариковские башмаки—«шеллы», усиливаясь, чтобы не осесть на обтянутый кожей стул, прозванный, как и следовало ожидать, «генеральским».

Но чуть только при чтении кафизм доходило до стихов «...лета наша яко паучина паучахуся. Дние лет наших, в них же семьдесят лет, аще же в силах осемьдесят», в то же мгновение Николай Прокофьевич, как бы поперхнувшись, дополнял Псалмопевца: «А иногда и девяносто!»

Генеральскую поправку могли слышать лишь две близстоящие матушки, но сам Николай Прокофьевич ужасался произвольностью и внезапностью своего отзыва.

Спустя полтора месяца по прибытии Пономарева охватило странное прогорклое возбуждение; все его существо подвергалось воздействию какого-то мельчайшего дрожжемента, а ритм физического бытия клочковато замельчился.

От этого Николай Прокофьевич быстро изнемог и начал задыхаться.

Его отвезли в новую университетскую клинику на горе Скопус, рядом с военным кладбищем, где упокоились британские солдаты, павшие в сражениях под Ра-

маллою и Иерусалимом; за множеством одинаковых стел возвышался белесый крестоувенчанный обелиск.

Приступили к обследованию.

Глазастая чернавка — фельдшерица сердечного отделения — сделала Николаю Прокофьевичу кардиограмму. Она зависла над ним, лежащим, сразу двумя золотыми медальонами; один из них оказался ее собственным именем, которое Николай Прокофьевич пожелал непременно узнать и затвердить, а другой был при з о р о м о ч е с — раскрытою финифтяною ладошкою, по преданию имеющей силу отстранять нечистого.

Профессор-специалист в вязаной плоской шапчонке размером с кофейное блюдо прочел кардиограмму, а затем со тщательностью выслушал Пономарева. Сердце Николая Прокофьевича представилось ему здоровым — по крайней мере, в соотношении с возрастом пациента.

Недомогание отнесли за счет новых для генерала климатических условий, вообще признаваемых не слишком благоприятными.

Большинство естествоиспытателей и авторов путевых заметок согласно бранят палестинскую погоду, и прежде всего ту, что господствует в Иудее, а лучше сказать — в пределах четверосторонней условной фигуры, которая получится при последовательном соединении на карте — Антипатриды, Эфраима, Иерихона и Эммауса так, чтобы заключить в нее и частицу мертвоморского побережья. Однако наблюдения за температурою воздуха, скоростью ветра и прочим подобным показывает, что климат Святой Земли в общем пребывает в скромных пределах европейской погодной середины. Следовательно, причины болезнетворного воздействия палестинского климата надобно разыскивать в каких-то иных его качествах.

Весною 1848 года научная экспедиция капитана Линча отплыла на двух металлических лодках из Тиве-

риадского озера вниз по реке Иордан к Мертвому Морю, известному как Биркет-Лут, что означает «море Лота».

В продолжение первых двенадцати дней плавания путешественники чувствовали себя хорошо, но затем появились признаки, внушающие опасения.

— Мы стали походить на страдающих водянкою, — рассказывал позже капитан Линч. — Тощие пополнели, а полные распухли; бледные лица стали свежими, а бывшие свежими побагровели. Между тем, в воздухе не обнаруживалось ничего ядовитого: его не могли портить разлагающиеся вещества, ибо растительность на берегах Биркет-Лут ничтожна, а запах, исходящий от сернистых источников, не считается слишком вредоносным.

Вокруг нас были черные бездны и острые скалы, подернутые легким туманом, а на триста футов под килями наших лодок гирька глубокомера касалась погребенной на дне морском под слоями грязи соли Сиддимской долины, на которую обрушился Божий гнев.

Тогда как мои мысли обратились к этому предмету, мои товарищи заснули во всех возможных положениях тяжелым, нездоровым сном. Одни спали, закинув головы назад, с растрескавшимися губами и с ярким румянцем на щеках; другие, на лицах которых играли отраженные морскою поверхностью солнечные лучи, походили на призраков. Их забытие сопровождалось нервическою вибрациею всех членов; время от времени они вскакивали, жадно припадали к бочонку с пресною водою — и вновь погружались в оцепенение.

— И в эту минуту, — восклицает капитан Линч, — мною овладел страх. Волосы мои встали дыбом, и моему воображению представилось нечто чудовищное в облике разгоревшихся и вздутых лиц моих спутников: казалось, будто незримый ангел смерти витал над нами.

О зловключениях экспедиции Линча сообщил Николаю Прокофьевичу инок Игнатий, живший в сторожке неподалеку от храма Успения Богородицы; его милая,

слегка рыластая внешность пылала, точно и он плавал с отважным Линчем по адскому морю, чьи воды поднялись над окрестностями Содомской и Гоморской.

Игнатий числился за греческим Патриархатом и в Русский Сад приходил по великим праздникам.

Расспросив подробней о пономаревском здоровье, Игнатий поведал, что Иудея, в отличие от всех остальных стран мира, не знает зимней спячки, которая, вопреки распространенному заблуждению, вовсе не обязательно связана с холодом или снегом, то есть с периодом, температурно противоположным летнему. Просто в отведенное время года мир задремывает; его растительное, животное и минеральное царства замирают, приостанавливают активное свое существование — везде, кроме Иудеи. Она не спит никогда. Этот накопленный за тысячелетия недосып, — то отчаянно ворочающийся с боку на бок, то окаменелый и безнадежный, обязательно оказывает свое действие на приезжих христиан. Рожденные в Иудее обладают носимым в жилах противоядием.

И, видя недоумение собеседника, напомнил, что Господь наш Иисус Христос ни единого разу не переночевал в Иерусалиме, который был и остается эпицентром палестинской бессонницы.

Господь с учениками всегда уходил на ночлег к друзьям в Вифанию или находил приют в гефсиманских пещерах, ибо климат Елеона позволял галилеянам избежать нападения местной болезни.

— Как человек Господь Иерусалим ненавидел, но как Бог любил, — словно бы открывая семейную тайну явившемуся в опустелый замок наследнику, сказал инок. — Об этом все святые, которые здесь подвизались, знали, только не всем говорили.

— А вот как, например, бедный наш батюшка Стратоник, — утомленный и напуганный Пономарев попытался было обратиться инока Игнатия к тому месту разго-

вора, откуда он без предупреждения рванулся в крошечное. — Ему, следовательно, тоже поспать не удастся?

— Нет, и никогда, — сразу отозвался инок. — А он все старается, на людей сердится... Из наших здесь ни один не спит полноценно. Греки, насколько я знаю, часто спят, арабы тоже, у католиков — смотря кто, протестанты — не могу понять, что у них такое, — прижимивал Игнатий синие, с алой кровью у зернышек, глаза, стараясь никого не пропустить. — А наши русаки, так, по-моему, никто! И вы, генерал, ощущаете то же самое.

И выполняя настоятельную генеральскую просьбу о возвращении, охотно выруливал к берегу:

— Еще, знаете, что-нибудь такое года три назад с отцом Стратоником очень было любопытно. Удивительные вещи он вспоминал, и в абсолютно для нас незнакомых таких аспектах. Доказывал, что Корнилов должен считаться предателем, а по поводу Гучкова — что он по заданию немцев и ГПУ хотел какое-то правительство в изгнании сформировать. Для меня все это! — я в войну из Киева в Европу, а оттуда в Аргентину, — это как сказка, невероятно. Мы все, знаете, привыкли, что вот — большевизм, а вот — его противники, а он настолько колоссально много знал и видел... А вы, генерал, наверно, еще больше.

— Ну какой там генерал, — по обыкновению отрекся Николай Прокофьевич. — Я чтец-декламатор. Вы, батюшка, Чехова любите?

— Вы — не генерал, а я не батюшка, — совместил капиллярчатые веки Игнатий. — Я без священного сана; брат, монашек.

Пономарев счел для себя возможным осведомиться — почему.

— Если уж мы монахи плохие, то священниками будем абсолютно куда не годными.

Последнюю фразу Николай Прокофьевич воспринял как веселый афоризм с благочестивою подоплекой и, улыбаясь, высказал опасение, что подобная требовательность к себе действительно может лишить отца Игнатия необходимых часов сна.

Инок, боясь смутить собеседника, ставил вопрос из мирского: был ли Пономарев знаком хотя бы с Корниловым и Гучковым и что б он согласился добавить к повествованиям Филиппова.

— Встречались, — подтверждал Пономарев. — Ситуация была тогда, э-э-э, совместная, всех совместило, а потом — взрыв! И разлетелись куски. Но ничего я интересного не помню, дорогой отец Игнатий. Ни Лавра Георгиевича, ни Александра Ивановича, ни даже самого Николай Прокофьевича. Помню только одного Антона Павловича. Хотите?

Мрамористого оттенка, с патиноподобною оплесневелостью громадная глыба, оставленная строителями, возможно, не столько по ее тяжести, сколько по красоте, служила Пономареву ориентиром в прогулках: доковыляв до нее допускалось идти обратно.

Было восемнадцатое апреля, Светлый Понедельник.

Отец Стратоник скончался на исходе февраля. Через неделю обнаружили мертвым на полу в сторожке отца Игнатия; рассказывали, что инок угорел, оставив на ночь включенным на полное пламя газовый камин: зима была холодною, а ветер таким, что гнул поперечины у антенн на крышах, если не мог снести их целиком.

Сам Николай Прокофьевич проболел весь Великий Пост; дважды его укладывали в больницу, осматривали и привозили обратно без определенного диагноза.

Ухаживать по болезни за ним определили сестру Надежду Бекетову, поскольку она одна из молодых и пригодных к подобному послушанию владела природным русским, — а генерал заговорил до того невнятно, что прочие сестры упорно отказывались с ним связы-

ваться, уверяя, будто не разбирает его просьбу и потому бояться рассердить.

— Доброе утро, генерал, comment sa va? — нахмуренная курносая парижанка Надежда со звоном и разбрызгом переменяла-мыла грязную посуду в пономаревской келье.

Ей не давали покоя помыслы о Царе-Мученике, которого она любила с детства — и жалела за несчастливую жизнь в семье: Императрица была доброй, но нервной, погруженной в свое, и потому часто жестоко ранящей голубиную душу Государя.

— Я тебе не генерал, а знаменитый чтец-декламатор. — смеялся Николай Прокофьевич. — Дамы и господа! Послушайте юное произведение Чехова «Письмо к ученому соседу». «Дорогой соседка! Максим... Забыл как по-батюшке, извините великодушно...»

— Ваше Превосходительство, — перебивал Пономарев храбрый, но истеричный капитан Линч: ему вечно представлялось. — Ваше Превосходительство! Положение трудное, а откровенно говоря — безвыходное. За результат я ручаться никак не могу, и брать на себя исполнение приказа, заведомо невыполнимого не буду! Не имею права!!

Николай Прокофьевич предлагал ему пойти отдохнуть, и капитан, задержав дыхание, покидал кабинет, плотно прикрывал за собою двери, и уже там, за дверями, начинал биться, громко рыдать и засекается на криках.

Генерал Пономарев поневоле прислушивался к творящемуся рядом безумию, а потом не выдерживал и выходил к Линчу в коридор, а капитан удирает от своего начальника штаба во двор, бросался ничком под обитое фанерою крыльцо и, приговаривая «молчи, гаденыш, молчи», понемногу затихал. Вскрикивания его становились все реже. Капитан Линч поднимался с земли, закуривал папиросу и уходил прочь.

Николай Прокофьевич передвигался теперь с двумя тростями — прежней ортопедической и обычной, но на широкой гуттаперчевой подбойке: ноги стали как-то выкаблучивать, выбрасываться из-под туловища, отчего на корректировку каждого такого шага-рывка понадобилась надежная дополнительная опора.

Снизу от ворот слышались голоса, залаяла миссийская собака по кличке Комар, и неторопливые мирские шаги потянулись вверх по ступеням!

Начальник миссии — моложавый архимандрит с нежною рыжеватою бородой, — вел гостей: приземистого, низким бобриком стриженного господина в темных прямоугольных очках и — юркого, губастого, в цветной сорочке под спортивную куртку.

Господин в очках был писатель-правозащитник Феликс Рохлин, а сопровождал его ученый-кремленолог, преподаватель здешнего университета, чья кафедра пригласила Рохлина принять участие в симпозиуме по проблемам стран Восточной Европы.

В один из «бездокладных» дней, по ходу разговора, кремленолог предложил Рохлину посетить заколдованное, как он выразился, царство, где по сей день висят портреты Царей и похоронена сестра последней русской Императрицы.

Особый, циклический характер истории России не составлял тайны для Феликса Рохлина.

За те десять лет, что прошли со времени его выезда из Совдепа, изменилось немного, а наблюдать стало значительно удобнее. Процесс не просто повторялся, но как шелудивый пес из поэмы Блока, вертелся на одном месте, ухватив себя зубами за хвост, украшенный консервной банкою из-под китайской свиной тушенки. На смену деспотизму олигархическому следовал деспотизм охлократии, а промежутки на спаде деспотии предыдущей — в преддверии деспотии наступающей — заполнялись глобальною неразберихою, как, скажем, в

периоды между октябрём 1905-го и октябрём 1917-го; или мартом 1953-го и, опять же, октябрём 1964-го.

Известие о том, что где-то бережно хранится мумия прежнего кумира (или, на худой конец, его родственницы, существенного значения не имеет) в ожидании того исторического момента, когда ее можно будет уложить под стекло гробницы, пока еще занятой мумией кумира сегодняшнего, — известие это довело Рохлина до счастливой гримасы. Было бы невозможно сознательно измыслить столь однозначное подтверждение теоретически постулированного феномена.

С начальником Миссии договорились на другой день после полудня.

В автомобиле о.архимандрит предупредил гостей, что в Гефсиманской обители завершили свое земное поприще лица, небезразличные для нашей истории. В настоящее же время здесь проживает престарелый генерал Николай Пономарев, чье имя неразрывно связано с перепетиями последней Русской Смуты.

«Православие, самодержавие и профнепригодность», — подумал Рохлин, с утра настроенный весело и продуктивно. Ему совсем не хотелось стебаться по-злому над человеком, который пытался с оружием в руках действовать против бешеных охломонов. Коммунистические режимы могут и должны быть уничтожены только превосходящею военною силою, с применением необходимых средств, поскольку все прочие меры воздействия — включая политические, экономические, не говоря уж о моральных! — на тоталитарные системы не действуют.

Но победа этого «поручик-голицын-корнет-оболенский-налейте-вина», окажись она возможной, предлагала в качестве альтернативы всего-навсего изживший себя на данном этапе вариант деспотизма.

Пусть потерпит до следующего оборота.

Обвисая по сторонам своего ломкого, с болезненными шипами позвоночника, Николай Прокофьевич передвинулся в направлении посетителей; принял архимандричье благословение, а мирским кивнул головою в желто-белых, ленточками, прядках.

— Скажите, пожалуйста, господин генерал, — произнес Рохлин с нарочитою деликатностью, — как бы нам прочесть ваши мемуары? (...анти-Жукова, — прибавилось в уме). Вы их вероятно, в ПОСЕВЕ публиковали? или в ИМКЕ?

— Я чтец-декламатор, — возразил Пономарев. — Вот мы вам сейчас из Чехова прочитаем.

Но гости за неимением достаточного времени, вынуждены были отказаться от декламации Николая Прокофьевича, и после недолгого чаепития в игуменской о.архимандрит повел их назад к миссийским зеленым воротам.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

Уже мне реки те видны
С их неземной голубизной.
Три молчаливые жены
Прядут и путь решают мой.
О пряжи вещие судьбы,
Ведь я у берега реки, —
А воды Стикса голубы,
А воды Леты глубоки.
А дни уплыли, как линии,
Как стая резвая линей...
Скажите, пряжи, где они,
Мои шестнадцать тысяч дней?
Где кровь моя, где мозг, где мощь, —
Спрошу божественных я прях, —
Как будто я играл всю ночь
И проигрался в пух и прах.
Что сделал я, что натворил?
Я проиграл, что только мог, —
Я проигрался, как Андрий.
Как Достоевского игрок.
Как я успел, когда и где...
Шестнадцать тысяч в ночь одну!
О, дайте на кон бросить день,
И я назад их все верну!
И оправдаю жизнь и страсть,
И то, зачем я был зачат...

А пряжи продолжают прясть,
А пряжи вещи молчат...
О, дайте мне еще хоть раз
Сыграть и миг игры продлить...
Прядут, не подымая глаз,
И перекусывают нить.

1978

СЫНУ

I

О Петроград, советская Помпея,
Под пеплом похороненная вмиг,
Где на руины варвары глазек
И топчут их, не различая их.

II

Ты возьмешь лихача. Дашь на чай ему
десять копеек.
Ты заедешь за мной, и мы будем с тобою катить.
Вдоль Фонтанки и Мойки, как по улицам
мертвой Помпеи,
Где осталось все так, как должно было,
в сущности, быть.

1980

Ты выйдешь в лес с рассветом ранним,
 И лес в предутренней тиши
 Тебе покажется туманным
 И странным зеркалом души.
 Души, где места нет смятенью,
 В которой все покой и свет,

Покорность, робость и смирение,
 Чего у нас в помине нет.
 Осины робкие и ели,
 К ручью склоненная лоза,
 Как бы в себе запечатлели
 Безмерной нежности глаза.

Быть может, вот по этой гати
 Или у этого куста
 Однажды проходила Мать,
 Шла Володимирская, та...
 С тревожной думою о сыне,
 Лицо упрятавшая в плат,
 Она на ели и осины
 Порой бросала быстрый взгляд.

1982

ФЕВРАЛЬ

Борису Чичибабину

...Ты скажешь:
 ветренная Геба...

О, как тебе, несчастная страна,
 Все соответствует в природе,
 На склоне века дряхлая весна
 Пришла о девяностом годе.

В лохмотьях туч, расхристана, седа
Она явилась в край разрухи.
Из грязных туч и колотого льда
Глядит на нас лицо старухи.

Из глаз слезящихся и почерневших ран,
По стенам, на асфальта плиты
Течет, течет и обнажает срам,
Еще вчера под снегом скрытый.

Она смеется, старая карга,
И зубы скалит, и глумится,
Там сруб обугленный, здесь в нос шибает
гарь,
И пепел в воздухе клубится.

Мальчишки жгут на пустыре костры,
Где под кладбищенскою кручей
Венки бумажные, и сгнившие кресты,
И унитазы в общей куче.

И к центру города под сетью эстакад
Ползет со стороны кладбища
Не дым отечества, а горький этот чад,
Дымок родного пепелища.

Февраль 1990

БАЛЛАДА ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Знакомый ночной перекресток,
Стою я у Красных ворот,
Где ветер особенно хлесток
И шарф мой настойчиво рвет.

И в сердце усталом и хмуром
Рождается боль без причин,
Когда с нарастающим гулом
Подкатятся волны машин.

Сквозь мутное города чрево
Текут беспрерывно они,
Прносятся желтые слева
И красные справа огни.

Когда же поток иссякает
И лязг затихает и гром,
Москва наконец засыпает
Тяжелым предутренним сном.

И в миг этот время слоится,
И слой наплзает на слой,
И вдруг возникает — к т о м ч и т с я
И с к а ч е т п о д х л а д н о ю
м г л о й .

Ездок запоздалый и скрытый
Летит мимо Красных ворот,
И конь по асфальтовым плитам
Копытом невидимым бьет.

И мчатся для глаза незримо
Отец и испуганный сын
По улицам Третьего Рима,
Средь кладбищ его и руин.

И лес безобразных строений
Встает на пути ездока —
Чащоба почище владений
И чудищ лесного царька.

Из тьмы выползают уродцы,
Упырь обнажает свой клык,
И долго в ночи раздается
Младенца несчастного крик.

20.04.91

ТИМОФЕЕВСКИЙ Александр родился в 1933 году в Москве. После окончания сценарного факультета ВГИКа работал редактором на таджикской киностудии. Автор мультипликационных сценариев и песен. Живет в Москве.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Краковец проснулся от холода в большой дубовой кровати и долго таращился на мозаику из ценных пород дерева, покрывавшую стены гостиничного номера. Номер был люкс, для самого высокого начальства (редко теперь здесь бывавшего), как, впрочем, и вся эта гостиница в сибирском городке Стрешневске, где зима уже наступила, не считаясь с тем, что на дворе только начало осени, а отопление еще, естественно, не фурыкало.

Здесь, вероятно, полезным было бы авторское (в более высоких жанрах его именуют лирическим) отступление, которое позволило бы нам сразу поставить точки над *і* и над *ё*, как того требуют правила реалистической, а не какой-нибудь там модернистской литературы, заполонившей ныне самиздат, тамиздат и даже проникающей порою в наш отечественной госиздат, куда, казалось бы, и вообще проникнуть невозможно. Отступление это объяснило бы раздраженный и даже критический тон, в который с первых строк впадают как автор, так и его герой, московский журналист и даже отчасти беллетрист (невеликая, впрочем, птица на столичном-то горизонте) Григорий Краковец. Ведь казалось бы, чего не жить — бодрое сибирское утро, морозец, гостиница из моренного дуба, а номер тебе — люкс, почет и уважение, встань, умойся ледяною водою, выйди на хрустящий снежок, а то и просто дошаркай по коридорным коврам до спецбуфета (тут, впрочем, нет полной уверенности, что открыт, потому что не ждали — как у художника Репина) и — вперед! Познавай жизнь, вторгайся в нее холодным оружием печати, поддержи хилые ростки

нового, рази пережитки старого, которое мешает нам жить, корчуй его могучие заросли... Так нет же, не хочет — все то же, уже надоевшее брюзжание, недооценка перестройки, переоценка перегибов, и недостатков, и недочетов — в этом оба они как в капле воды, и автор, и его герой, типичные русские советские интеллигенты, впрочем, и это ведь не совсем точно, и это самоназвание: любитель-специалист по национальному вопросу не признал бы за ними ни первого, ни второго, ни третьего, да и профессионалы усомнились бы, но уже, конечно, по заполнении соответствующих анкет. Во-первых (и это для обеих категорий специалистов важно), впрямь ли русский? И что такое стопроцентный русский? Это только американцы отчего-то бывают стопроцентными. Сто ли там процентов русской крови? Пятьдесят ли? Двадцать ли пять? Конечно, примеси крови в нашей терпимой России никогда не считались предосудительными, хоть бы и татарская, как у Романовых, или (у них же) и немецкая, или французская, или итальянская, или черкесская, или португальская. Но только не эта, ради бога. Точней даже — ради Бога, и описка тут не случайная, выдает новомодное, на скорую руку крещение автора, где-нибудь на углу Пятницкой и улицы Бахрушина. Во-вторых, интеллигент ли вообще? Вряд ли. Да известно ли ему самому (автору или герою), что есть интеллигент? Тут-то и выясняется, что образованщина. Да и насчет советского тоже надо еще посмотреть (хотя уже с другой стороны). Ведь если содержится хоть какая ни то антисоветчина, то можно ли такого человека назвать с полным основанием советским? С другой стороны, отчего бы и нет? Со всяким может случиться, — у кого ж ее не закрадывалось? Да ведь и критерии так быстро меняются, сегодня — анти, а завтра глядишь — можно... А все же есть чутье, и есть чуткие люди, обладающие этим чутьем, они-то и ска-

жут придет время. Впрочем, эту последнюю часть триады (насчет советского) мы все же признаем за своим героем, хотя бы условно, а то рассказ наш с места не сдвинется, а реалистический рассказ, он должен двигаться, иначе что ж это будет — стихотворение в прозе. Не потянем. Эссе? Трудно даже сказать, что это такое, эссе, ясно только, что автор этого не хотел...

Итак, журналист Краковец мерз в этой своей полутораспальной дубовой кровати и с неодобрением разглядывал драгоценные стены начальственной гостиницы. «Такая с-ань, — думал он. — Такая ср-нь! Миллион ухлопали в этой с-ани на гостиницу для начальства, а теперь, видишь, не топят...»

Не то, чтобы Краковец не одобрял того факта, что ему оказан был здесь столь начальственный почет. Или чтоб он был там какой-нибудь сторонник всеобщего равенства. Напротив. Как нормального советского человека его обижала всякого рода уравниловка, и он не потерпел бы, если б ему пришлось стоять в аэропорту в очереди или ночевать в холле гостиницы. А все же и социальное неравенство его тоже слегка коробило, так как он взращен был родною литературой на светлых идеях равенства и братства — вот, мол, парадный подъезд, и труд этот, Ваня, был страшно громаден. Строго говоря, он понимал, что и Н.А. Некрасов не мок сам у подъезда и не вкалывал на общих работах на железнодорожном строительстве где-нибудь на БАМе, а тоже, как известно, питался шампанским, закусывал икрой и снимал стресс при помощи грудастых француженок, которые хотя чаще всего и страшненькие, а все же дают ощущение уровня, потому что отдаются не задаром. Так что при всех своих слабостях имел наш герой Краковец эту остроту социального восприятия и эгалитарное неприятие привилегий, хотя, скажем честно, на собственном его творчестве это никак пока не отразилось, потому что твор-

чество, оно, как ни крути, определяется все же спросом и предложением, а «Парадный подъезд» ему еще никто не предлагал написать (Некрасов его тоже, между прочим, не в стол настрочил, самый был тогда спрос на такую тематику)...

Спасаясь от холода под одеялом, Краковец припоминал, как его угораздило попасть в эту постель (тут у нас дальше идет художественный прием, который называется «ретроспекция», он, конечно, давно устарел в искусстве кино, но в настоящей литературе все вечно). Московский журнал, имевший в последнем квартале неизрасходованные командировочные средства, а заодно и не охваченные творчеством районы Сибири, предложил Краковцу слетать в Томскую область. «Деревянная архитектура, старик, с ума сойдешь, еще не всю пожгли...» Писать надо было, впрочем, не про архитектуру, а про какого-нибудь передового труженика, скажем, рабочего-строителя, но не так писать, чтоб там просто бетон или план, а чтоб наш человек был виден, как у нас теперь говорится, человеческий фактор. Что это означает, редактор, кажется, сам пока еще не понял, потому что термин был сравнительно новый, из беспокойных времен перестройки и гласности, когда всем ясно стало, что с безгласностью уже пора, наверное, кончать, а вот что делать дальше — еще не слишком понятно.

Вооруженный удостоверением и авансом, опережаемый также казенною телеграммой, Краковец прилетел в областной сибирский город Томск, где стал держать совет с местными коллегами — о том, как бы это ему получше посмотреть Сибирь. Хотя Краковец всю жизнь безвыездно прожил в России и немало по ней ездил, он все еще не терял надежды досконально изучить эту необъятную, как говорится, от моря до моря (да чего там два моря, когда сухопутная, в сущности, Москва-матушка и то порт пяти морей) страну.

Сибирские коллеги пришли в страшное возбуждение и стали советовать ему наперебой всякие кипучие захолустья, где еще буквально вчера ничего не было, а нынче — о-го-го, чего там только нет сегодня! Хотя, впрочем, многого, конечно, еще нет... Что же касается человеческого фактора, то и фактор, конечно, тоже встречается, как же без фактора? Чаше других мест коллеги называли городок Стрешневск, и при этом названии глаза у них туманились: «О, Стрешневск...» Правда, они тут же оговаривались, как бы извиняясь, что трасса нефтепровода уже ушла из Стрешневска, так что, теперь центр внимания переместился в соседнюю область, но все же там и сегодня еще, в этом Стрешневске, кипят дела и разные свершения, в частности, жилищное строительство идет развернутым ходом, есть одна дивчина на кране, и так далее. И глушь такая, братец ты мой, такая даль, что пешком не дойдешь и на машине не доедешь (дороги туда нет), а только вот по воздуху... И Краковец полетел, так и не успев в суматохе взглянуть на уцелевшие деревянные домики с резьбой, спрятанные где-то за панельными пятиэтажками областного центра. Он до тошноты долго летел на маленьком самолетике (болтало изрядно), внизу рыжел лес, темнели болота, лес и болота, болота и лес, без конца и краю, и двести, и триста, и четыреста, и больше километров — ни тебе жилья, ни людей. Конечно, если бы не болтало так сильно и не тошнило, то можно было бы изумиться (верней, нельзя было бы не изумиться) необычайному простору и богатству этой бескрайней, необиженной земли или (при соответствующем критическом настрое) удивиться такой ее неухоженности. Под вечер наконец они долетели все же до этого самого Стрешневска, где Краковец был встречен молодым толстым мужчиной из местного горкома, имевшим в своем распоряжении машину для встречи гостя. По дороге в гостиницу Краковца болта-

ло и тошнило, точно он все еще был в самолетике, и лишь однажды, когда ему полегчало, здоровое любопытство заставило его взглянуть в окно. Увидел он, впрочем, блочные пятиэтажки, точь-в-точь как в областном центре, может чуть погрязнее, — и тошнота вернулась.

Улыбчивый толстяк из горкома, перехватив его взгляд, откликнулся бодро:

— То-то. Растет и хорошеет. Завтра оклемайтесь — все поглядим, по большому счету...

— Я для того, собственно... — пробормотал Краковец.

Он хотел сказать, что затем он и ехал в такую даль, чтоб все в подробностях, и так далее, но новый позыв к рвоте заставил его умолкнуть.

— Ничего, — сказал толстый провожатый, благо-разумно отодвигаясь от гостя. — Время еще будет поглядеть. Так что я в вашем распоряжении. День и ночь...

Ночь он кое-как перебедовал. Пришло утро, может и день уже наступил, а толстого что-то не видно. Надо вставать, умываться, бриться и отправляться на по-иски завтрака...

Неизвестно, сколько времени Краковец предавался бы еще этим мыслям, дрожа под казенным одеялом, если бы телефон не зазвонил в конце концов на громадном письменном столе (как же начальству без стола?). Краковец подбежал босиком по холодному полу, схватил трубку и услышал бодрый голос вчерашнего толстяка.

— Ничего, не спешите, — сказал он. — Одевайтесь пока, а я тут насчет буфета хлопочу. Буфетчицу уже вызвали.

— Р-разумно... — бормотал Краковец, одной рукой натягивая штаны и стуча при этом зубами, — Г-гуманно...

О, бр-р-р. Сам-то небось уже поел — поспал в теплой супружеской постели, позавтракал, теперь звонит...

Краковец ополоснул лицо под краном и, натянув на себя теплую рубаху, свитер и куртку, спешно покинул номер. Больше натянуть на себя ему было нечего — кто ж его знал, что тут зима в начале сентября.

Толстый мужчина по имени Валерий повел его в буфет.

— Пришла. Злая как черт, — сообщил он доверительно про буфетчицу. — Она у нас вообще-то спецбуфет обслуживает, на самом что ни на есть верху, а тут ей сейчас выгоды нет, одно совместительство. Там-то у нее, где тузы, там копченая колбаска бывает и все такое, так что с ней не очень-то будешь...

Плотная бабенка со следами былой миловидности на отчаянно наглом лице и не скрывала своего раздражения. Валерий было сунулся к ней в кухнюшку справиться насчет меню, но она вполне развязно шуганула его оттуда — видать, она и впрямь проводила свои дни где-то там, в самых верхах, и даже эти верхи, может, сильно от нее в чем-то зависели. В буфетном зале было так холодно, что Краковец (ему-то что за страх, человек приезжий, из центра!) дерзнул втереться в кухнюшку, поближе к электроплитке. Здесь он впервые в жизни наблюдал процесс приготовления столового кофе (чай по причине его низкой цены теперь и в рядовых столовых редко держат): в маленькую кастрюльку буфетчица бросила две ложечки растворимого кофе из баночки и поставила кастрюльку на огонь.

— Кипит! — сообщил Краковец, стараясь, впрочем, быть любезным и ненавязчивым. Он протянул чистый стакан:

— Можно самообслужиться?

— Да? — сказала буфетчица, глядя на него с усмешкой.

Это было замечательное «да?». Точно он попросил у нее довоенную воблу или блины с икрой. Да он вскоре и сам убедился, как глубока была пропасть его наивности: буфетчица вылила черную жижицу из кастрюльки в десятилитровое ведро, где были смешаны вода, сахар и молочный порошок, после чего традиционная кофе-какала была готова к употреблению.

Краковец брезгливо отверг прошлогодние яйца и летнего завоза кефир, выбрав к кофе окаменелую булочку.

— Идите в зал, сама обслужу, — сказала буфетчица. Она вдруг вызывающе качнула задом, и Краковец смог понять, что это сексуально активная единица, что она еще, вероятно, обслуживает кого-нибудь там, в этих влиятельных верхах и чем-то иным, хотя, конечно, и менее ценным, чем копченая колбаса, а все же пока имеющим спрос (в определенной, конечно, обстановке, под элитарную выпивку и ту же колбаску — ах, как прекрасна, должно быть, жизнь в высоких, а также еще более высоких сферах!). Зазывно качнувшийся зад этой спецбуфетной сексуальной единицы засвидетельствовал, что и он, Краковец, тоже размещается где-то там, не на самом социально-сексуальном низу нашего общества, хотя и не вполне еще ясно, чего от него можно ждать женщине. «Ничего ты, мордатая курва, не дожدهшься, — очень невежливо подумал он про себя. — Ни водяры тебе не будет, ни шампусика, ни продвижения по службе, ни задвижения на службе... Пусть тебе начальство задвинет».

Он молча удалился за массивный дубовый столик (на сей раз дуб был отчего-то без инкрустаций) и демократически поделился с толстым Валерой своими мыслями (не всеми, конечно, ибо Валерин должностной демократизм еще не казался ему совершенно надежным):

— Разбойница, а? Просто Дикий Запад. Правильно нам партия говорит: здесь ищите своих героев, в самой так сказать, гуще. Вот они, наши гангстеры, наши вестерны и салуны. Такая задушит и не пикнешь... Впрочем, — добавил он осторожно, — и то очевидно, что не всякий герой годится нам на первом этапе гласности...

— Это точно, — сказал Валерий. Он был унижен буфетчицей, давшей ему понять, что он пока не бог весть какой начальник и что таких-то, как он, грибков она бочками маринует.

Склонившись к Краковцу, Валерий сказал доверительно:

— Ее, кажись, сам тянет.

Краковец кивнул с большой серьезностью, хоть и не вполне понял, кто такой был сам и какова была степень его самовитости: то ли это был первый секретарь, то ли всемогущий начальник нефти, то ли шеф жилпромстроя. Видимо, он все же занимал какое-нибудь достойное место, отчего и был «сам». То есть «сам» он был именно вследствие сочетания с этим местом, ибо сам по себе он был, вероятно, никто и ничто — и будет никем снова, как только его с этого места снимут. Хотя всего он все же, наверно, не потеряет, не дадут ему все потерять, совсем потеряться, раз уж добрался он до самого спецбуфетного верха...

После завтрака Валерий повез гостя на стройку жилмассива.

— Все понятно, — сказал Валерий, выслушав дорогой смутные пожелания Краковца насчет человеческого фактора. — Вам Валентина нужна. У нее все показатели, буквально, — и выполнение, и авторитет, и даже где-то личность...

— Это хорошо, — сказал Краковец. — Последнее. Насчет личности.

— Увидите! Будка во!

Они высадились из машины среди холмов строительного мусора. Хотя и строительный, он был все же мусор, уже изрядно, впрочем, перемешанный с нетающим снегом. И ветер при этом дул просто ледяной. «Сентябрь, падло, называется», — уныло думал Краковец. Ежась на ветру, он размышлял, отчего он так ненавидит стройки. Может, оттого, что имел он несчастье родиться в период развернутого строительства, прожил свою жизнь под грохот строек и никогда уже, наверно, не увидит ничего достроенного...

Он оглянулся. Валерий за его спиной ковырял ботинком кучу строительных отходов.

— Вполне приличные доски попадают, — сказал он. — А мне вот так нужна доска для балкона. Надо будет обговорить... Вообще, стройка, я вам скажу... — Валерий прищурился руководяще. — Это ведь золотое дно, кто понимает.

«Вот и еще один взгляд на развернутое строительство, — подумал Краковец уважительно. — И он ведь прав, мой гид: под стройку что хошь можно списать и что угодно для себя самого построить. Построенное-то, оно, конечно, всегда ниже наших ожиданий, зато сам процесс строительства...»

Краковец вспомнил, как он снимал однажды дачу под Гагрой у скромного строителя пицундского комплекса. Человечек этот был простым диспетчером на знаменитой пицундской стройке, под какое-то строительство (и какое-то диспетчерство) он для себя лично построил пятнадцать дач, все как есть из краденого материала. Строительным организациям курорт обошелся, конечно, дороговато, да и диспетчера в конце концов все-таки посадили, но сидел он совсем недолго: на сокращение сроков отсидки у него были особо отложены деньги... Глядя на Краковца, безнадежно терзающего в приморском саду пишущую машинку, славный пицундский строитель останавливался иногда пе-

ред сочинителем, точно хотел сообщить ему что-то очень важное. И Краковцу казалось, что он даже понимает, что́ хочет сказать ему удачливый строитель: «Кончай, друг, строчить эту хреновину. Вот он, стоит перед тобою, настоящий герой наших дней, настоящий мужчина, настоящий Давид-строитель... Что с того, что построил он частные дачи, а не уродливые бетонные башни? (Ты-то что, предпочитаешь казенные частным?) Но ведь построил. Своими руками. Деньги, во всяком случае, украл своими руками, а уж строили, конечно, работяги. Но не бесплатно строили — всем дал хорошо заработать, расплатился за все. И ничего не боялся — кто смел, тот и съел. Теперь он один живет по-княжески среди этой голи. Ну, а ты? Про что ты строчишь с утра до вечера? Про кого?..»

— Вот и она. — сказал Валерий, — Наша Валентина. Прошу любить и жаловать...

— Любить нас некому, — отозвалась Валентина грубым, почти что мужским голосом.

Она была крупная, плечистая, скуластая, но лицо у нее было не без приятности, скорей, впрочем, мужское, чем женское лицо.

— И писать о нас нечего... План мы даем, конечно... Когда матерьял подвозят.

— А когда не подвозят?

Она усмехнулась. Рот у нее был хороший, выразительный, только над верхней губой чуток желтело, наверно, от курева.

— Когда не подвозят, тоже даем.

Краковец ей улыбнулся, он ее понял: если надо — припишем, не дадим работягам бесплатно вкалывать. Кто план составляет, тоже не дурак: знает, что и план можно обойти, потому что планы все эти с потолка. С того самого кривого потолка, который они здесь еще не белили, но уже сдали, и оплатить заставили. Который скоро потрескается, так что все равно пойдет в доделки.

— Что ж это за е... — она воздержалась. — Ветер, гляди, так и содит. Пойдемте к нам, чего на ветру стоять?

— В прорабскую?

— В прорабской у нас чего, только эти вымораживать, как их... — она опять воздержалась от точного слова, учитывая присутствие Краковца. Судя по всему, приучена была к деликатному обхождению с визитерами. — Где малярные работы, там у нас электропечка есть, тэн, чтоб скорей сохло, вот там потеплей будет.

В «секции», а по-московски — квартире, где сейчас работали маляры, было и впрямь тепло от раскаленной проволоки, натянутой на какую-то раскоряку. Работали девушки. Одна из них разделась до маечки, и это создавало в комнатке почти пляжную атмосферу. («Есть же на свете края, где в сентябре еще светит солнце и люди голые купаются, где фрукты на деревьях, где птицы верещат, шустрят ящерицы...» — безудешно думал Краковец). Прочие девушки были в заляпанных комбинезонах, в платочках, но все же без сапог и телогреек. Одна из них, такая щупленькая и хрупкая, что даже под комбинезоном угадывалось, не оглянувшись на них, продолжала с упорством красить оконную раму, и не понять было — то ли с увлеченностью, то ли обреченно. Краковец остановился у нее за спиной и тут же рядом оказалась бригадирша Валя. Девушка продолжала красить, не оглядываясь, но вся поза ее теперь выражала внимание и неловкость.

«С детства она любила живопись... — уныло придумывал про себя Краковец, не умел вдохновляться созерцанием трудовых процессов. — Любила покрывать белую поверхность холста краской. Она нашла свое место в коллективе маляров...»

— Вот... — сказала бригадир Валентина. — Наши труженицы. На сто процентов выполняют и даже на

сто три. Зиночка в диспетчерской на «Нефтестрое» трудилась, а когда ушла трасса, тут осталась... по болезни. Стала у нас. И ничего — справляется. Повышает над собой уровень... Верно я говорю?

Девушка обернулась. На Краковца она даже не взглянула, смотрела на бригадиршу с почтительным обожанием. Глаза у нее были огромные, личико си-
нюшное.

— Цифры я вам заготовил, — сказал Валерий. — Побригадно, поименно и поквартально...

— А как вообще жизнь? — спросил Краковец. — Ну, скажем, после работы. Так сказать, личная.

— Есть! Как же! — отозвалась Валентина. — Проводят досуг свободного времени.

— В клубе?

— Можно и в клуб, если скажем, хорошая картина. В общежитии у нас в ленинской комнате телевизор. Если не холодно — летом, к примеру, — то можно в лес.

— Книжки читаете?

— Непременно. Бывает.

Худенькая девушка молчала. Остальные с любопытством поглядывали на приезжего. Бригадирша Валентина была настороженно немногословна, и Краковцом овладело настоящее отчаянье. Он люто ненавидел все эти бесполезные интервью, это истязание ни в чем не повинных людей, которые мучительно припоминают какие-нибудь слова, те самые, что они видели в газете и слышали по радио: не говорить же в самом деле откровенно с чужим человеком (еще и в присутствии какого-то хмыря из горкома).

Валерий положил конец этой тягомотине.

— Ну, мы тут еще осмотримся, — сказал он. — Трудитесь, девочки, на благо. Народ ждет жилья. А мы, если понадобится, можем еще и к вам зайти в

общагу, поглядим, как живете-можете. Завтра вот, к примеру, у нас суббота...

— Это можно, — кивнул Краковец. — А можно?

— Отчего же нельзя, — сказал Валерий. — Дома будете?

— Куда ж мы денемся? — отозвалась Валентина, без особого, впрочем гостеприимства. — Если чего надо...

Они вышли.

— Хотите еще смотреть? — спросил Валерий на ледяном ветру. — А то можно в нашу столовую, пока еще очереди нет. Самый обед...

— Да, пожалуй, можно и на обед, — согласился Краковец.

— Я тоже так думаю... После обеда еще в промышленный отдел зайдем, там у нас сильный работник. У него как на ладони все показатели.

— Пожалуй...

Краковец подумал, что он так и не научился интервьюировать. Он засыпал в самый разгар интервью. То, что люди говорили для органов печати, редко бывало интересным. Говорили то самое, что им уже приходилось читать в этих органах. И чем лучше была у них память, тем ближе они воспроизводили это, уже тысячу раз сказанное или написанное. Инстинкт самосохранения (а выживали на протяжении семидесяти лет лишь те, у кого инстинкт этот срабатывал безотказно) подсказывал им держаться как можно дальше от точных деталей и личных мнений (чтоб не расколоться, чтоб никого не выдать, не заложить). «Я, как и все труженики нашего коллектива», — говорили они. Или еще шире: «Я, как и весь советский народ... Откликаясь на последние решения...» Именно на последние, потому что предпоследние могли быть уже похерены.

И вот тут незадачливый репортер Краковец, уже многие годы страдавший бессонницей, вдруг обретал

долгожданную и неуместную сонливость. И самое удивительное, что никто не будил его, не попрекал невнимательностью, не стыдил. «Да-да, я вас слушаю, — говорил он, проснувшись, и отирал с губы сладкую слюну. — Все это очень интересно. Ну, а товарищи? Ваши товарищи? Наши товарищи? Правильным путем идете, товарищи...»

Сегодня вдобавок пришлось слушать всю эту цифровую херню после обеда, так что он заснул почти сразу сжимая в руке блокнот, а проснувшись по прошествии Бог знает сколь долгого времени, снова услышал несмолкающий голос крепкого работника из промышленного отдела:

— Можно было бы привести еще несколько цифр побригадно, а также по линии соцсоревнования...

«Запихни ты их себе в ж...», — подумал Краковец и тут же испуганно открыл глаза. Ему показалось, что он произнес вслух эту недостаточно почтительную фразу. Нет, похоже, не произнес: крепкий работник деловито перебирал бумаги и прокашливал голос, собираясь зачитать новые цифры. Валерий, пристроившись сбоку, кажется, тоже дремал, но глаза держал открытыми и даже ухитрялся изображать на лице сосредоточенное внимание.

«Вечер... — испуганно подумал Краковец, увидев сумерки за окном. — Что я буду тут делать вечером? Черти меня понесли сюда. Уж лететь, так куда-нибудь в горы. Или к морю... Только в сентябре они черта с два пошлют тебя к морю, штатные сотрудники сами ездят... На свои надо ездить в сентябре, на свои кровные...»

После горкома он с полчаса поскучал над блокнотом за начальственным столом, украшающим обширный люкс, потом вздремнул часок и отправился в рабочий клуб. Он надеялся найти там что-нибудь по части человеческого фактора. Идеально было бы

встретить, например, эту щупленькую маляршу в студии живописи. А плечистую бригадиршу — где-нибудь в кружке политехеды или в секции самбо.

В клубе было, однако, весьма уныло. В дальней комнате какие-то парни робко терзали джазовые инструменты, и страшно было подумать, что в один прекрасный день они заиграют на всю катушку. Внизу дюжина пионеров разучивала народный танец. Похоже, что эстонский...

Начался киносанс. Титры возвестили комедию, фильм был мучительно нудный, глупый и нисколько не смешной.

«Ну что ж... — утешал себя Краковец, выходя из зала в скорее унылой, чем разочарованной толпе зрителей. — Смешно сделать трудно. Смешно как жизнь... На это нужен особый талант, а где его найдешь, особый?»

Краковец втайне надеялся, что он-то как раз и обладает этим особым талантом, а также несравненным чувством комического, которое вырвется однажды из подполья и поразит, рассмешит, обрадует русскую публику, которой так нужны свои Щедрины и Гоголи, свои Джонатаны Свифты крупного дарования. А пока...

Пока он с безнадежностью брел в привилегированную гостиницу, не представляя, чем станет занимать себя целый вечер, если ему не удастся уснуть. Может, сесть за огромный начальственный стол и написать что-нибудь по-настоящему смешное? Сомнительно, впрочем, что это удастся ему именно здесь. Скорей уж удастся уснуть...

В вестибюле гостиницы он увидел Валерия.

— Что-нибудь случилось? — спросил Краковец, потому что они условились встретиться лишь в субботу утром.

— Нет, ничего... Просто Валера мне говорит...

— Валера?

— Валерия. Жена. Мы с ней, как Валентин и Валентина. Оба Валерии... Говорит, пойди, спроси, все же человек один в городе, может придет к нам на ужин. Все же в домашней обстановке, не столовское ж, говорит, говно... Если у вас, конечно, каких-нибудь важных дел...

— Важных нет, — радостно сказал Краковец, несколько даже стесняясь, что он так обрадовался. Дел у меня больше нет. Ну, хотел, впрочем, записать кое-какие мысли, однако это ведь дело неспешное. Так сказать, нетленка.

— Оно конечно, — сказал Валерий, не стараясь вникать в чужеродное слово. — Может, тогда прямо и двинемся, потому как, честно говоря, они нас уже давно ждут. Я вас не застал...

— Что ж, идем, — сказал Краковец. — Я пойду как есть, переодеваться не буду...

Он шел вслед за Валерием, размышляя, зачем он сказал насчет переодевания, если переодеваться ему не во что, и так уже все на себя напялил, что было в сумке. И еще — зачем он идет?

Ну а почему ему, собственно, к ним не пойти? Деться ему все равно некуда, хоть вой. А так хоть можно посидеть. И, наверно, съесть что-нибудь удастся. А то ведь скоро снова захочется есть...

Валерий занимал с женой и ребенком однокомнатную квартиру в блочной пятиэтажке того самого типа, что в городах более старых, чем Стрешневск, называли хрущевками. Комнатка была одна, но зато балкон был так солидно обшит досками, что там тоже можно было спать до наступления настоящих холодов. В крошечной прихожей Валерий представил Краковцу свою молодую жену, а также (и это было приятной неожиданностью) ее подругу Свету, которая работала в городской библиотеке и забрела в тот вечер к супругам

на огонек, специально чтоб познакомиться со столичным журналистом-писателем (то есть, значит, с ним, с Краковцом).

— Мы уж вас заждались, — сказала Валерия. — Картошку вон под подушку спрятали, чтоб не остыла.

— Так оно и вкусней, — демократично сказал Краковец. И подумал, что это все, в сущности, мило с их стороны — и картошка, и подруга, и вообще — не бросить человека одного, хотя бы это даже и входило отчасти в его, Валерия, обязанности как гида. Перед картошкой с маслом и селедочкой (Краковец вполне оценил широту гостеприимства, потому что и масло, и селедочку еще надо достать в любом нестоличном городке) они выпили по рюмке водки за знакомство, и атмосфера стала вовсе непринужденная. Вслед за Валерием Краковец вышел на балкон, куда хозяин вывел трубы водяного отопления и где вследствие этого мог теперь спокойно спать его первенец Олег, двух лет от роду, нисколько не потревоженный шумом пиршества. Выразив свое восхищение размерами и качеством младенца, Краковец вернулся за стол, где сразу завязалась культурная беседа. Библиотекарша Света, преодолев первоначальное смущение, спросила Краковца, что сейчас нового происходит в литературной жизни и видел ли он когда-нибудь лично известного писателя Пикуля. Краковец честно признался, что писателя Пикуля он видел только издали, зато ему посчастливилось дважды лично беседовать с известным писателем Есиным, который имеет вид очень спортивный для своих лет и успевает активно работать как в литературе, так и в парткоме писателей. Кроме того, Краковец регулярно стригся у того же самого парикмахера Феди, что и поэт Пляцковский, автор замечательной песни «Дружба начинается с улыбки».

— «Крутится голубой вагон» тоже его, — добавила Света, которая раньше была детработником и потому хорошо знала творчество М.Пляцковского.

— Вот видите, — ободряюще сказал Краковец. — Вы тут лучше нас следите за литературой. А я только и знаю его парикмахера.

После третьей рюмки Валерий доверительно поделился с Краковцом своими планами на будущее, потому что человек ведь не может жить без планов, просто так — как трава растет, иначе происходят застой и отставание, а Валерий с женой (которая была на хорошем счету в исполкоме), как люди оба молодые, передовые и симпатичные, думали о будущем.

— Теперь наступило время для энергичных и молодых, — сказал Валерий. — Я мог бы, конечно, в обкоме зацепиться, но там бы я век проторчал в инструкторах. А тут я уже заводделом, от заводдела до секретаря — один шаг, и в область я уже вернусь на коне... К тому же секцию в новом доме мне тут сразу дали, а в областном центре не скоро дождешься. А нас все же трое...

Краковец, закусывая, уступая гостеприимным приглашениям хозяйки, и кивком соглашался с ее мужем, что это, конечно, было правильное решение — начинать жизнь с самого начала, не боясь трудностей.

— Как Максим Горький, — сказала Света, и Краковец философски подумал, что эта милая провинциальная девушка все время живет мыслями в мире литературы.

— Конечно, это был решительный шаг — из центра уехать, — продолжал Валерий. — Это каждый понимает. Вы видели, как спецбуфетчица с нами? Потому, что она знает, кто за кем и как. Но в чем она заблуждается, так это, что она не знает обстановку и дух времени: сегодня и не такие тузы летят, а места их не могут простаивать, это факт.

— Между прочим, можно поставить Аллу Пугачеву, — сказала Валерия. — Хотя я не знаю... Может, теперь уже другие в моде.

— У одного нашего читателя есть пластинка «Аквариум», — тихо сказала Света. — Поэт Андрей Вознесенский писал, что это просто замечательная поэзия. А что сейчас пишет Андрей Вознесенский?

Краковец понял, что вопрос этот может относиться только к нему, хотя Света и не смотрела на него, а смотрела в свою селедку. Краковец перестал закусывать и сказал, что поэт Вознесенский поехал сейчас за границу, где он набирается новых впечатлений. Он не знал точно, поехал ли сейчас Вознесенский за границу или, наоборот, только что вернулся оттуда, но он знал, что он может сказать так, не совершая большой ошибки. Сообщение его произвело на всех серьезное впечатление, хотя, конечно, и не было ничего особенного в том, что человек куда-то поехал.

— У нас тоже была путевка через «Спутник», — сказала Валерия. — В Румынию. Но нам еще надо сперва шифоньер брать, а потом уж про за границу думать...

— Я была в Народной Болгарии, — сказала Света. — Нас принимали очень хорошо. Но не так дружелюбно, как мы ждали.

— Как волка ни корми... — сказала Валерия.

— Ты бы, голубушка, в Эстонию съездила, — сказал Валерий. — Тебя бы еще не так приняли. — Он обернулся к Краковцу. — Мы там были на союзном семинаре, так, поверите, ты им русским языком что-нибудь говоришь, а они морду воротят.

— Да, много у нас еще недостатков, — вздохнула Валерия.

— Вернее сказать, пережитков в сознании, — уточнил Валерий.

Краковец хотел сказать, что это отрывка прошлого, но подумал, что это нехорошо прозвучит за столом. В общем они славно посидели, и Валерий это сам подытожил, когда они уже прощались у двери, — что у нас так, в нашей стране, стучи в любую дверь, так сказать, сумка полная сердец. Валерий был уже сильно раздет по причине хорошего отопления в квартире, и Краковец стал уговаривать его не провожать, на что Валерий легко соглашался.

— Свету провожу сам, — сказал Краковец, почти что твердо шагнув к двери.

— Ну да, ну да. Дорогу Света покажет, она там рядом живет. Тем более, третий лишний.

Жена шлепнула Валерия по спине, чтоб не болтал лишнего, и закрыла за ними дверь.

Краковцу пришлось впрочем, не только взять Свету под руку, как того требовал джентльментский долг, но и опираться на нее по необходимости, потому что несовершенная дорога таила немало опасностей, к тому же в условиях недостаточного освещения. Света благополучно довела Краковца до его гостиницы, и тогда он в свою очередь вызвался проводить ее до блочного дома, где она занимала однокомнатную квартиру пополам с другой работницей отдела культуры. Дорогой они делились впечатлениями о том, какие симпатичные люди Валерий и его жена Валерия.

— Мы с ними вместе кончали пединститут, — сказала Света, — И тоже дружили. Раньше, конечно, Валера больше увлекалась литературой, а теперь уж, конечно, увлекается бытом и, вообще, раз семья, что подлаешь...

Краковец согласился с тем, что семья, конечно, отнимает время, однако не сообщил при этом никаких сведений о своем семейном положении, которое, впрочем, ему и самому представлялось пока не вполне ясным. Возле Светинога дома они стали обстоятельно

и долго прощаться, благодаря друг друга за приятно проведенный вечер, и даже зашли в подъезд, чтобы спрятаться от морозного ветра, потому что оба уже продрогли. Света извинилась, что она даже не может пригласить Краковца на чашечку кофе, потому что у них с подругой, с которой они жили вдвоем в однокомнатной квартире, так было заведено, что можно или остаться дома, по очереди, или уйти, освободив на вечер помещение, так что сегодня уж оставалась подруга и зайти было не совсем удобно, мало чего.

— Зато насчет завтрашнего дня я уже с ней договори́лась, так что завтра я могу вас пригласить, если, конечно, у вас есть время и желание... — сказала Света. Она взглядела в темноту лестницы и воскликнула радостно:

— А вот как раз и свободно.

Они поднялись еще на полтора этажа и встали в уголке на площадке возле батареи водяного отопления, где было тепло, хотя и не было света, потому что лампочка не горела.

— Тут у нас бывает всегда занято, — объяснила Света, — а сегодня — счастливый случай.

Краковец помог Свете расстегнуться и обнял ее под пальто и под кофточкой. Он отметил, что она гладкая и мягкая, и она рада была его наблюдательности.

— У меня кожа очень нежная, — признала она с достоинством.

Обнимая ее, Краковец думал про свою судьбу бродяги, флибустьера, а также авантюриста, которого забросило в такой вот дальний угол страны, куда-то на темную лестницу, где тоже, как выясняется, живут наши добрые, гладкие и нежные советские люди, и ничего себе, живут не скучают, следят за процессами родной литературы. Конечно, им не всегда легко здесь оставаться на уровне, потому что книги, как толково объяснила ему Света в перерыве между их поцелуями,

поступают с большими перебоями даже в библиотеки, так как их разбирают знающие люди еще в бибколлекторах и даже еще в книготорге. Однако оба они согласились, что это как раз и свидетельствует о большом интересе нашего народа к чтению, а также к собиранию книг, но что, конечно, уже не за горами тот день, когда наш народ справится с недостатком бумаги и с другими недостатками и тогда уж книг будет хватать всем. Так они порассуждали еще часа два или три, обнимая друг друга в промежутках, и оба они очень сильно разогрелись при этом. Однако дальше разогреваться им было уж некуда, потому что в доме, несмотря на поздний час, многие жильцы не спали, а некоторые даже пели громкими голосами в одиночку или хором различные песни на слова советских поэтов, а иногда также и классику, например, «Хас-булат удалой», так что в любую минуту мог кто-нибудь выйти из двери, и хороши б они были тогда оба, Света как городской работник культуры, а Краковец и того хуже... Так что в конце концов им пришлось растаться, и Краковец заснул у себя в холодном номере с чувством морального неудовлетворения собой, которое сохранялось до самого утра и которому Краковец, уже проснувшись, однако, не желая еще выбираться на холод из-под чахлого одеяла, пытался немедленно отыскать причину, потому что это и без знания фрейдизма известно, что коль скоро такая причина найдена, можно будет счесть ее малозначительной и недостойной рефлексии (чаще всего она ведь именно такой и бывает, ибо всякий человек имеет право быть доволен собой или, на худой конец, прощать себе какие-нибудь недостатки, если только, конечно, это психически уравновешенный человек, который трудится на благо общества и семьи). Вначале Краковцу показалось, что его могло что-нибудь расстроить в их вчерашней культурной

беседе. Например, упоминание литераторов, которые жили в одном и том же с Краковцом городе, однако достигли такой вот всесоюзной, от Москвы до самых до окраин, известности. Однако это соображение Краковец отверг и даже попутно успокоил себя, вызвав в памяти, каким причудливым путем приходит слава, чаще всего незаслуженно, а также с большим опозданием. Позднее ему припомнились их трудовые планы на сегодняшний день, и тогда он понял, что ему просто-напросто неохота тащиться в общежитие строителей, где ему придется снова мучиться вопросами этих ни в чем не повинных и замызганных девушек, из которых так трудно извлечь человеческий фактор. Однако они уже договорились об этом визите с Валерием, который должен был вот-вот объявиться, так что надо было все же вставать и одеваться. Удручаемый своим еще не изжитым ночным неудовольствием, Краковец вскочил, второпях напялил на себя всю наличную одежду и в ожиданье Валерия стал прохаживаться для согрева по коврам своего обширного номера. Очень хотелось горячего чая, но взять его было негде, а Валерий все не появлялся, так что Краковец в конце концов выскочил на заснеженную улицу и бегом добежал до «Гастронома», где уже выстроилась предварительная очередь за водкой, а в отделах безалкогольного питания имелись в наличии детская мука, ненадежные по части сроков бычки в томате, а также «завтрак туриста», заготовленный скорей всего еще в те далекие годы, когда и сам Краковец увлекался туризмом. Таков был гастрономический пейзаж в прославленном городке Стрешневске в десять утра в субботу, и, конечно, вид этих временных трудностей несколько не удивил московского гостя, с детства неизбалованного родною столицей, однако и настроение его этот пейзаж тоже, можно сказать, не поднял.

Выходя из магазина, Краковец нос к носу столкнулся с улыбчивым Валерием, который успел, наверно, неплохо закусить дома и даже побриться.

— Тут нам ничего не обломится, — бодро сказал Валерий. — Но тут парень из орготдела нас на завтрак звал, там бы мы заодно и здоровье поправили...

При этом невинном напоминании о вчерашней выпивке, Краковец и понял, что им было упущено в утренней попытке самоанализа — тяжелый психологический осадок местной, черт знает, из каких сортов нефти приготовленной, водки. Воспоминание это только усилило сейчас раздражение, вследствие которого он ответил на предложение добродушного Валерия с несвойственной для него обычно этакой столичной надменностью:

— Звучит, конечно, заманчиво. Однако я все же не за этим сюда ехал. Мы кажется собрались в общежитие?

— Можно и в общагу, — сказал неунывающий Валерий. — Я туда, кстати, тоже просигнализировал, так что, парни уже подсустились с вечера.

Краковец никак не прореагировал на эту идиотическую информацию и угрюмо пошел рядом с Валерием, погруженный в свои собственные мысли. Он думал о том, что Валерий держится сегодня как-то слишком фамильярно и даже, можно сказать, панибратски, что, вероятно, явилось результатом его, Краковца, вчерашнего попустительства и совместной выпивки. Может, сам этот факт и не произвел бы на него столь тягостного впечатления, если б к этому не присовокупились жжение в организме и предстоящее интервью в общежитии. Эти две причины усиливали в Краковце недовольство собой и окружающей его действительностью, которая не то чтоб, конечно, была особенно соблазнительна, однако все же представляла собой не что иное, как реаль-

ность, данную нам в отражении наших чувств (если верить ленинской теории отражения), в данном случае — реальность созревшего и вполне реального социализма.

Оторвав наконец взгляд от промерзлой, присыпанной первым снегом грунтовой дороги, Краковец увидел за домами огромное поле, заставленное миниатюрными белыми, а также зелеными вагончиками, снятыми с колес и отчасти уже погруженными в снег и мерзлую землю. Их было много, и они уходили вдаль, как выразился бы стилист более тонкий, чем автор этого скромного повествования, — настолько хватал глаз...

— Это еще что? — спросил Краковец тоном генерала, проводящего инспекторскую проверку (просто удивительно, откуда только всплывает столько генеральского в любом даже вполне приличном на вид и незначительном человеке, стоит ему очутиться хотя бы на подполковничьем уровне!).

— Обиталище, — отозвался еще не унывающий (однако все же слегка присмиревший) Валерий. — Так сказать, лежбище. Четвертый жилмассив.

— Это я непременно должен увидеть, — сказал Краковец твердо. В нем пробудился литератор и путешественник, грозный журналист, сеющий пером разумное, доброе, вечное в надежде на сердечное спасибо соотечественников, — все, как издавна повелось на Руси.

Валерий впервые за эти дни проявил признаки беспокойства. В конце концов, он затем и был приставлен к Краковцу, для того и терял время (не какое-то там, конечно, драгоценное или даже деньгам равноценное время, как у заокеанских рабов доллара, но все же личное время), чтобы этот московский хмырь не написал чего-нибудь не то со зла или сдуру. До нынешнего утра все шло как по писаному и вдруг — нате вам, вожжа

ему под хвост что ли попала. А может, Света ему вчера не дала, хотя это все же сомнительно, с чего бы?

— Ничего интересного, — засуетился Валерий, — Я вам все расскажу дорогой. Тем более, что там завтрак уже, наверно, у ребят в комнате стынет.

— Вы завтракайте, а я... — сказал Краковец таким чужим и холодным тоном, как-будто и не было у них вчера такого милого, почти семейного застолья, а также взаимного, казалось бы, понимания хороших людей. — Идите, мне так даже удобнее — одному. Дорогу я найду сам. Вон в тот барак что ли?

— Да, вон тот, серый... — растерянно сказал Валерий, думая с обидой, что как-то нехорошо все получается, вот и слова полезли какие-то не те — барак, а не корпус общежития. Если честно говорить, он, конечно, барак и есть, а все же корпусом назвать как-то лучше, более по-людски, не говорил же вчера про столовую «тошнилровка», жрал что дают, пил, а сегодня, видишь — барак. И стоило вставать в такую рань в свою кровную субботу, чтоб потом так жидко обосра... В общем, не по-людски.

— Хорошо, — жалобно сказал Валерий, — я вас там в коридоре буду ждать, у входа.

— Что ж. Ждите, — сухо сказал Краковец. И свернул с дороги.

Приближаясь к вагончикам, он отметил, что вокруг них копошится множество людей с лопатами. Люди эти долбили мерзлую землю, смешанную со снегом, а потом по самую крышу (и даже поверх крыши) забрасывали этой землей вагончики. Краковец остановился на краю поля у первого вагона, возле которого трудились еще нестарые, однако весьма старообразные мужчина и женщина.

— Бог помощь! — сказал Краковец, невольно впадая в тон эдакого доброхота-народника, заранее обреченного на выдачу местным властям. Впрочем, народ,

похоже, был рад предлогу разогнуть спину, потому отвечали Краковцу вполне охотно и дружелюбно:

— Здравствуйте, коли не шутите.

— Что это вы тут делаете? — спросил Краковец, вполне натурально оставаясь в своей роли заезжего городского дурачка.

— Тут, видишь, какое дело, зима ударила без времени, — охотно объяснил мужчина. А женщина только улыбнулась застенчиво, показав целый набор железных зубов. Было ей едва за сорок в свете этой металлической улыбки, но на первый взгляд тянула она за полсотни. И то сказать, телогрейка и резиновые сапоги ее, конечно, не красили.

— Кто поумнее, еще летом засыпали, — сказал мужчина. — А дураки вот — в первый выходной очухались...

— Значит, вот тут вы и живете, — сказал Краковец догадливо. И поежился, глядя на промерзлое поле.

— Тут и живем помаленечку, — сказал мужик. — Да вы заходите, погрейтесь. Тоня, зови в дом. Может, чаю хотите?

— Не отказался б, — сказал Краковец. — Я в гостинице живу, а там не топят, да еще и буфет закрыт. Зато все под дуб разделали.

— Красивая гостиница, — сказал мужчина с гордостью. — Мы туда коммуникации тянули... Там у нас кто только не жил, в этой гостинице. Говорят, даже певец Мулерман жил.

— Кобзон, — поправила жена, — Осип Кобзон... Ну чего тут, право, стоять, пошли и мы чайку попьем, — все же как-никак суббота.

Краковец первым вошел в вагончик и сразу уперся животом в стол. Вагончик был крошечный. Посреди него стоял стол, по бокам, впритык к столу и к стенкам, две узкие кровати, позади стола еще швейная машина, а сбоку у входа — печурка. За столом на

одной из кроватей сидели мальчик лет восьми и старушка. Мальчик что-то писал, наклонив голову, а старушка шила.

— Чайник горячий, сейчас новый чай заварю, — сказала хозяйка. — А вы пролезайте за стол, чего у двери стоять. Тут у нас такая техника молодежи — надо с ногами на кровать встать, а потом ноги спустить под стол, иначе никак не пролезешь.

— Вас четверо? — растерянно сказал Краковец.

— Ну. Только четверо и есть, — кивнул хозяин. — Куда нам еще детей разводить? И так тесно.

Женщина подала чай в чашках. После третьей ложки сахара подняла взгляд, спросила у Краковца:

— Еще? Сами кладите сколько надо, не стесняйтесь.

— Спасибо... А квартиру что? Не обещают?

— Как не обещают? — спокойно сказал мужчина. — Мы на очереди. Седьмой год как стоим. Как сюда приехали — сразу и встали. Но тут теперь замедлилось строительство, трасса ушла, фондов мало, а главное дело — строителей у нас нехватка. Мы обои с ней на очереди, каждый у себя на производстве. Однако у нее, видать, быстрее подойдет, она истопником трудится в котельной, там у них всего пять человек на очереди. А у нас-то в гараже о-ёй-ёй.

— Так что, уже скоро? — сказал Краковец, бодрясь.

— Теперь скоро, — согласилась женщина. — Нам на котельную больше квартиры в год не дают, конечно, так что, все же лет пять подождать придется...

— Где же вы тут спите?

— Вот где вы сидите... Пацан с бабушкой на той койке, а мы с женой на этой.

— А если взять да уехать куда?

— Уехать можно, конечно, мы много ездили, — сказал мужчина задумчиво. — Тут весь народ такой —

уехал, приехал, особенное дело холостяки. Однако у нас так обстоятельства теперь складываются, что через пять лет можно будет и пенсию сразу получить, и квартиру. А ездить что ж? Оно хорошо — где нас нет.

— Когда мы приехали, тут еще в ту пору трасса была, — сказала женщина. — Тут снабжение было, и колбаску завозили, и маслице... Теперь, конечно, былая слава, никому мы больше не нужны.

— А все же большой город, — сказал Краковец, чувствуя отчего-то неловкость.

— Тыщ уже пятнадцать. Клуб, гостиница красивая, — мужчина подумал, что еще, но не вспомнил. — Есть временные трудности, однако.

«Временные, как наша жизнь, — думал Краковец, прихлебывая чай. — Все пройдет — и наши временные трудности, и временные радости...»

— Ешьте конфеты, — сказала женщина, пододвигая к нему вазочку. — Из области. Сестра приезжала в гости.

«Еще ездят сюда в гости, в этот вагон, гостят, возят друг другу конфеты... — думал Краковец. — Жизнь продолжается...»

Сказал понятно:

— С кондитерскими у вас, стало быть, перебои.

— Сахар почти что всегда есть. Конфеты что-то в последние года уже редко. И с макаронными изделиями перебой, а так грех жаловаться. Мяса и масла, конечно, как везде. Нет.

Как везде, нет. Краковец кивнул, соглашаясь, что жаловаться нам не на что и некуда. Конечно, перебои с макаронами, с кондитерскими, с мясными, молочными и всеми вообразимыми продуктами давно стали бесперебойными, однако жаловаться пока грех. Пусть эти разные греки и венгерцы жалуются, у которых всего, люди говорят, до ус-ру. Словно прочитав мыс-

ленно и одоблив эту благородную мысль Краковца, хозяин сказал с чувством:

— Лишь бы не было войны.

Краковцу тоже захотелось сказать что-нибудь утешительное, и он сказал, расстегивая молнию на куртке:

— Тепло тут, наверное, зимой, в вагончике.

Молчавшая до сих пор бабушка поддержала беседу:

— Тепло, милок, тепло. Так набздёно — не продохнешь. Хоть топор вешай.

Хозяева радостно засмеялись, и мужчина подтвердил, что верно, тепло:

— Мы сейчас все землей закидаем, потом еще снегом сверху, и один останется коидор до двери, как блиндаж будет. По коидорам этим только вход и найдешь. Спьяну иной раз свой коидор ищешь-ищешь...

Напоминание о земляных работах Краковец воспринял как знак и стал прощаться. Его и так заждался небось Валерий в бараке женского общежития, куда он бодро добежал, даже не застегнув куртку. И напрасно, потому что никакого тепла в бараке не предвиделось. Валерия он нашел по шуму, долетавшему в коридор из комнатки в конце коридора. Мужчины затеяли сабантуй по поводу субботы, а также как бы и в честь приезжего, однако, заглянув в эту комнату, Краковец тут же ретировался в коридор, потому что мужчины в ожидании гостей уже успели сильно разогреться. Это подтвердил и Валерий, вышедший за Краковцом в коридор.

— Да, вам-то уж их не догнать, они спозаранку начали... А Валентина-бригадирша в шестой комнате, там они обе. Мне с вами пойти?

— Нет, нет, не надо, я сам, — сказал Краковец. — Завершайте свои дела.

Он постучал в шестую комнату. Валентина, поднявшись со стула, пожала ему руку, а Зиночка, заку-

танная в шаль, стояла у окна, не оборачиваясь, и только сказала «Здрасьте» тихим голосом. Краковец огляделся. Комната была довольно просторная, не меньше как метров пятнадцать. Может, она казалась такой просторной оттого, что мебели в ней почти не было — узкая кровать, тумбочка в углу и крошечный столик с двумя стульями. В углу ярко светилась электрическая плитка, которой было все же не под силу обогреть дырявую барачную комнату.

— Так вот мы и живем, — бодро сказала Валентина.

— Вы тут что, обе живете? — спросил Краковец.

— Ну, — отозвалась Валентина. — Поскольку я бригадир и староста общежития, мне положено. В других комнатах, конечно, и по четыре, и по пять...

— Я не о том, — сказал Краковец. — Просто мебели маловато... И койка одна...

— А-а... — сказала Валентина. — На что она, мебель? Вдвоем даже теплей. Тут вона холодрыга...

— Да-да, это конечно... — сказал Краковец растерянно.

Он лихорадочно искал, о чем бы еще таком их спросить. Но спрашивать ни о чем не хотелось. Он зачарованно следил, с какой покровительственной нежностью смотрела плечистая Валентина на свою щуплую, закутанную в шаль подружку...

— Хорошо, если лежат двое, а одному как согреться? — сказал Краковец.

— Это что же, стихи такие? — спросила Зиночка, оборачиваясь.

— Это из Библии, — сказал Краковец. — Из «Книги Екклезиаста».

— Значит, и правда есть такая книга — Библия? — удивилась Зина. А я думала, это все поповские выдумки.

— Есть, — подтвердил Краковец. — Я даже брал ее как-то почитать у товарища. Всю не прочел.

— Гляди... — сказала Зина. И вздохнула. — В столице все, конечно, можно достать...

— Хватит тебе и здесь чтения, — сказала Валентина ревниво.

Она обернулась к Краковцу:

— Я ее в этом квартале на три журнала подписала, все три дефицит — на «Работницу», на «Юность» и «Литературное обозрение», пусть обзореваает, что делается.

— Это правда. Подписала, — подтвердила Зина.

Она улыбнулась подруге и снова отвернулась к окну. И тут Краковца осенило: это была любовь. Он стал торопливо прощаться. Если столько любви в этой голой, убогой комнатке, какой еще нужен к черту человеческий фактор?...

Он постучал туда, где был Валера, и пьяные мужики заставили его зайти выпить рюмашку. На закуску они подсунули ему специально для него сбереженный шматок колбасы, синей от таинственных наполнителей. Один из парней, уже почти не вязавший лыка, хотел непременно задать Краковцу какой-то важный политический вопрос, но так и не смог вспомнить, какой именно. Другой домогался, вышло ли у него нынче чего-нибудь с Зинкою или с Валькой по этой самой части. Услышав, что не вышло, он с торжеством подтвердил:

— Дохлый номер! Это, я вам точно говорю, дохлый номер. Сам сколько разов пробовал...

Тут Валерий проявил решительность и, поблагодарив всех за угощение и за традиционное русское гостеприимство, вытащил Краковца из комнаты.

— Еще пару минут и у них там драка начнется, — сказал он, отдышавшись. — Лихой народ.

Он спросил, удачно ли Краковец побеседовал с девушками, и Краковец сказал, что спасибо, вполне удачно. Он добавил, что теперь хорошо было бы наскоро пообедать в столовой и отправиться в гостиницу отдохнуть, потому что вечером у него еще дела. А на утро было бы неплохо заказать ему обратный билет на самолет. Валерий кивнул с пониманием и сказал, что с билетом никаких трудностей не будет, лишь бы погода, а в столовую он уже позвонил заранее, предупредил кого надо. После этого Краковец торопливо, хотя и вполне вежливо простился со своим провожатым, потому что хотел теперь остаться один, чтобы подумать над человеческим фактором, который открылся ему вдруг в убогой нетопленной комнатке общежития строителей. У него было чувство, что он оказался свидетелем чего-то очень важного, чему не каждый посторонний (во всяком случае, не каждый корреспондент) становится свидетелем — тайным свидетелем любви. И теперь он был переполнен этою тайной. А поскольку ему не с кем было ею поделиться, то ему захотелось просто как можно скорей остаться одному и самому во всем разобраться. Не стоит и говорить, что сначала наш герой как настоящий советский человек, выросший в пору моральных чисток и стопроцентной двуполой любви, был шокирован и даже потрясен своим открытием. Чтоб такое, да еще здесь, на передовой стройке, на фоне жилищного строительства, неуклонного перевыполнения плана при помощи липовых нарядов, всеобщего энтузиазма и лирических песен Кобзона... Ладно, случилось бы это где-нибудь в дебрях Большого театра или Московской консерватории имени П.И.Чайковского, но чтоб здесь... Мало-помалу сознание грандиозности увиденного вытеснило из его сознания все двусмысленные анекдоты и жеманные гримасы его собствен-

ной брезгливой гетеросексуальности. Это ведь была настоящая любовь, а настоящую любовь не ставили никогда под сомнение даже самые высокие моральные инстанции. Любовь прославляло сладостное пение прославленного хора. Её славили аскетические надписи на крашенных масляною краской стенах баптистской молельни. Любовь стала предметом столь редким и столь щепетильным, что о ней теперь стеснялись говорить в постели, даже тогда, когда «занимались любовью». Только очень сентиментальные дамы и очень юные девушки еще говорили о ней в минуту доверительной нежности. И вот она предстала здесь перед ним в самой неподходящей, казалось бы, и самой неожиданной обстановке. Точно Дух Божий, который веет где хочет. Там, где сочтет нужным. А если хорошенько подумать, то где же ей предстать, как не здесь — в холодной комнатке грязного барака, под мужицкие ослиные крики за тонкой перегородкой, под песни, пахнущие водярой? Где ж как не здесь — в сиянии подвига, и греха, и муки?... Любовь, она ведь одна, наверное, и может распорядиться этой жизнью — чего сами мы делать не вправе...

Краковцу хотелось спрятаться в холодном, инкрустированном номере жлобской гостиницы и выплакать там свою жалость, свои собственные любовные неудачи, свое неумение любить, возвыситься до прощения, до молитвы... Но он не сразу пошел в гостиницу. Он поплелся сперва в шумный, грязный (и тоже, конечно, холодный) столовский зал, где глотал непонятного состава омерзительную на вкус пищу, употребление которой обрекло бы правоверного мусульманина или иудея на адские муки, а современного язычника обрекало лишь на ранний катар желудка.

Когда же Краковец уединился наконец в своем холодном номере гостиницы, он уже больше ни о чем не мог думать, кроме капустной отрыжки во всем его

грешном организме, да еще о непрестанном жжении в глотке. Он не стал звонить Свете, как условились. Он просто лег, не раздеваясь, на свое дубовое ложе и принял страдание как нечто им заслуженное. Мысль о завтрашнем отъезде приносила ему минутное утешение, однако он тут же вспоминал, что и дальше ведь у него ничего не будет... Ну, будет облцентр, Москва, а что там делать, в Москве? Зачем жить в Москве? Чтоб веселиться? Чтоб мучаться? Чтоб умереть?

За окном стемнело. Он не зажигал свет, он не знал, который теперь час — время потеряло смысл...

На огромном столе, едва темневшем у окна, словно катафалк («доступ к телу круглосуточно», интересно, кто будет регулировать доступ?), вдруг резко зазвонил телефон. Краковец, обтянув плечи покрывалом, брел к телефону, волоча за собой по полу проштампованную гостиничную материю. Звонил Валерий. Голос его, как всегда, звучал бодро. Что ж, он ведь бодр, этот рядовой солдат партии, нет, впрочем, уже сержант — и разве несправедливо, что он получает за службу свое вполне скромное сержантское довольствие (сапоги яловые, отрез шерстяной хаки, белье летнее нательное х/б, мундир выходной, ремень кожаный, белье теплое нательное, фуражка...).

— Я уж думал, что-нибудь с вами случилось. Давайте к нам. Валера как раз макароны пожарила. Сегодня макароны давали в заказе. Ну и по маленькой надо на прощанье. Света, между прочим, у нас. Тоже беспокоится.

«И Света ни в чем не виновата, — думал Краковец, вытягивая из-под кровати ботинки, заляпанные грязью. — И Валерия я этого обхамил утром ни за что ни про что. Человек хотел как лучше. Хотел как положено. А что он не знает того-сего... Я что, знаю? Я что, знаю, как лучше? Как должно быть?»

Вопрос был лукавый. Краковец не намерен был сейчас поступать как лучше и не искал путей добра. Он поступал как легче, искал облегчения и приятности в этом мире, так мало оборудованном для веселия. Убегая от своих сомнений, он быстро накинул куртку и спустился в вестибюль, украшенный величественными панно из разных сортов дерева.

Валерий увидел его посиневшее от холода лицо и сказал понятно:

— Идем скорей, тут только этих вымораживать...

Он тактично не уточнял кого — вшей или мандавошек. Вообще, он был настоящий гуманист, как и положено работнику грядущего масштаба. С человеческим лицом...

Быстрым шагом они преодолели грязно-замороженное пространство, замкнутое блочными пятиэтажками, которые треснули по всем своим блокам, однако еще как-то сохраняли внутри человеческое тепло. Потом с облегчением нырнули в подъезд. От двери им ударил в нос запах жарящихся макарон, которыми занимались в тесной кухоньке Валерия и Света, явно обрадованные их приходом.

— Я говорю, беги, Валерка, — сказала Валерия. — Чего ж там человек пропадает на холоде...

А Света только потупилась и умолчала, какие были ее собственные высказывания по этому поводу. Важно было, что не дождавшись его звонка, она пошла к подруге, вместо того, чтоб заполнить кем-нибудь вечер в освободившейся квартире. И это было приятно Краковцу, так что вечеринка их взяла быстрый разгон после первой же рюмки, которую они закусили хрустящими макаронами.

— Характерно, что это итальянцы изобрели макароны, — сказал Валерий. — И что странно — у них, говорят, нет такого обычая, чтоб макароны жарить.

Как же так? Они же ведь слипаются, если нежаренные...

— У них своя техника, — отозвался Краковец с хрустом. — Я читал, что они их едят с сыром.

— Это у Пушкина есть, — сказала Света, — «С пармазаном макарони...» Это он описывал своему другу в стихах, где что можно поест в поездке...

— Да, в командировке не больно отъешься, это правда, — сказал Валерий. — В Москве, например, весь день как собака голодный бегаешь, и поест нигде. А все же кой-чего привезешь из Москвы. Кой-чего выбрасывают.

— Наш русский человек вообще любит поест, — сказала Валерия. — Сейчас небось весь Стрешневск сидит у стола и чем-нибудь да закусывает...

— И в бараках... — сказал Краковец задумчиво. — И в вагончиках...

— В балка́х-то? — оживился Валерий, вспомнив, возможно, неприятности нынешнего утра. — О-го-го, там еще как сегодня выпивают. Сегодня ведь что у нас, Лера? Что-то такое есть...

Валерия взглянула на отрывной календарь с видом ВДНХ на субботу и сказала:

— Сегодня День строителя, ты что, забыл? Я, впрочем, и сама забыла. Раньше, бывало, у нас все гудело в День строителя.

— Наш народ любит погулять, — сказал Валерий. — Не то что где-нибудь там, на Западе. Я, впрочем, не был на Западе. Но у нас, между прочим, самая сейчас государственная проблема насчет пьянства ..

Они выпили еще и помечтали немного о том времени, когда подрастет сын Валерия и когда он уедет в Москву, учиться с Высшей комсомольской школе, а Стрешневск к тому времени превратится в цветущий сад и весь покроется асфальтом и блочными пятиэтажными, девятиэтажными, а может, и больше — домами.

— Да-а... Хорошо сидим, — сказал Валерий, и Краковец подтвердил это его наблюдение, а Света посмотрела на маленькие часики и сказала, что ей уже, наверное, пора. И Краковец сказал, чтоб хозяева не беспокоились, потому что он знает теперь дорогу и Свету проводит сам. Валерий было стал уговаривать их посидеть еще немного, но жена одернула его за нетактичность, и они стали прощаться.

— Завтра я вас в аэропорт отвезу, — сказал Валерий, прощаясь. — Так что не беспокойтесь. Все будет на высшем уровне.

Они торопливо возвращались во мраке, не успевая даже поговорить о культуре. Света открыла дверь своим ключом и спросила, не хочет ли Краковец выпить чашечку кофе. Она много раз видела в кинофильмах, как это делают, да и в некоторых книгах все начиналось с этой чашечки кофе. Например, у Завалеева. Однако Краковец сказал, что он сыт и пьян, и даже нос у него в табаке. Он едва успел осмотреть бедный уют девичьей квартирки с разнообразными признаками отдела культуры и библиотечной жизни (на полке, например, был портрет Константина Симонова и еще кого-то с большой родинкой, может, Роберта Рождественского), как сам погасил свет. Они со Светой обнялись и постояли немного обнявшись в темном углу.

— Осторожно, тут кадка с Жениным цветком, — сказала Света, отпуская его, и, кажется, стала раздеваться первая: у них не так уж и много было времени до возвращения незнакомой Жени, до его отлета, до конца их любви, или, если угодно, романа, а может, даже, как любили говорить здесь, их «дружбы». «Я с одним летчиком дружила, и больше ни с кем», — сказала Света уже в постели, и это означало, что она уже не девушка, но что она не такая какая-нибудь, чтоб с кем ни попадя. Краковец оценил оказанное ему доверие, он обнял ее очень креп-

ко и при этом спросил рассеянно (просто чтоб не молчать после такого сообщения, потому что не говорить же ему было, что он ни с кем, кроме первой и второй жены, не дружил, или, скажем, что он ни с кем не дружил с самого вторника):

— И где вы с ним дружили?

— А здесь, — сказала Света, глядя его редющие волосы. — Женя уходила через день. А через день я уходила...

Краковец был растроган тем, что она гладила его по голове. Давно уже никто не гладил его так: дурацкая привычка у нынешней молодежи сразу брать быка за рога, хвататься за его измученный рог. В остальном все было так же, как бывает всегда, когда времени мало, буквально не хватает его, чтоб разобраться, где ты и зачем.

Они полежали еще немного молча, трогая друг друга с благодарностью, и Света спросила, нашел ли он среди девушек-строителей нужный ему человеческий фактор. Краковец ответил, что ему посчастливилось это найти, но тут же подумал, что все эти его находки не подходят, конечно, для острого оружия печати — ни уходящие под снег зимовать крошечные балки, ни тот трепетный человеческий фактор, который смутно замаячил перед ним в холодной комнате общежития... Потом он беспечно решил, что наплевать ему на печать, потому что ведь и отписываться по командировке ему скорей всего не придется.

— А вот в сексуальных отношениях, — спросила Света, — в них что, тоже встречается человеческий фактор?

— Я думаю, что да, — сказал Краковец, глядя ее спину и прислушиваясь к себе с безнадежностью. — Только он очень хрупкий. Он вообще очень хрупкий. Потому что и жизнь человеческая не длинна...

Света подумала, что он боится завтрашнего перелета, и сказала, что на здешних линиях почти не бывает аварий. Потому что эти маленькие самолеты очень надежные. Она это знает, потому что она дружила с летчиком с местной линии, так что она это знает наверняка. В ответ он обнял ее еще крепче, и она была довольна, что ей, кажется, удалось его успокоить.

1986

НОСИК Борис родился в 1931 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ и английское отделение Института иностранных языков. Служил в армии, работал редактором на радио, плавал матросом, был переводчиком-синхронистом. Переводил английскую, американскую, индийскую, ирландскую литературу. В СССР вышли книги: «Ты уже за холмом», «Жена для странника», «По Руси Ярославской», «Выбор натуры», «От Дуная до Лены», «Кто они были, дороги?», «Палуба пахнет лесом», «Одиссея Вовки Смирнова». Наряду с прозой печатал репортажи, биографии: «Швейцар» в серии «ЖЗЛ» в издательстве «Молодая гвардия», «Этот странный процесс» (о процессе Виктора Кравченко в Париже).

«И УЖЕ НЕ ТОПИТСЯ ТЮРЬМА...»

ТАК ДВИЖУТСЯ ВОЛНЫ

Кожа впитывает почти моментально
вокзалов запах и сирени свист
на полях и в саду. Всегда реально
только то, что движется вверх-вниз.
Так движутся на речке волны
и вечный странник — корабль Пироскаф,
ягодник с туеском черники полной,
бредущей с осиновой палкой в руках.
Так млечный путь куда-то движется,
боязливый, качающийся весь
и алфавит от аза до ижицы,
и наказ дантиста — два часа не есть.
Движутся так времена года в собачьей
упряжке,
непонятные, непонятые даже самими собой,
так натирают мальчишки о войлок пряжки,
чтоб свистели и летели над головой.

ПТИЦУ ОКОЛЬЦОВАННУЮ ПОЙМАЛ

Притаилась мертвой весна, как лиса, что ловит ворону.
Возьми себя в руки, посади что-нибудь на земле.
Ловкость каких-нибудь рук, и опять по небосклону
Катит луна, как кусочек мыла по материи в ателье.

Завтра день обязательно будет новый.
И новый люд придет на пожизненный вокзал.
В небе дырку проделай наподобие подледного лова.
Сообщи по адресу, что птицу окольцованную
поймал.

Снега нет, но туман откуда-то чертовски белый.
Мелькают дни, как из рук в руки при пожаре
ведра подают.
В такую погоду лесная норка любит по озеру бегать.
И бесшумно «языков» на войнах берут.

РАНО СВЕТАЕТ

Рано светает, поздно делается совсем темно,
иди и думай, не видя ни неба, ни туч.
В темноте думать лучше всего
и ждать, пока над кустарником не появится
первый луч.
Думай о вечном, пока думается, до поры
до времени, предполагай, что в мире всё блажь.
А чтоб до смерти не заели комары,
фуражку дёгтем сильней намажь.

НА СЛУЧАЙ ЛЕСНОГО ПОЖАРА

Было глухо, как в танке,
только темень вы нам не пророчьте.
Мы заполнили бланки
привязанной ручкой на почте.

Мы заполнили бочки
на случай лесного пожара
до краев, до окраин
и до слов: чтоб тебя разорвало.

ВОСПЕЛ СВЕРЧОК

Берёт за живое скрученная дратва и хорошая весть,
не требует опоры только пустота
нигде. Мысли то возникают, то затихают, словно они — есть
незагорелые складки твоего живота.
В избе на лавке не скучно, ведь икона в углу
и тоска, которую воспел сверчок породы «юй-хулу».
Мучайся, и бесполезно что-то учить и знать, что сказал Бог,
если не знаешь, с какой стороны у дерева растёт мох.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В близких отношениях земля и небо.
День открытых дверей грустный, что ни говори.
Мимо ушей пропусти пространство, наешься хлеба.
Брать на пушку не надо. На плечи весну взвали.
День открытых дверей прямо пропорционален свету.
На широкую ногу еще живет зима.
И росточки еще молятся серому снегу.
И уже не топится тюрьма.

СРАЗУ ЗА ПОСЕЛКОМ — СТЕПЬ

Рассказ

За три пачки чая — кастет, а за пять — финка с наборной ручкой.

Зона была рядом, метрах в пятнадцати от школьной ограды проходила колючая проволока, натянутая в два ряда: сперва высокий ряд, а внутри — пониже; и между ними — самая строгая запретная полоса. Если, бывало, туда падала пачка чая, брошенная сплеховавшей рукой, то всё, плакали денежки неумехи, и кастет, и красавица финка, и авторитет на поляне за школьной уборной с выбитыми в досках сучками, где басили отроки, раскуривая вкруговую бычки, и наяживал в зоску на крученые шалбаны народец помельче.

Мы бросали в зону чай, нам оттуда — свинцово-стальные поделки, завернутые в ветошь. Солдаты на вышках зевали, устало покрикивали и смотрели в заветную дембельскую даль.

Зеки строили кинотеатр «45 лет Великого Октября». А до этого они же построили школу, целую улицу домов, на которой мы жили с Витькой Григорьевым, или попросту Гырой, и многое другое в нашем степном поселке. Если в каком-то месте вкапывали столбы, натягивали между ними «колючку», сколачивали вышки по углам — значит, быть тут стройке. Серые колонны заключенных, дерзко насвистывавшие девушкам бодрые автоматчики с дисковыми, времен войны, ППШ, как-то поособому крытые грузовики — все это было знакомо с первых дней, привычно, как буран на неделю, пыльные смерчи, терриконы шахт, пузырящий в степи сатиновые штаны и рубахи полынный ветер.

Зеки строили кинотеатр и, что-то, должно быть, вспоминая, посматривали на школьные окна. Мы доказывали

теоремы, писали диктанты и смотрели на них, поскольку все равно больше смотреть было не на кого.

И вдруг на большой перемене бабахнуло: пугнул наскоком воробьиную округу нетерпеливый автомат. Мы с Гырой и еще несколько ребят, ясное дело, побежали на выстрелы.

От колонны, замершей на дорожной развилке под стволами охраны, отделился и уходил мимо крыльца хозмага человек в линялой зековской амуниции. Он был высок, худ и уходил размашисто и бесстрашно. За ним двинулся, перетаптываясь, мелкорослый, в длинной, как платье, гимнастерке солдат; солдат снова, к нашему восторгу, пальнул в небо и крикнул с неотлаженной хрипотцой: «Стоять!» Зек обернулся; на сером лице крутанулись большие больные глаза. Махнул рукой: «Да иди ты...». И опять повернулся узкой спиной и уже миновал последний перед степью палисадник. Колонна тем временем по команде двинулась обычным маршрутом.

Мы, обтекая солдата почтительной подковой, семенили сзади, подхватывая горячие гильзы, толкались, а солдат, удивительное дело, не прогонял нас, только ругался как-то странно, вполголоса, налегая то на «с» («С-с-стой, с-с-спазма!»), то на «х» («Во, блях-х-ха мух-х-ха!»), и все чего-то шарил в левом кармане галифе — инструкцию, что ли, искал, как выйти ему из положения, и не находил никакой инструкции. Впрочем, наверное, инструкция была и он ее знал: побег он и есть побег, стрелять надо, и не в небо вовсе...

Вот этого-то мы втайне и ждали, обмирая душой: сейчас выстрелит, сейчас.

Так близко еще никто не умирал. Смерть, в которую мы и не верили толком, являлась тоскливо-парадной: медленная процессия в сторону горы Майской, где кладбище, яркие венки, обязательная музыка, кривляющийся под нее добрый Коля-дурачок, надменный лик мертвого в гробу на машине с открытыми бортами, лик и отрешенный, и одновременно так цельно, в последнем предельном усилии устремленный в небо, от которого

его вот-вот упрячут навсегда... Но процессия, музыка — это все же привычно; поселок вообще жил как бы нараспашку: хоронили, водили колонны зеков, дрались на освещенной клубной площади, любили в открытой вечерней степи — все на виду. Степь диктовала способ существования.

Но сейчас, под этот глухой стук сапог, шарканье наших сандалий, под сдавленный переброс: «Стой, Спазма!» и «Да пошел ты, щеня!» — могло случиться что-то новое, пугающее, нехорошо манящее. Недаром закатывались под пыльные листья заячьей капусты обжигающие гильзы из остервенелого автомата.

Прошло, быть может, с полчаса, как началось это странное преследование в степи. Спазма поднялся на гору Майскую и спустился к кладбищу, мы повторили за ним каждый шаг. Дома поселка все уменьшались позади, и нарастали над ними пепельные отвалы шахт, и распахивалась впереди, безбрежно надвигалась зеленая с проплешинами степь.

Раз или два мы отстали, ища в траве гильзы, и солдат, беспомощно оглянувшись на нас, тоже затанцевал на месте с пятнистым потным лицом и даже шевельнул словно бы сведенными несуществующим морозом губами: «Эй, ребята... Вы того... Подтянись...» И снова без надежды уже чиркнул раскатистой очередью низкое небо. «Да стой же, стой!» Мы подтянули ему: «Дяденька Спазма, вернись, стой!...» Тут зек будто бы споткнулся, будто бы что-то вспомнил напрочь забытое; он развернулся всем корпусом, замер, и острый подбородок заходил у него маятником под чернотой хватающего воздух рта.

— Вот и постой, постой... — солдат с нацеленным автоматом стал красться к зеку.

— И-и-э-х, пацаны мои... Зачем? — сказал тот и зашагал прочь.

— Убью же, убью счас! — рыдающе крикнул солдат.

— Убивай, убивалка... — спокойно и жутко как-то ответил зек.

Уходящий от нас человек в мрачном бушлате говорил хоть и отрывисто, но не зло, а даже печально, но мы его совсем не жалели, мы были горой за солдата, за своего; у него — звезда на пилотке, послушное оружие в руках, он один на один преследует опасного преступника, — хорошие люди, по разговорам старших, в зоне не сидят, а сидят все больше за столами учреждений и вычисляют, как сделать, чтобы жизнь стала лучше и чтоб построить материально-техническую базу не за двадцать лет, а пораньше. И всем быстро уйти на эту базу. Не зря же ходит туда через день цветущая тетя Ида, буфетчица...

Где-то была школа, там заканчивался урок ботаники, и хрупкая ботаничка («наша ботаничка тонкая, как спичка»), наверное, давно поставила против наших фамилий грозные жирные знаки. А мы шли и шли.

Трудно понять, что же толкнуло заключенного на этот отчаянный шаг. Ведь он не убегал, не прятался, не готовился заранее. Просто взял и пошел. Что же? Несчастье в родном полузабытом доме, измена близких людей, опустошающая сердце обида, открывшаяся страшная болезнь, невозможность с сегодняшнего дня жить под конвоем, за проволокой?.. Не знаю и не узнаю никогда. Кажется, он хотел умереть и ждал оголенным затылком, лопатками, гнутым позвоночником, готовой к отлету осенней душой последнего удара. Если так, то он был самым свободным человеком. Он был свободнее второгодника Витьки Гыры, который всегда делал что хотел. Он был свободнее директора школы Шугаева, а уж кто ему, директору, может приказывать?

Перезаряженный этой немислимой свободой, зек шел, пыльно загребая в редкотравье сапогами, шел, не останавливаясь, лишь иногда отчего-то замедлял шаг, как бы в задумчивости, но, подхлестнутый новым разрядом внутренней боли, дергался на взгорке и опять устремлялся вперед.

Солдат уже не покрикивал: «Стой, Спазма!», он тихо и трудно выворачивал языком приросшие слова:

— Возвращался бы ты, а? Возвращался бы...

Жилистый решительный Гыра посоветовал:

— Ты пальни, дядь, по ногам. По ногам-то можно... Солдат только бросил на него слепой взгляд.

Теперь я понимаю: солдат не прогонял нас еще и потому, что он спасался нами, прикрывался; мы своим присутствием оправдывали его *нестреляние*, смягчали вину, если она была. «Я не мог стрелять в него, рядом бежали дети...»

Зек освободил себя, мы освободили от последнего выстрела солдата. Мы все были связаны. И солдату было важно, чтобы мы семенили рядом, потому он и поторапливал:

— Подтянись!..

Он не умел стрелять человеку в спину. И в грудь не умел, и даже по ногам.

Странные, запутавшие меня позднее, в юности, стихи:

Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Полюбил? Не слишком ли?..

С каждым шагом мы все больше презирали солдата, который не мог такой малости — задержать беглого безоружного преступника. Гыра разжился случайным хабариком, закурил и, обрадованный удачей, захотел помочь солдату — рванул наперерез зеку; тот остановился, погрозил кулаком, потом нашел камень и, метко бросив его, подбил Гыре ногу. Тот сел, закрутился, матерясь и скуля.

Ниже обычного прогремела над головой Спазмы очередь.

— Ты чего мальчишку-то? Завалю гада...

— Блевал я на тебя со второго без фикса, заваялка фуева, — таков был спокойный ответ.

Зек смешной пробежкой, вразброс нагоняя ногами тело, спустился в овраг, вскарабкался по его затравевшему склону, посмотрел направо и остановился: от поселка по дороге пылила машина, за борта ее кузова цепко держались люди с автоматами наперевес. Спазма

стукнул себя по ноге и застонал тоскливо, развернулся к нам. Солдат остановился тоже, а мстительный Гыра стал искать камень, но не нашел.

Грузовик (было уже слышно, как он, прыгая, гремит бортами) съехал с дороги и катил по степи в нашу сторону, с небольшим упреждением, чтобы отсечь отход беглецу. Тот заметался. Солдат вскинул ППШ. Деваться зеку было некуда, и он невольно шагнул к нам — мы уж почти как свои; мы стали близки какой-то тягостной и устойчивой близостью, и в этом долгом степном движении под перебранку, выстрелы и уговоры выработался свой порядок, свои правила, о которых активные парни с готовым к стрельбе оружием знать не знали. Да и не хотели знать...

— И давно бы так, давно бы... — ломким голосом зачастил солдат. — А то... Хорошо, сам сдаешься...

С запада потянуло зябким ветром. Все кончалось. Сейчас Спазму отвезут назад в зону, после — суд, добавят срок, но немного: все ж таки осознал, сдался сам, вернулся. И Спазма опять будет чифирить нашим чаем, строить кинотеатр «45 лет Великого Октября» и школы, точить финские ножи и лить кастеты, а после выйдет и продолжит все это на воле.

Бортовушка приближалась. Зек, пятясь, коротко глянул на нее, потом долгим потрошащим каким-то взглядом посмотрел на нас, — у меня от этого что-то лопнуло под ложечкой, и пушистый холодок переполз из живота под сердце.

— Так... Ладно... Руки давай, на затылок... Куда уйдешь, дурень, — степь. Степь да степь кругом... — не умолкал солдат; так, наверное, уговаривает взрослый подошедшего к обрыву ребенка, одновременно боясь и опоздать, и испугать, будто зыбкой нитью непрерывных слов надеется удержать от гибельного шага до той поры, пока сам не подбежит на гнущихся ногах, не подхватит, не спасет...

Зек достал мятый конверт, помедлил и мелко изорвал его, швырнул в сторону. Потом, согнувшись, как в

желудочном приступе, похабно переломил сжатую в кулак руку в сторону подъезжающего грузовика и — побежал. Впервые побежал, молча.

Солдаты, уже прыгнувшие для дела с бортов, полезли на ходу в кузов. Машина взяла левее и стала быстро нагонять Спазму. Тот не оглядывался. Казалось, его не интересует воющая на низкой передаче бортовушка, брань из кузова, пляшущие за спинами солдат толстые рыбы хвосты автоматных прикладов, их беспощадные юные лица. Он бежал без шапки, и легкая бритая голова с мишенью-лысиной была неподвижна, и все тело было оцепенело-равнодушным, только ноги совершали гнутые клоунские движения, а правой, оскорбившей преследователей рукой, он все что-то стирал с лица — пот, слезы, не знаю что.

Через минуту его взяли. Грузовик газанул и преградил ему путь. Плечистый сержант прыгнул на зека сверху, но промахнулся, зато другой солдат, веселый и хлесткий, борцовским поткатом свалил Спазму. Спрыгнули еще четверо и, возбуждая себя матерками, раскачав, закинули зека в кузов. Мелькнула над высоким бортом оголившаяся серая спина, вздыбленный горбом бушлат, над провалом живота напряглись готовые прорвать кожу ребра; тело ударилось о доски кузова. Солдаты, торопя и вышучивая друг друга, вскочили следом, машина набрала скорость на развороте и помчалась к поселку.

Вцепившись в борта, солдаты что-то кричали и местили ногами средину кузова. Там лежал зек. Машина ехала все быстрее, и они все быстрее били Спазму...

ПОЛЯКОВ Александр родился в 1949 году в Северном Казахстане. Впоследствии переехал под Ленинград, в Гатчину, где после школы работал грузчиком, наборщиком, токарем, электриком. Окончил факультет журналистики Ленинградского университета. Был специальным корреспондентом газет «Магаданская правда» и «Известия». Автор книги художественно-публицистических очерков «Сад памяти», вышедшей в 1990 году. В настоящее время — главный редактор журналов «Он» и «Она».

СТИХИ ЛЕНИНГРАДСКИЕ,
СТИХИ ПЕТЕРБУРГСКИЕ

* * *

А улицы — они все те же
До самых закордонных дней.
Весь этот город так же прежен
В шероховатости своей.

Он лишь для вида прям и ровен.
Гранит зернист, гранит щербат.
И о своей, о вдовьей доле
Ночами площади скорбят.

Легла асфальтовая гладь.
Болота стали глубиною.
Но будем каждую весною
Болотным воздухом дышать.

1979

* * *

Был не раз и воспет он, и проклят —
Город гордости и беды.
Тот, что стал на приколе подле
Венценосной своей Невы.
Город подле и город после —
После пира и мора нищ.
И ты слышишь, как тлеют кости,
Дотлевают Петровские кости,

Истлевают повешенных кости,
Тлеют, тлеют расстрелянных кости,
Тлеют, тлеют блокадные кости —
Белой ночью, когда не спишь.

1982

* * *

А дороги прямые, да тряские.
А пути петлистые, узкие.
И стихи мои — ленинградские.
И стихи мои — петербургские.

1977

* * *

Ворона в Лебяжьей канавке на льду.
Ворона в Лебяжьей канавке на льду.
Но нет — я не это имею в виду.
Я меняю беду на беду.
Я меняю и не изменяюсь.
И иду по пути своему, и иду.
И иду по пути своему, и иду.
Пусть пути своего и не знаю.

1984

* * *

Ох, бывает Нева полногрудой.
Ох, бывает Нева растревоженной.
Только нынче, пока что, покудова
Все вершится так, как положено.

И Нева спокойно катилась.
И ни в чем не была виноватою.
Величава, как Екатерина.
И величественна, как Ахматова.

1989

* * *

По камням. И между камнями.
Меж камнями. И по камням.
Но не стала каменной память.
И не сделался каменным сам.

1982

СТАРУХИ В СКВЕРЕ

Их стало меньше в этом сквере.
А те, что есть, уже не те,
Что здесь так благостно сидели
В своей счастливой нищете.

Лишь изредка, придется к слову,
Друг другу жалуясь, что им
Из пенсий сорокарублевых
Трудненько помогать родным.

1972

* * *

Я не молчу. Мне город дорог.
Мне этот город по плечу.
За то, что срок мой был так долог,
Я заплатил. И заплачу
За этот мрак. За этот морок.
И не шутил. И не шучу.
И я плачу за боль и голод,
За листьев пожелтый ворох,
За долгой ночи тайных шорох —
И всей судьбою невеселой,
Душой безжалостно тяжелой
Плачу, плачу за этот город —
За непотухшую свечу.

1983

* * *

Неприкаянное окурков
И пожухлого дня листопада,
Мы, как прежде, верны Петербургу
И в обличье Ленинграда.
Нас осталось совсем немного.
Нам осталось совсем немного.
Мы уходим последней дорогой.
Хоть душе так немного надо.

1981

* * *

Встречи в Летнем саду —
 до чего они рядом.
Вот сейчас я пойду, я войду —
 и мы с Летним встречаемся садом.
Вот сейчас я увижу тебя
 золотистою, нежной весною.
Это, душу мою бередя,
 дни начальные снова со мною.

1987

* * *

В этом городе я и родился, и умер —
Всего лишь три, три, три смерти.
И, конечно, я стал немного безумен.
Но это — меж нами.

1982

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Рассказ

Был один день в году, который Калиныч ни с кем не делил, который принадлежал ему одному: Девятое мая, День победы.

И на этот раз он тоже стал готовиться к нему накануне.

Утюга у него не было, и с вечера — по давнишней, довоенной еще памяти — он тщательно, шов ко шву, сложил брюки и, побрызгав их изо рта водою, в надежде хоть сколько-то пригасить серебристо-сальный блеск заношенности, положил под черствую лепешку тюфяка. Когда наутро достал их, на черной, тоже довоенной еще выделки «диагонали» четко, крупными ромбами отпечатался рисунок панцирной кроватной сетки.

Ваксы у него тоже не водилось, он вымыл туфли водой из-под крана на кухне, но вытертые носки и задники как были белесыми, так и остались, словно сквозь изъеденную потом кожу проросла с изнанки серая плесень.

Рубашка высохла — он ее тоже выстирал с вечера, нейлоновая, гладить не обязательно. С пиджаком дело обстояло хуже — он долго тер его мокрой щеткой, особенно лацканы и на локтях, но они все равно упрямо лоснились. Щетка то и дело выскальзывала из руки и падала на пол: отечные, синюшные, с синими же плоскими ногтями, неповоротливые пальцы плохо его слушались.

Из радиоточки за стеной, у соседей, слышны были военные бравурные марши, и, когда он шел по коридору в туалет, никак не мог пристроить шаг к этим маршам, ничего в его душе не будоражащим и не задевающим, поскольку они к нему отношения не имели. На войне вообще не до маршей, войны только заканчиваются маршами, а его война и закончилась без них.

Он провел рукою по подбородку и поморщился, вспомнив, какая эта мука — скоблить затупившейся бритвой трехдневную щетину. В зеркальце ему видна была его комната — грязно-желтый, с зелеными купоросными краями подтек на потолке, ржавые трубы и батареи отопления, почерневшая от времени и провисшая электропроводка и под потолком шестидесятисвечовая голая лампочка. Но он давно не замечал запущенности и убогости своего жилища. Как ни ощущал и его запаха — давний, невыветриваемый запах несвежего белья, съеденной потом обуви, сивушной отрыжки и дешевой болгарской брынзы, застоявшегося дыма «Примы»: запах нежилья и безнадежности, к которому он привык и не замечает и который сам же источает — его тело, его дыхание. Его жизнь.

Имя его — Калиныч — было вовсе не имя, а прозвище: когда сразу после войны его прямиком, без пересадки, из немецкого лагеря для военнопленных отправили в свой, родной, на Таймыр, он писал всероссийскому старосте одно за другим прошения, а потом, как освобожденный в пятьдесят пятом, все письма ему показали в его лагерном деле: видать, начальство оставило себе на память. Так что лучше было и не придумать: Калиныч, и он скоро привык к своей кличке, откликался на нее без обиды.

Прежде чем надеть пиджак, он долго привинчивал негнушимися пальцами к лацкану новенький, посверкивающий свежей эмалью, единственный свой, полученный только прошлой осенью орден Отечественной войны. С трудом нагнувшись, достал из-под кровати облысевший дерматиновый чемодан, в котором хранилось все, что у него было, вытащил со дна кусок картона с выцветшей, от руки чернильным карандашом, надписью: «Аджимушкой». Фиолетовые буквы поблекли, он поискал на ощупь на дне чемодана огрызок карандаша и, послунив его, подновил надпись, сунул картонку под мышку и вышел из комнаты...

...Вокруг фонтана, на ступеньках Большого в тени колонн, на тротуаре у Малого и даже на проезжей части толпились сотни, а может, тысячи людей, и гул голосов, празднично-возбужденных, висел над площадью, перекрывая фыркание автомобильных двигателей в Охотном ряду и шуршание шин по асфальту.

У многих, как и у него, были в руках картонные листы с номером или обозначением части, названием фронта — в надежде, что кто-нибудь из однополчан откликнется, окажется здесь живой и невредимый, хотя уже скоро полвека, как прошло с войны, и с каждым годом их становилось все меньше.

Он прислонился к колонне, вытащил из-под мышки свою картонку и, держа ее перед собой обеими руками за края, стал ждать.

Ждать было некого, он это знал, если бы кто-нибудь остался жив или, попав, как и он, к немцам, выбрался на волю и пережил лагерь, то уж наверняка подал бы знак, пришел бы сюда за эти годы. Иногда ему казалось, что он и сам навеки остался там, со всеми, на том пятачке каменистой земли у Аджимушкай, жаркой, безводной и белесой от известковой пыли. Или в темных, сухих аджимушкайских каменоломнях, где легкие изнемогали от духоты, лопались губы и покрывался от жажды шершавой коростой язык, и когда немцы стали бросать в пещеры дымовые шашки, уже мало кто остался в живых и не задохнулся от дыма. А уж таких, как он, которые попали в плен и бежали, чтобы выжить еще и в заполярных лагерях, таких наверняка были единицы. А может, он один такой и есть, стоит здесь, на ступеньках Большого театра, и никуда не уйдет, как стоял в прошлом году, и в позапрошлом, как будет стоять и через год — если не помрет, конечно, — подновит опять химическим карандашом надпись на картинке: «Аджимушкай»...

Перед Калинычем на тротуаре, глядя на него снизу вверх, остановился, весь в блеске золотых погон, золотого пояса и орденов во всю грудь, генерал в парадном мундире. Он не почувствовал на себе его взгляда, веро-

ятно, потому, что генерал глядел не на него, а удивленно, как бы не веря своим глазам, на плакатик с надписью.

Генерал был тучный, по широкому и красному от жары простецкому его лицу стекал пот из-под лакированного козырька фуражки, увитой золотыми дубовыми листьями.

— Друг, — сказал ему генерал снизу, — слышишь, друг...

Но Калиныч то ли не услышал генерала, то ли не понял, что генерал обращается именно к нему. Тогда генерал поднялся грузным, тяжелым шагом на ступени, встал с ним вровень, ткнул пальцем в плакатик:

— Не может того быть!.. — глухо, словно у него пересохло в горле, сказал генерал. И требовательно, настойчиво, словно припирая его к стенке, быстро спросил: — Десантировался? Какая часть? Номер?.. — но не стал дожидаться ответа, еще настойчивее заторопился: — Я же там был! Сам там был, понимаешь?! И никого! Все эти годы — ни одной живой души! И — на тебе... Твоя фамилия как? Звание?.. Что-то я тебя не припомню...

И тут Калиныч вдруг помимо воли усмехнулся: да как же генерал мог бы его вспомнить и узнать, даже если они оба были там, в Аджимушкае, даже если вместе погибали в каменоломнях, — как можно было узнать его того в нем нынешнем! И он вдруг представил себе свое нынешнее лицо, каким увидел его сегодня в зеркале, когда брился: отечное, с черными набрякшими, в красных жилочках мешками под глазами, с потрескавшимися, шелушащимися губами...

— Значит, был там? — генерал с недоверчивостью повел тяжелым двойным подбородком в сторону плаката. И вдруг опечалился, сказал тихо, словно бы самому себе: — Аджимушкой, брат, не шуточки... То-то друг... — И тут разом обо всем догадался: — В плену был, так? Не стесняйся, чего там, не ты один, меня вот судьба миловала, черт его знает, как я тогда из каменоломни то выбрался, полуживой, добрые люди схорони-

ли... Самому не верится. Так, значит, в плену?.. — И не дожидаясь ответа, добавил, как само собой разумеющееся: — Ну, а что после плена с вашим братом бывало — известное дело, про то и спрашивать не надо... И — никого?..

Он повторил вслед за генералом:

— Никого. Может, я один. — Спohватившись, исправил оплошность: — И вы, товарищ генерал, выходит дело...

Генерал опять недоверчиво вскинул на него глаза.

— Выходит... — И с неестественной, нарочитой бод-ростью утешил: — Это один в поле не воин, а двое-то — целая армия! Мы еще о-го-го! Раз живы, значит... — Вспомнил, оттянул рукав мундира с тяжелым золотым шитьем на обшлагае, взглянул на часы. — Пятнадцать пятьдесят три... Черт, а у нас обед на шестнадцать назначен!.. Так что уж извини... Живы остались, и на том, как говорится, спасибо. Будь здоров, солдат. — Протянул ему руку, но Калиныч не сразу догадался освободить свою от плакатика, генерал ждал с протянутой рукой. Пожал, сказал, словно бы извиняясь: — Было бы время, повспоминали бы Аджимушкой. Небось и ты сейчас — к друзьям, однополчанам? — Но, поняв всю бессмысленность сказанного, спохватился: — То есть я хотел сказать...

Но Калиныч не дал ему договорить:

— Здравия желаю, товарищ генерал.

Генерал отпустил его руку и грузно, не оглядываясь, сошел со ступеней.

...Год за годом приходиться сюда с этим плакатиком, ждать, чтоб кто-нибудь отозвался, объявился, и давно потерять всякую надежду, что хоть кто-нибудь объявится, и вот когда объявился, пришел, да еще не кто-нибудь, а генерал в золоте и орденах с головы до пят — на душе не радость и даже не печаль, а какая-то саднящая пустота...

Калиныч не заметил, как генерал вернулся, снова поднялся к нему на верхнюю ступеньку.

— Так куда же ты сейчас? — спросил генерал, глядя не на него, а на полупустой уже сквер перед театром. — Некуда, что ли?

Калиныч промолчал. Плакатик он все еще держал перед собою.

— Тогда вот что... — решил генерал. — Если некуда тебе, так пойдем, что ли, со мной... А то в такой день, да в одиёчку... Пойдем, чего там.

Он ответил ему не живыми человеческими словами, а стершимися от времени уставными:

— Слушаюсь, товарищ генерал.

— Слушаюсь... Ты еще под козырек взял бы!..

От Большого театра — мимо ЦУМа, через Неглинную — вышли к Петровскому пассажи, и генерал остановился на автобусной остановке.

— Тут недалеко. — сказал он. — Тебя как звать? Меня — Иван Григорьевич.

Калиныч как-то даже не сразу понял, о чем его спрашивают.

— Ты-то кто? — нетерпеливо повторил генерал.

— Рядовой, — неуверенно, словно бы забыв, как его зовут, ответил он. И добавил для полной ясности: — Красноармеец.

— Я тебя не про звание спрашиваю, а как звать, — рассердился генерал. — Имя-отчество. И тебе я тоже не генерал, а Иван Григорьевич! Тю-тю уже, давно в отставке.

Назвать себя генералу он не успел — подошел автобус, они оказались в разных концах салона, и Калиныч вдруг вспомнил, что у него нет талонов на проезд, перепугался, что генералу придется еще и платить за него.

Вышли у Новослободской, у огромного дома, облицованного светло-коричневой плиткой.

— Весь дом — генеральский. Теперь-то, правда, сплошь отставники. Не дом, а богадельня, — пояснил генерал. — Назвал народ к себе в гости, в этом году моя очередь, а сам опаздываю...

Лифт поднялся на четвертый этаж, Иван Григорьевич позвонил в обитую стеганым дерматином дверь, не дожидаясь, толкнул ее, оказалось, не заперто, и Калиныч шагнул вслед за ним в квартиру.

Из комнаты доносилось несколько мужских голосов, чей-то громкий смех. В переднюю выглянула женщина, плотная и дородная, как и Иван Григорьевич, над головой ее высилась тяжелой шапкой тщательно, волосок к волоску — видно только из парикмахерской — уложенная прическа. Поверх платья был повязан кухарочный фартук.

— Ва-аня!.. — укоризненно не выговорила, а выпела она. — Я уж и не знаю, где ты!.. Народ весь уже собрался, а тебя где-то носит!

— Ладно, Елена Дмитриевна, куда я денусь!

Генерал быстро прошел в комнату, Елена Дмитриевна скрылась за дверью кухни. Калиныч остался один в передней. На полке под вешалкой лежали несколько парадных фуражек в золотых позументах, с кухни доносился сытный запах жареного мяса и горячих, только что из духовки пирогов.

Он не знал, что ему делать, — ждать ли здесь, в передней, пока его позовут, или войти самому... Но тут выглянул из комнаты Иван Григорьевич, уже без кителя, в одной белой рубашке с ослабленным на горле галстуком, позвал:

— Что же ты, особого приглашения ждешь?! Входи, входи.

Калиныч прошел мимо генерала в комнату. Иван Григорьевич положил тяжелую, пухлую руку ему на плечо, представил гостям:

— Разрешите познакомиться — старый друг и однополчанин... — запнулся. — Как звать, сам скажет. Короче, прихожу к Большому театру, смотрю, человек стоит, а в руках — «Аджимушкой»! Представляете? Сколько лет хожу туда — и никого! Ни живой души! И вот!.. Прямо-таки с того света!

Стоявшие у открытой настежь двери на балкон несколько мужчин-военных, немолодых, грузных, как и Иван Григорьевич, с рюмками в руках, обернулись в сторону Калиныча.

— Проходи, — толкнул его в спину хозяин, — прими перед обедом для аппетита. — Сам налил из графина, стоящего на накрытом к обеду столе, рюмку водки. — И чокнись для знакомства.

Все чокнулись с ним, но выпить не успели: в дверь позвонили, и Иван Григорьевич пошел в переднюю. Один из гостей спросил Калиныча:

— Из Аджимушкая и — живой?! Дела!.. Как величать-то?

Но кто-то из них торопился досказать прерванную Иваном Григорьевичем историю, и спросивший отвернулся от Калиныча, так и не услышав ответа.

Калиныч не выпил, так и стоял с полной рюмкой в привычно дрожащей руке: вдруг испугался этой рюмки — знал, каким станет после если не этой, так второй-третьей, тут же развезет его. Ручаться за себя он никак не мог, да еще в чужом доме, среди чужих людей, сплошь генералов, среди которых он — черная кость, это скоро все разглядят. Но они, похоже, о нем забыли, говорили о своем, веселые, уверенные в себе, вполне довольные — и наверняка по праву — собою и своей жизнью, дородные, знающие себе цену.

Калиныч огляделся. Пожалуй, сроду в таких квартирах он и не бывал. Комната была большая, метров на тридцать, не меньше. Почти всю комнату занимал раздвинутый овальный стол с тяжелыми дубовыми стульями вокруг. Вдоль стен — две приземистые горки, уставленные хрустальными, посверкивающими на гранях бокалами, а сверху горок — большие вазы со свежими пунцовыми тюльпанами и гвоздиками, а в самой большой — букет прошлогодних осенних кленовых листьев.

«Трофейное, — неожиданно для самого себя решил Калиныч о хрустале, фарфоре и массивной дубовой мебели, — точно, трофейное...» Много лет назад его наня-

ла прямо на улице хозяйка перевозить на новую квартиру мебель, такую же тяжелую, прямо-таки не в подъем; и сказала: трофейная, муж-полковник в сорок пятом из Германии вывез.

Стол был уставлен блюдами с холодцом, зеленью, лоснящимися от жира ломтями красной рыбы; серебрилась влажно селедка, румянились пирожки, при одном взгляде на квашеную капусту во рту становилось кисло и прохладно. А уж водка с плавающими в ней лимонными и апельсиновыми корочками — на это лучше и вовсе не смотреть... И опять мелькнула мысль: а не уйти ли, пока не поздно, едва ли кто, даже хоть и Иван Григорьевич, заметит его отсутствие — поминай, как звали...

Иван Григорьевич вернулся в комнату с несколькими новыми гостями, и среди них был еще один генерал, и Калиныч вдруг подумал, что все генералы на свете на одно лицо, одинаково ходят, одинаково громко и уверенно говорят и смеются...

Гости все прибывали, в комнате уже стало тесно, но за стол не садились. И, наконец, пришел тот, кого они ждали, — тоже генерал, но с тремя звездами на погонах и с двумя золотыми на мундире. Гости заметно притихли с его появлением, и сразу стало ясно, что он среди них главный не только по званию.

Иван Григорьевич и ему представил Калиныча:

— Вот, Николай Евдокимович, старый, можно сказать, боевой друг, однопольчанин, и, представьте, по тому десанту, по Аджимушкаю. Случайно встретил. Герой, как мы с ним тогда остались живы — теперь и не вообразить.

Николай Евдокимович важно, но и не без любопытства взглянул на Калиныча, руки протягивать не стал, благо в ней держал рюмку, которую хозяин наливал каждому вновь приходящему, строго спросил:

— Герой, а не при наградах?.. Одну «Отечественную войну» надел. В такой день нам с тобой, ветеранам, скромничать ни к чему.

Калиныч не хотел, а ответил:

— Других нет, товарищ генерал-полковник.

— Это как же? Не заслужил?

— В плену он был, Николай Евдокимович. А за плен у нас наград не полагается, — поспешил Иван Григорьевич, и было похоже, что он извиняется перед высоким гостем то ли за Калиныча, то ли за себя.

— Это точно, — чуть нахмурился Николай Евдокимович, — плен солдата не красит.

— Так ведь под Аджимушкаем...

— Моя твердая точка зрения, уж не обессудь, Иван Григорьевич, — сказал и, повернувшись к столу, развел руками как бы в изумлении: — Ну, у Елены-то Дмитриевны продовольственная программа всегда на высоте!

Словно бы стоя за дверью в ожидании этих слов Николая Евдокимовича, тут же вошла в комнату Елена Дмитриевна, уже без передника поверх бархатного, синего, отблескивающего серебром на складках платья, пригласила за стол.

Все быстро расселись за столом, каждый знал, где ему сидеть, и стульев было как раз по числу гостей, один Калиныч не знал, куда приткнуться.

Иван Григорьевич заметил это, сказал ему негромко, так, чтоб не обратить внимания остальных:

— Сходи на кухню, табурет возьми, стулья — все.

Пока ходил на кухню за табуретом, хозяйка поставила еще один прибор, и Калиныч оказался за столом рядом с Иваном Григорьевичем.

Наступила тишина, гости примолкли в ожидании первого тоста, который, подумал Калиныч, должен был сказать хозяин или Николай Евдокимович.

Николай Евдокимович поднялся, все встали вслед за ним, встал на ноги и Калиныч. Ему было тесно меж массивными Иваном Григорьевичем и генералом слева, который и вовсе был поперек себя шире. Среди собравшихся за столом один Николай Евдокимович был на других не похож — очень высокий, сухопарый, с худым, болезненным, в глубоких продольных морщинах лицом. Он обвел всех голубыми острыми глазами.

— У всех налито? — Сказал отчетливо, хоть и негромко, голосом человека, который знает, что его не могут не услышать. — Что ж, дорогие мои товарищи, точнее говоря, боевые товарищи, или, как в песне поется, друзья-однополчане, выпьем за Победу, за святой этот наш праздник, за тех, кто здесь и кого за столом нет, но живые, и за тех, кто пал смертью героя в боях за нашу социалистическую родину. Помянем их по старому обычаю.

Все молча выпили, Калиныч тоже было поднес рюмку ко рту, но вспомнив обещание, которое дал самому себе, зажал ее в кулаке, чтобы другим не видно было, что он не выпил. И, когда сел, поставил полную рюмку на стол перед собой.

А Николай Евдокимович вновь встал с рюмкой в руке.

— И второй тост, дорогие товарищи, хотя в прежние времена быть бы ему по справедливости первым, второй мой тост — за того, кому мы великой нашей Победой обязаны.

Не дожидаясь его призыва, все поднялись, молча и торжественно ждали, что он еще скажет.

— За товарища Сталина Иосифа Виссарионовича! — И голос его зазвенел и оборвался в волнении.

Все выпили стоя, один только генерал-майор слева от Калиныча выпил не сразу, сказал громко и твердо, ни на кого не глядя:

— За партию.

— А это одно и то же, — возразил ему другой генерал, сидевший напротив. — И нечего тебе, Степан Денисович, знаешь ли...

Генерал-полковник не дал ему досказать и, садясь, сказал, не оборачиваясь, Степану Денисовичу:

— Именно это я и имел в виду. И если для кого, кто слишком бойко за текущим моментом тянется, это не ясно, что ж... А я свои правила не мняю, какой есть. А насчет партии — так я такой же коммунист, как и ты,

Степан Денисович, и политику не хуже твоего понимаю.

— Значит, полное согласие! — поспешил Иван Григорьевич, чтя первейшую заботу хозяина: чтоб за столом мир. — Тосты разные, а пьем за одно.

— Можно хоть сегодня, в праздник, без споров? — решительно вмешалась Елена Дмитриевна. — Второй день из кухни не выхожу, а вы и не притронулись, хозяйку не похвалите!..

— Твои соленья-печенья, Елена Дмитриевна, — отозвался ворчливо, но уже мирлюбивее Николай Евдокимович, — любую политику перешибут. Тогда уж третью за тебя и выпьем, и не за одно за то, что лучше твоих пирогов ничего за всю жизнь не ели, а за то, что ты Ивану Григорьевичу, как на фронте попалась на глаза, повезло ему, так и осталась верной боевой подругой на всю, как говорится, оставшуюся жизнь. Вот за это, Елена Дмитриевна, и выпьем до дна...

Разгорячившись от съеденного и выпитого, позабыв про звания и субординацию, спорили до хрипоты, до взаимных попреков в забывчивости или склерозе, о том, как протекала та или иная боевая операция, как было на самом деле, а не по официальной версии, подправленной военными сводками и подкрашенной потом историками, и — участники и свидетели одних и тех же событий — каждый помнил свое, им одним увиденное и запавшее в память, и это никак не согласовывалось с тем, что помнили другие...

Расслабив узлы форменных галстуков, с красными от возбуждения и водки лицами, генералы превратились просто в немолодых мужчин, отцов и дедов, а некоторые, наверняка, и прадеды уже, давно не удел, пенсионеры, старики, доживающие отпущенные им годы, всего на своем веку хлебнувшие, всего в жизни навидавшиеся.

Один Калиныч сидел чужой их разговорам, веселью и воспоминаниям. О нем попросту забыли, его как бы и не было меж ними за столом, но это не обижало его — что ж, он и вправду здесь чужой. Он давно уже, а может,

и никогда за всю свою жизнь такой снеди не едавший, расхрабрился, сам себе накладывал из блюд, но к рюмке не прикладывался — одною-то не ограничится, не совладеет с собой, он знал...

Ивану Григорьевичу тоже не до него было, только изредка, замечая его рядом, приговаривал наспех:

— Ты ешь, ешь, солдату первое дело — были бы харчи хороши, или забыл солдатскую науку? И пей, не стесняйся!

И только время от времени Калиныч ловил на себе неодобрительный, как бы не доверяющий ему взгляд Николая Евдокимовича с дальнего конца стола. Так было уже несколько раз, и Калиныч все ждал, что генерал-полковник вдруг скажет ему что-нибудь строгое и осуждающее, а то и накричит на него, рассердится.

Но Николай Евдокимович ничего не говорил, только то и дело косился на него.

Разговоры за столом теперь доходили до Калиныча как бы издалека — слушал, да и не слышал. Они говорили и рассказывали о другой войне, в которой он с того самого августовского знойного дня, когда его, задохнувшегося от гари немецких дымовых шашек, взяли в плен, не участвовал, его война была другая и далеко, и даже Победа, в отличие от их Победы, обернулась для него горькой и долгой, а главное, непонятной, несправедливой бедой. Да чего там бедой — вся жизнь пошла под откос. Кончилась его жизнь. И виноватых нет. Потому что и те, кто его тогда, сразу после Победы, подозревал, допрашивал и судил, — и они не виноваты, и они приказ других начальников исполняли, а уж кто самый из самых главный, кто первый этот приказ придумал — никто уже не знает. А уж если тот приказ был от Верховного — тут уж и вовсе жаловаться не на кого: его слово — закон.

Вот, к примеру, Николай Евдокимович — босвой, заслуженный человек, две звездочки на груди, на войне эти звездочки никому за здорово живешь не давали, да и все тут, за столом, не последние люди, фронтовики, а

перед ним чуть не в струнку тянутся, — так даже теперь, через полста почти лет, Николай Евдокимович, услышав, что он был в плену, не одобрил, отвернулся и даже разговаривать не стал. И все поглядывает теперь нехорошо, не по-доброму, косится в его сторону, и будь не за столом, не в гостях дело, он бы еще не так отчитал и поставил на место... Первый тост — за Победу, второй — за Верховного, за того, выходит, как раз, кто его, Калиныча, лагерем вместо победного салюта наградил. И наберняка Николай Евдокимович заметил, не мог не заметить — глаз у него будь здоров какой цепкий, ничего не упустит, — что он не выпил ни за Победу, ни, главное дело, за Верховного.

Как ему объяснить, как заверить, что не может он пить, нельзя ему разговеться, знает, чем это кончится, не оберешься позора...

Но и не бойся он сейчас выпить, будь дело даже не за этим чужим столом, в чужом доме и среди чужих людей, а хоть в любой подворотне, с дружками пусть и самыми близкими, перед которыми ему нечего стыдиться и нечего прятать, — он бы за этот тост пить не стал, хоть режь.

Не зря Николай Евдокимович косится недобрым, осуждающим глазом, у него-то наверняка дома на комод портретик стоит — генералиссимус при всех своих усах и орденах, видел он такие квартиры с портретами, вот хоть у той женщины, которой он трофейную мебель таскал в новую квартиру, тоже портрет на серванте стоял.

Он оглядел незаметно комнату — нет, у Ивана Григорьевича ни на стенах, ни на буфете портрета Сталина не было. И на том спасибо.

Казалось бы, что Николаю Евдокимовичу до него и до того, что он был в плену? Что он вообще про плен знает? Про то, как там было, а было там такое, что теперь и не поверишь, как это можно вынести и выжить. Полосатая роба, красный треугольник на груди и на рукаве, апель на плацу под дождем или снегом, свекольная баланда и утром, и в обед, и вечером, черные

часовые на вышках, работа по одиннадцать часов в сутки, голодуха, и каждый день — кого на «козла», по пятьдесят ударов лозой, после которых не спина, а кровавое месиво, кто сам — на колючую проволоку под током, а для кого посреди апельплаца и виселица... А бежать, так из ста беглых разве что одного не поймают, далеко не уйдешь, у них овчарки на это дело натасканные, да и куда идти — вокруг одни немцы, а добраться до бельгийской или французской границы, как ему пофартило, — один счастливчик, считай, на десять тысяч...

А уж про другой, норильский лагерь и говорить нечего — та же проволока, та же баланда, те же часовые на вышках, только еще холод и ночь в полгода, и ветер, от которого не то что «бе-у» телогрейка на рыбьем меху — и оленья доха не спасет.

Испытай это на себе Николай Евдокимович, навряд ли бы вот так косился, да и выжил ли бы — еще вопрос. Не таких генералов и героев пришлось там встречать, и тех до полного скотства доводили, до того, что перед вохрой навывтяжку стояли, об одном только и мечтали — в шестерки, в хлеборезку или в санчасть, пусть хоть и горшки за другими выносить. Нагляделся он на них!..

Чего теперь Калиныч понять не мог, мозгов не хватало, — будь он один, Сталин, виноватый, что он мог бы с ними, с пленными, поделаться — их ведь тысячи возвращались, сотни тысяч! Да и они-то сами как могли вернуться, довериться, их же там, в лагерях для перемещенных, умные люди предупреждали — добра не жди, не простит отец родной вашего плена, в гробу он видал ваши беды, голод и тоску, как и геройство ваше на чужбине, сказано вам было: ни шагу назад! Любой ценой! А слово у него твердое, и Севера, остолбленного проволокой, на всех хватит! Предупреждали, а верить — не верилось, надежда брала верх.

И самое для Калиныча непонятное, недоступное: он и сейчас не знал, положить руку на сердце: жалест ли, что не поверил и вернул?

А Николай Евдокимович, участвуя в общем шумном, наперебой, не слушая и не слыша друг друга, застолье, не упускал Калиныча из глаз, то и дело косился на него. И под тяжестью этих его взглядов Калиныч не то что пить, но и есть перестал. Тут Николай Евдокимович и не удержался, словно бы подслушав немой вызов Калиныча:

— Не пьешь, герой, ценю, редкое для солдата, прямо скажем, упрямство... — сказал он, повернувшись к нему всем телом — то ли шея уже плохо слушалась, то ли такой уж у него стал начальственный многолетний навык, — так ведь есть для нашего брата фронтовика тосты, за которые и трезвеннику не выпить грех... Есть, товарищи, — обернулся он к остальным, словно бы Калиныч не стоил того, что он намеревался сказать, — есть, товарищи, такие вещи, такие понятия, которые для всех советских людей — святая, можно сказать, святых и перед которыми...

Калиныч помимо воли поднялся на ноги и даже машинально взял в руку рюмку, стоявшую непочатой перед ним с самого начала обеда. Он плохо слышал и понимал, что говорил дальше Николай Евдокимович, только глядел на него, не сводя глаз и не зная, как растолковать этому генералу в золоте и позументах, которого все за столом побаиваются и не каждый, при всех своих погонах и орденах, осмелится ему перечить, — как ему растолковать, что и он не хуже любого из этих генералов надрывал глотку «За родину, за Сталина!», и не на КП, между прочим, а в окопчике на переднем крае, что и в плену, которого они все и не нюхали, он и там надежду имел на одного товарища Сталина, спать на нары ложился — ему же, как господу Богу, молился и верил в него тоже, как в господ Бога, а то и поболее... И помимо его воли и бессильной немоты из синюшных, непослушных пальцев сам собою сложился разбухший, налитый нездоровой багровой водяной кукиш, и Калиныч протянул его через весь праздничный стол в сторону Николая Евдокимовича, а второй рукой опрокинул в себя фужер с водкой, выжрал его

залпом, даже не почувствовал градусов. И только краем глаза увидел рядом с собою ошеломленного и испуганного Ивана Григорьевича, лицо которого разом налилось кровью, того гляди кондрат хватит: на свою голову привел в дом алкаша из подворотни, вот уж правда — никакое добро даром не проходит.

— Ты вот что... — виновато поглядывая не на Николая Евдокимовича, а на Елену Дмитриевну, которую он, по всему виду, боялся еще больше, проговорил он как можно более грозно: — Пригласили тебя по-ветерански выпить за Победу, вот и води себя...

— Нет, нет, — криво усмехнулся Николай Евдокимович, — зачем же так, Иван Григорьевич, теперь, слава Богу, все имеют право на свое мнение, тем более ветеран, фронтовик, если не врет...

— Нет уж! — вскинулась Елена Дмитриевна, покрасневшая от гнева еще больше своего недотепы супруга — ей бы, пронеслось в голове у Калиныча, не в генеральши, а в старшины или даже в ротные, — встала во весь рост и Калинычу рукою на дверь: — Поднесли тебе, выпил, а теперь — скатерью дорога!

Калиныч вышел из-за стола, опрокинув табурет за собой, и, не оглядываясь, пошел вон. Того, что поднялось возмущенным криком у него за спиною, он уже не слышал, и только давнее, лагерное чувство вдруг в нем проснулось: ожидание пули в затылок, а страха — нет.

Уже в передней нагнал напуганный до смерти Иван Григорьевич, толкал в спину, чтоб поскорее — за порог, но на ухо так, чтобы один Калиныч услышал, торопливо шептал, обдавая водочным духом:

— Ты того, солдат, чего это ты?! Если что не так — прости, только что с него, старика, возьмешь, ничего кроме за душою и не осталось... Ты, я тебе скажу, еще легко отделался...

И поспешно запер за ним дверь.

С тем Калиныч и оказался на залитой предзакатным майским солнцем Новослободской. Стоял он на пустой улице и не знал, куда себя девать. Выпитая водка дала

себя знать, но не хмелем, а тем, что — мало, не миновать добавить.

Солнце уходило за крышу Бутырской тюрьмы напротив, стало вечереть. Он пошел было по Новослободской в поисках винного, но вспомнил, что праздник, закрыто все, и денег — ни шиша. Зашагал к Трубной; ноги плохо слушались, и он присел на скамейку на Цветном бульваре.

Калиныч не жалел о том, что учинил безобразие в доме у Ивана Григорьевича, только перед хозяином было неловко: пригласил-то от чистого сердца, из фронтового искреннего братства, а вышло... Так ведь сколько молчал, целую жизнь только и делал, что заливал молчание водкой, а тут прорвалось... Да чего уж там, теперь не воротишь! Вот обидно лишь, что до того, как все выхаркнуть с кровью, попользовался хлебосольством Ивана Григорьевича, наелся от пуза, вот за это стыдно.

Вечерело, вокруг все стало блекло-лиловым и синим, а выпить хотелось — прямо мочи не было. Поискал глазами на бульваре — нет ли, к кому присоседиться. Но бульвар был пуст, ни души. И тут он заметил напротив светящуюся вывеску ресторана «Нарва», и у входа — никакой очереди. И не решение созрело в его голове, а ноги сами подняли со скамьи и понесли к ресторану — ноги знали свое дело лучше головы: как-нибудь да устроится, не без добрых же людей, да еще в такой день, во всенародный, можно сказать, праздник.

Единственно, чего он боялся, так вышибалы в дверях — наверняка не пустит, разглядев Калиныча. Дюжий мордоворот и в самом деле заслонил грудью вход, но, увидав на лацкане Калиныча блистающий, словно только что из Монетного Двора, орден, спросил, прежде чем посторониться:

— Книжка при тебе?

Калиныч полез было в карман за ветеранской книжкой, но тот поверил на слово или просто поленился проверить:

— Ходи. Только чтоб тихо, знаем мы вашего брата.

И Калиныч оказался в пропахшей подгоревшим на кухне шашлыком ресторане. Все столики, разумеется, были заняты, ни стула свободного, напрасно он рыскал глазами по залу. Выручил случай — от ближнего стола кто-то приметил Калиныча, позвал пьяным, на весь зал, голосом:

— Отец! Поди к нам, а то все за Победу да за Победу пьем, а хоть шаром покати, ни одного живого фронтовика! Ты, видать, последний на всю Москву! Садись к нам!

И тут же стул откуда-то добыли.

За столом сидели совсем молодые — ни одному из них наверняка и двадцати не было, не то что войны, и армии наверняка не нюхали, — сильно уже на взводе парни. Калиныч огляделся по сторонам — во всем зале были такие же молодые, как эти за столом. Что ж, мелькнуло у него в голове, может, так оно и на самом деле: он последний. И еще пришло на ум, что когда-нибудь так оно и будет — кто-то станет вот в такой же день, в такое же девятое мая последним, единственным на всем белом свете солдатом той войны.

Калинычу налили стакан водки, и он жадно, одним духом опрокинул ее в себя. Водка, добавившись к выпитому у Ивана Григорьевича, ударила в голову, и все, что творилось вокруг, о чем говорили за столом случайные собутыльники, виделось и слышалось Калинычу будто сквозь давно не мытое, как окно в его комнате, стекло.

— ...Ты с той войны, отец, мы с этой, а без разницы! За это — еще по одной, отец! Кто-кто, а чтоб ветеран ветерана не уважил, верно?..

— Без разницы? — возразил другой парень. Кивнул на плохо понимавшего их Калиныча: — Он — с победой, а ты? Мы — с чем?! За что пьем-то? За его победу — понятно, а если за себя, так — за что?!

— А когда же нам отмечать-то?! — услышал он как сквозь туман голос первого, кто ему водку наливал. — В годовщину, когда приперлись в Афган, или когда убрались оттуда на фиг?!

Выпив поднесенный ему еще один стакан, Калиныч напрочь отключился и ничего уже не слышал из того, о чем они говорили и кричали друг на дружку до бешеного надрыва, забыв о нем и о том, зачем пригласили за свой стол.

А Калиныч бродил впотьмах, вслепую по старым дорогам и временам, перебегал, пригнувшись, по узким ходам из окопа в окоп, задыхался в сухой, душной тьме каменоломен, стоял под дождем и снегом на апельплаце, долбил киркою вечную мерзлоту, — но ничего определенного, складывающегося в осмысленную картину был уже не в состоянии в себе вызвать.

И только когда оркестрик на эстраде заиграл специально заготовленные для этого дня песни военных времен, словно бы какой-то зов издалика, сквозь толщу целой прожитой напрасно и бессмысленно жизни, услышал Калиныч и, поднявшись на неверные ноги, хрипло и не попад подпел:

Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовет отчизна вас!..
И громы тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь, огонь!

Дальше слов он не помнил и только тянул: «За нашу Родину — огонь!..» — и как-то само собою сложилось в мутной, пропитой его памяти, и он выкрикнул в пустоту то, что было когда-то выше, чем приказ, святее присяги: «За Родину, за Сталина!..»

— Ах ты, падло! — вскочил на ноги тот из парней, который спорил насчет Афганистана. — Нашел про кого, про ублюдка этого!..

Калиныч упал грудью на стол, опрокинул его, рухнул наземь вместе с тарелками и стаканами, но тут же, как некогда в бою, вскочил на ноги и, зажав в пятерне случайно подвернувшуюся под руку бутылку, закричал еще громче, потрясая ею или, может, спутав ее с «лимонкой» былых времен: «За Родину, за Сталина!..» и не

запел, а завыл из помраченной, искореженной памяти вдруг всплывшие слова: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет...», а совсем уж напоследок, когда на него навалились не только недавние его собутыльники, но и праздновавшие за другими столами Победу, за которую не они, а он, Калиныч, погибал и после которой не их, а его жизнь пошла наперекосяк, — перед тем, как они с молодой лихой удалью накинулись на него и, заломив руки, били, выталкивая вон из ресторана, он успел еще раз прокричать: «За Сталина — вперед!..»

На улице, куда его выволокли всей толпой, он, размахивая бутылкой, разбил кому-то в кровь лицо, и тут бешенство толпы, ее слепое неистовство уже было не удержать. Его потащили на безлюдный ночной бульвар и опять били, топтали ногами, тыкали с размаху окровавленным, разбитым в кашу лицом о фонарный столб.

Насытивши стадное чувство возмездия, они разошлись — кто допивать в ресторан, кто восвояси, в мирный и безопасный свой дом, оставив бесчувственного Калиныча умирать на холодном асфальте.

На рассвете, когда ранние прохожие наткнулись на него на весеннем — за ночь успела распусться первая сирень — бульваре, он был уже мертв, и в открытых, остекленелых глазах отражалось утреннее, без единого облачка небо.

КАРТА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Наталья Груздева

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЯЗЬ

Я задремлю на краешке дивана,
Раскрытой книге ширь отдав его.
Проснусь в тоске: из кухонного крана
Горячей струйкой — время. Ничего,
Наверное, не протечет бесследно,
Душа, как объясняли нам, бессмертна,
Гармония — пресветлый лик её.

Как старые преданья гармоничны!
В их мозаичный непростой рассказ
Врастает так единственно, логично
Поэзия, приметой становясь
Ей созданного сказочного мира.
И вот нам кажется, что повторяет лира
Не ей рождённую событий связь.

В дарованное ныне Рождество
Надеемся уже на Воскресение
И в нетерпении торопим естество:
Мы ждем его в квартале от рожденья,
Но замысел — всего лишь часть пути,
Он должен воплотиться, прорасти...
Но хочется задаром всепрощенья.

А просто ли простить то существо,
Что исполняло Ирода указы:
Всех истребить, нет, нет, не большинство,
А поголовно — всех младенцев сразу?

От них идёт угроза личной власти,
Без жесткой власти ждут нас мор, напасти
И разных демократий торжество.

Рождественская сказка — не такая,
Вы скажете, — и будете правы.
Вернёмся вспять, канонам потакая,
И вспомним, как с востока шли волхвы,
Звезда, зажегшись, их вела в пещеру,
Свет утра занимался светло-серый.
Туман и камни...

Берега Невы

Я ранним утром лучше представляю,
Чем несколько абстрактный Вифлеем.
Звезду Аврору тоже вспоминаю
И тех, кого она вела. Зачем
Так много душ загублено идеей
В России и в далекой Иудее?
Кто был нечем — тот разве станет всем?

Рождённые от плоти, не от духа,
С ним так и не вступившие в родство,
Пусть ваша песнь не оскверняет слуха!
Родителей восславим в Рождество!

6—9 января 1991

* * *

Ах, бабушка-заступница!
Житья нет от молвы,
Не крикнешь, а аукнется,
Хулы, не похвалы!

Не нам с тобой, сердечная,
Заплакать от обид:
В тебе есть сила вечная,
Во мне любовь горит.

Попьем чайку, не сетуя,
Что чёрен белый свет.
И за беседой светлую
Застанет нас рассвет.

1985

* * *

В каком кошмарном сне пригрезится такое:
Сиреневый забор и синий — супротив?
Да это я иду воскресною Москвою,
К арбатской пестроте себя не приучив.

А как же было здесь без краски иностранной?
В проулочек сверну, хочу его понять.
И вот родной мотив Гармонии желанной —
Пусть ненадолго — но рождается опять.

Неброский особняк с многофигурным фризом
И садик перед ним — как человечен он!
Церквушка — деревцо гнездится над карнизом.
Вон маленький дворец — без крыши, без окон.

Да, небреженья знак на всем.

Идет старушка.

Усталость нищеты. Мне совестно смотреть.
Я помогла бы, но

что ей моя полушка?

Достойно прожила, смиренно встретит смерть.

И жертвы, и творцы эпохи коммунальной
Проходят...

— Не мечтай! Освободи проход!

— Вы это мне? — Кому ж! —

И шествуют скандально

Две женщины с дитем. Ушли за поворот.

Там Мельникова дом, хранитель многих тайн.
Двадцатые года... Кипенье... Авангард...
Он и сейчас еще дразнящ, необычаен,
Как дерзкие ростки, пробившие асфальт.

Вот девочка идет с мороженым и с книжкой.
К ней парни подошли. Смеются.

Что они

Построят здесь потом: безликий городишко
Иль в прелесть старины вплетут живые сны?

А если посмотреть: что им от нас осталось?
Москва... Россия... Путь вразрез и вопреки...
На чем достоинство основано?..

Отсталость...

За кем, задумавшись, пойдут ученики?
Тропинки, улицы, проезды, магистрали,
Микрорайонов лабиринты, тупики...

ПОСЛАНИЕ

«Два Рима падоша, третьей стоит,
четвертому Риму не быть».

Из послания старца Фелофея

Третьей стоит и небо полнит дымом.
Мой нищий, мой кровавый, страшный Рим.
Все чаще вспоминаю я, родимый,
Что стало с первым Римом и с вторым.

Все чаще, все грознее, все басовой
Огромная, усталая страна
Мычит и стонет, как больная совесть.
Победами дотла разорена,

Она бредет, пути не узнавая,
Своих детей не помня, не щадя,
То мальчиков в пустыне убивая,
То девочек губя на площадях.

А к полночи раскинется широко,
Молчит, не спит и чувствует беду,
Байкала помутившееся око
Уставя на Полярную звезду.

Века, мой Рим, ты пер по бездорожью
(Своя земля была нехороша!),
Костями ложился, строил царство Божье,
Все заповеди Божьи сокруша.

И обуха перешибали плетью Опричники,
И славили тебя.
Кончается твое тысячелетье.
Кончается. Не я тебе судья.

Я из твоей земли. В твоей земельке
Лежать в краях холодных и глухих,
Где Петьки, Катьки, Стеньки да Емельки.
Мы римляне. На нас твои грехи.

На нас грехи, от века и до ныне.
Прости, Господь, спаси и пожалей.
Не отречемся от греха гордыни,
Ему учил нас стрец Фелофей.

Мы жили гордо, валенки латая,
Целковые швыряли за алтын.
Потом долги платила золотая
Живая третьеримская латынь.

Мы жили сладко... Чистая пороша
Еще успеет землю обелить.
Напишет старец: «И третьей падоша.
Четвертому, как сказано, не быть!»

* * *

С благословения Господня
Тебе я радость и беда.
Я не нужна тебе сегодня,
Но я нужна тебе всегда.

И в этом нет моей победы,
И в этом нет моей вины.
Твои и радости, и беды
Во мне, как соль, растворены.

В дни безнадежные, глухие
И в дни, когда гремят шторма,
Я все равно твоя стихия.
И нечего сходить с ума.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В ДОЖДЬ

- Что делаешь?
- Плачу с дождем.
- А в ветер летаешь, как ветер?..
А ночью?
- Давай подождем
До ночи, пока еще вечер.
Пока еще вечер и дождь,
Листва шевелится сквозная.
- Ты слишком свободно живешь.
И счастлива этим?
- Не знаю.

ПУТЬ

Естествен, как клюв у цапли,
Не выпрямляй свои черты.
Бесстрашен будь, как Чарли Чаплин.
Узнай себя — до простоты,
До сути, до предназначенья.
Приди в себя и стань собой.
И этот путь зови судьбой,
А не случайностей стечение.

БЕРДИЧЕВСКАЯ Анна родилась в Соликамске на севере Пермской области. Закончила университет в Перми, по образованию, которое так и не пригодилось, математик. Печатала прозу в журнале «Урал», стихи в «Литературной Грузии», в «Новом мире». Живет в Москве и Тбилиси.



Ничего неизбежного нет.
Как спасение вам безразлично,
Так спокойствием, сану приличным,
Был безумному миру ответ.

Может быть, мы считали смешным Робеспьера
С красным пылом, не новым давно.
Ну и вот, наступила и наша премьера,
Оказалось — не очень смешно.

Ни романтики в ней, ни романики нету,
Нет изящества ну ни на грош.
Так зачем убиваться по этому свету?
Пусть мы плохи,.. он тоже, проклятый,
хорош.

Кто ответит, что плохо хранил Ты нас, Боже,
Всеблагой, видно, впрямь тебя нет...
Трудно видеть, как тем, кто всех санов дороже,
Суждено оставлять этот свет.

Личарда не утешит, хотя не изменит,
Мысли горькие пули сильнее сомнут, —
Потому что никто никогда не оценит
Жуть бессмысленных этих минут!

* * *

«Сейчас никто не будет слушать песен...»

И пусть не слушают —
Мне нечего им спеть.
Давным-давно я разметала бисер.
Души обезображенная треть
не дарит чувств —
Остались только мысли.

«Потухшим угольям — холодная зола», —
Нескромно исчислять свои потери.
Из бытия — так, не простясь, ушла
И что сглупила — до сих пор не верю.

ДРАКУЛА-ОРАКУЛА

«Чучело-мяучело на трубе сидело...»

Посвежели, оскалили зубы
полудохлые притчи,
А в зубах, для всеядных, колбасный обрубок
демократии с китчем.
Вот он образ спасения, образ нового Бога.
Что же будет вам Воскресение, воскрешение,
Всех вопросов решение —
Погодите немного.

* * *

Мне покаянья смысл неясен —
Что изменяет память о грехе?
Химеры дел — грязны и безобразны —
Так лучезарно выглядят в стихе,

И от молчанья я могу распасться,
надреснуть от накопленного зла,
И жалких слов оставленная паства
заплачет,
как древесная смола.
Не знаю о поставленных пределах —
Они для тех, кто слепо верит в них.
Для тех, кто все пределы перемерял
и преступил —
Мой безразмерный стих.
И через препинанья и вопросы
он смеет так сказать,
как будто власть
Бездарности крикливо-безголосой
Мне отошла, навластвовавшись всласть.

★ ★ ★

«...И шершаво-декадентские вирши в
вянущих ушах.»

Воображение не пашет, в мозгах трагически темно,
И миллионы гадких ряшек мелькают в кадре, как в кино.

Все сделали на Запад стойку, а воронью живется — во!
В их каркании на помойке патриотизм и торжество.

Заслуги нет ругать ПОРЯДОК, тем более порядка нет.
А кто до смысла очень падок — пусть не читает этот бред.

ОСЕНЬ

Я свое имя разбросала...
Не жалела — не уберегла.
За окном продрогшая русалка
Осень
С кос воды холодной налила.

Ничего, что слов уже не надо,
Пусть и стала я без них бедна...
Так русалка от речной прохлады
До смерти продрогнуть не должна.

ПОСЛЕДНИЙ СТИХ

Иду. Когда же мерный звук
 затихнет,
 будет остановка?
Пусть на груди не сложат рук,
Не бросят в ящик с облицовкой...
Приличья — бред.
И мой скелет
 спокойно пролежит без места
Там, где оград с крестами нет
И не бывает мертвым тесно.

БАКАНОВСКАЯ Елена родилась в Хабаровском крае в 1968 году, в семье военнослужащего. Учится на филологическом факультете Харьковского университета. Работает в библиотеке. Живет в Харькове.

* * *

Превыше всех людских обид,
превыше вечных вод
Сизифов труд и Данаид
неутомимый ход.

Их муки вечные не ждут,
спокойны их сердца.
Я уважать училась труд
без пользы и конца.

Дай труд нам вечный, как кошмар,
как им, забывшим спесь.
И безнадежность, словно дар,
Всевышний, дай нам днесь.

1984

* * *

М.Л.

Как призрак корабля,
плывущий из тумана,
плывет ко мне земля.
Она — обетованна.

Земля населена.
Она твой бред, Иаков.
Она обречена —
ведь там не бросишь якорь.

Ни бортовых огней,
как паутина — снасти.
Блуждаешь ты на ней
по лабиринтам страсти.

Твердь под ногами чуть,
а эхо снова: минем!
Благословенна будь,
когда тебя покинем!

1987

* * *

Лене Лившиц

А там, за лесом, край земли,
где стынут мертвые байдарки.
Обрывки: «снов сомнамбули —
?» — не рукопись, одни помарки.

Здесь только плеск, широкий шум,
волны холодное дыханье
и медленное умиранье
стволов, родившихся в лесу.

Здесь время белое — *durée* —
живет, как замысел Бергсона.
Здесь рыбы строятся в каре
и ходят тихо и бессонно.

Здесь ледяной покой лица
при зыбкости непостоянства,
и, словно шелк сквозь два кольца,
проходят звуки сквозь пространство.

Они здесь сами по себе,
и крики равноправны с чайкой.
Тут остов дерева в воде —
иероглиф беглый и случайный.

О, здесь не страшно умереть.
Как Никэ, в еле слышном звоне,
такая маленькая смерть
стоит у жизни на ладони.

Наверно, так и стоит жить,
так равнодушно,
так озерно.
И все прожить, как все сложить,
как к зернам складывают зерна.

1989

ДЛЯ ШАРМАНКИ

«До таможен печали,
где наши слова оборвутся...»

Е.Т.

Пустою, как зал ожиданий,
покажется нынче любовь,
и горестный труд провожаний
понятнее прочих трудов.

Кругами, кругами, кругами
по лесенке винтовой.
И входит большими шагами
скрипач, не придуманный мной.

И скрипка, и горб, и заплечный
мешок. Так зачем и куда?
И голубоглазая вечность
глядит, как в затылок звезда.

И все же ступеньками трапа,
и все же окончится круг...
«На нем треугольная шляпа
и серый походный сюртук...»

И жалки и дым, и помада,
и начатый аперитив.
— Не надо, не надо, не надо
тянуть окаянный мотив.

Когда-то нас вместе встречали,
я помню: проспект и дома.
Теперь у таможен печали
мы весело сходим с ума.

И небо нам родиной станет,
и ласковой смертью — любовь,
и горестный труд провожаний
понятнее прочих трудов.

1990

* * *

Когда кликушествуют дни,
и ноздри дразнит и щекочет
чуть сладким запахом, они
сродни водобоязни ночи.

И завораживают и
так торжествующе телесны.
Так завораживают дни,
как завораживает бездна.

И мы парим, парим, парим
в кубическом просторе лавки,
где пролетает херувим
с лицом замученного Кафки.

Его ритмическим крылам
пристало бледное свечение.
И вдруг оно напомнит нам
об истинном предназначеньи.

И отразится тесный мир
в зрачке, как в зеркале Персея.
И, словно волнами, эфир
сквозь сито голосом просеян.

И вот, сдвигая и круша
в кубы спресованные вещи,
освобожденная душа
в пустынном зеркале трепещет.

1990

СНЫ

Какою-то силой несомая,
Распластана, как звезда.
Пьянящая невесомость
пронзила меня навсегда.

Деревья являлись вплотную,
как будто и не были. Я
выхватывала на лету их
из белого небытия.

Внизу, как в чистилище, тени
блуждают в тумане реки.
Их руки, как стебли растений,
их головы, словно буйки.

И вверх поднимали лица,
на миг переставши грести:
какая безвестная птица,
как дух над водою, летит?

Так в поезде зимнем и скором
в чаду календарной тоски
средишь, как мелькают озера,
как редки на них рыбаки.

И мертвая белизна, и
черные лунки на льду.
Они друг о друге не знают,
и все — у меня на виду.

Один другого печальной
глядели купальщики вслед.
В дымящейся этой купальне
скитаться им тысячу лет.

И внятна отдельных течений
судьба одинокая течь,
блужданье без пересечений
и следованье без встреч.

Два мира стеклянным шаром
сомкнулись в одно бытие —
и это паренье над паром,
и спящее тело мое.

Как час между мраком и светом,
как мост между жизнью и сном,
и дрема тяжелая в этом
есть бодрствование в другом.

И словно на дне кувшина,
я вижу сквозь белый пар
грифоновый дом, машины,
и маковки, и бульвар.

И ствол дугой облетая,
узнать себя — эта и та —
в особом наклоне трамвая,
как лодки, на гребне моста.

1990

Юлий К р е л и н

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

I

«Где дают? Где купили?...» — «На Профсоюзной». — «И сейчас есть?» — «Вчера были». «Еду! Здесь такси легко схватить?...» — побежал сломя голову. Разговор в больнице. На Профсоюзной «давали» костыли. Что ж, время от времени то одно, то другое оказывается в дефиците.

Оживляются цифры и вовсе не в пифагорейском смысле. В РСФСР более четырех миллионов инвалидов от шестнадцати лет и выше, 111 тыс. детей-инвалидов. Изготавливается шестнадцать с половиной тысяч давно морально устаревших инвалидных колясок, при потребности в 150 тысяч. При вычислении потребностей старики и дети в расчет не принимаются. В ФРГ одна только фирма производит пять тысяч приспособлений для инвалидов. Мы — двадцать четыре приспособления. (Мы — это вся страна.) И сейчас не удивимся, встретив порой одноногого на привязанной палке вместо полноценного протеза.

Но ведь не сознательная же это бесчеловечность! Откуда же столь странный посыл — детей и стариков в расчет не принимать? Да потому, что прежде всего надо делать целесообразное, жизненно необходимое для процветания державы. Понятие державы приобретает отдельное, самостоятельное значение, цельного суверенного организма, а не сообщества из единичных независимых людей. Состояние одного муравья не влияет на здоровье муравейника; лишь повреждение целой касты муравьев может порушить полноценность всего муравейника. Целесообразно перспективно лечить трудоспособных, до определенного возраста. Трудно положить в больницу старика. Нет резона тратить большие державные деньги для помощи тем, от которых отдачи уже не будет. Племенная доцивилизационная нравственность!

Не знаю, может, государству и нет резона тратить деньги, если они не восполняются поправившимися больными, но других средств у общества нет. Только государственные. Нет благотворительности, помогавшей в Европе существовать нуждающимся еще с начала раннего Возрождения. Нету, во всяком случае, не было до недавних пор, никаких фондов — ни милосердия, ни благотворительных. Держава заботится только о работающих и воюющих. Трудно положить в больницу и инвалида.

II

А почему, действительно, врачам, в частности нам, хирургам, так анекдотически мало платили, толкая на левые заработки? Может, правда, хоть и маловероятно, что все были повязаны, коррумпированы, чтобы всеми легче было управлять? Ну, конечно, неосознанно, не творя бесчинство специально. Но все же в душе нашей системы, державной машины, идея целесообразности немало разрушала канонические нравственные законы. (Хотя бы в плане отдачи долгов, платы по векселям, то есть лечение и обихаживание стариков и инвалидов.)

«Спасибо, доктор, за все. Помучились вы со мной. Сколько операций — и все напрасно, нет ноги. Но вы все сделали, вы намучались». — Это верно, ногу не спасли, но жизнь спасли. — «Спасли, конечно, да только без ноги теперь я никому не нужен». — Как никому? У вас семья. — «Так-то оно так, да денег в дом я уже не принесу, в больницу теперь меня положить будет трудно. Всем обуза. Да нет, вам-то спасибо, доктор, но пользы от меня теперь никакой». Вполне державное мышление: спасибо, но толку теперь от меня и от вашей работы никакой.

Ну за что же много платить хирургам? На обычные, ходовые операции много сил не уходит — все привыкли к аппендицитам, грыжам, камням в желчных пузырях, язвах желудка. «Типовая работа — хватит с них», — говорит *система*, и уверен, все же никогда впрямую так не мыслили *люди* — теоретики и жрецы ее, принципиально не ставившие человеческие нужды выше державных или классовых. А вот тяжелые случаи, скажем, по поводу рака с обширными

поражениями, когда приходится делать большие комбинированные или многоэтапные операции; при тяжелых травмах с разнообразными повреждениями; при склерозе сосудов — хотя и много сил уносит у медиков, но дают малый практический выход для пользы работающего общества — эти больные, скорее всего, полностью уже никогда «в строй не встанут». (Польза мораль губит.) Эти операции подвели человека к рубежу его полноценной трудовой жизни. Пока еще не было операции, он что-то делал, создавал, строил, а нынче его придется лишь холить, лелеять, обихаживать.

Система в нем не нуждается, но платит ли она долги? — шестнадцать с половиной тысяч инвалидных колясок при потребности в 150 тысяч. Нужды нет, что уберегли от смерти, предотвратили паралич, инфаркт, ногу, хоть и больную, да сохранили — операция помогла. (Да хоть бы и отрезать ногу пришлось.) Но нередко отныне люди эти нужны лишь близким, а не державной, производственной или силовой машине. Теперь нуждаются в них лишь близкие, любящие их, тянущиеся к тому человеческому теплу, что вышедшие ныне «из строя» сумели аккумулировать в себе в течение жизни. Так стоит ли этой фабрике инвалидов, сберегающей неполноценные винтики, создающей нахлебников, — еще и платить большие деньги? Пусть тратятся те, кто в них нуждается, а государству поощрять производство балласта нецелесообразно. (Что ж, тогда нечего лицемерить, а надо строить частную, приватную медицину. Только, по-моему, лицемерие это неосознанное. Теория глаза застит.)

Другое дело пустяк, отрывающий работника на короткое время, — да уж тут и не за что обществу особо и раскошеливаться. Для машины с безмозглой целесообразностью, а вернее — бессердечностью, не важен уровень испортившегося винтика. Выкидываться должен любой. Даже самый главный винтик должно заменять, если резьба сорвана. Одинаково не нужны отработанные академик ли, плотник, герой или любой вечный работник, хоть на троне. Вот тогда и решает уровень близких — уровень материальный, уровень связей, уровень моральный. (Вспомним, как спасали Ландау близкие, коллеги и друзья ученые. Андропова, Устинова лечили сверх всякой возможности близкие коллеги по руководству — пусть хоть и сами не участвовали, но действовал уровень личных возмож-

ностей. Четвертое управление и есть забота близких на уровне их возможностей о тех, кто вместе у кормила, у пульта, у руля, у приводных ремней, у рычагов и так далее.)

Какое бесовское рассуждение! Никто, конечно, так и не рассуждает — логическая цепочка выстраивается сама. (При вычислении потребностей инвалидов принадлежностей дети и старики в расчет не принимаются. Как заклинание, вынужден повторять эти поразившие меня цифры и расчеты. Хотя если б подумал, то достало бы у меня сообразительности дойти до этого и самому. Каждый день с этим сталкиваюсь, да «мы ленивы и нелюбопытны».) Должно осудить сравнение человека с винтиком — и осудили. Осудили слово, термин — суть же осталась.

III

Продолжим сатанинские построения: адекватная оплата хирургической работы — лишь поощрение производства иждивенцев и нахлебников и без того плохо работающей машины... А может, и поэтому плохо работающей? Не задумывались, конечно, с достаточной осознанностью столь цинично, когда на здравоохранение — на оборудование ли, на строительство ли, на оплату ли — так трепетно сохраняли пресловутый «остаточный принцип». (Не задумывались люди, а машина так запрограммирована, она уже не думает, а слепо движется по искусственной колее.)

Если на первом месте целесообразность, а это факт нашего бытия, то как мог двигать вперед мотор на горячем только из идеи, которой к тому же и нет... Ну, по крайней мере, нет уже. Естественно, наверно, потому и возник этот мистический, но далеко не мифический «остаточный принцип». Раньше, до «перестройки», я и не слыхал о таком влиятельном принципе. Нас ведь беспрестанно призывали «работать с полной отдачей», «все отдавать делу без остатка». Эти заклинания так влились в словесную атмосферу, которой мы дышали, что даже в голову не могла мне, далекому от хозяйственно-бюджетных принципов, прийти формула «остаточности» на фоне призывов к «безостаточности». Что медицине денег почти не дают, ясно было и невооруженным мозгом, но что существует еще и «принцип» какой-то для

этого, простому здравому уму, не вооруженному принципами, и вовек не додуматься. (А вообще, «из принципа» в обиходе значит «назло». Если вдуматься.)

Если польза державы выше блага единицы, из которой все строится, которая все строит и которой, и только ей, прежде всего держава нужна, то как высчитывать эту самую целесообразность? (Губит польза мораль.)

IV

«Жила бы страна родная, и нету других забот...» — пели, словно роботы, не задумываясь, позволяя непознанному смыслу вирусом внедряться и заполнять душу, свободную от знаний, освященных канонами нравственности родившей нас цивилизации. Если «нету других забот», то лишь пустым гулом гудят заповеди, заложенные в основание нашей морали. «Почитай отца своего» — но прежде всего заботит страна, нужды коллектива, а не личные, семейные отношения. Нет отца — лишь отечество. Для блага державы важнее отношения с Верховным Отцом, Верховной Мыслью, Направляющей Идеей — общественное выше личного.

«Не желай дома ближнего своего», «не убий», «не кради», «не произноси ложного свидетельства» — ну, а если общество, что выше личности, нуждается в отступничестве от «других забот». Так их «нету» — «жила бы страна родная». Тут уж нечего поминать и вовсе нецелесообразное «подставление других щек» — без подвала нет бельэтажа. Приоритет целесообразности, заботы о коллективе первее личных нужд, разрушают нравственность единиц, создавая общественную мораль, идущую в разрез с желаниями, требованиями, тягой и тяготами составных кирпичиков общества — человека. Нет личных заповедей, сберегающих чистоту своего «Я» вопреки общим нуждам, — нет, стало быть, канонов, сдерживающих нечеловеческую, биологическую сущность людей, и тогда на первое место выходят потребности тела, организма, которые в основном у всех общие, одинаковые. Полезно всем одно и то же. Нет страху за душу — есть сбережение целесообразных построений коллектива и составляющих его тел. Общее в таком случае становится выше.

Человеческое в людском сообществе начинается с единиц — личностей с непредсказуемыми причудами, не всегда целесообразными и необходимыми для процветания коллектива, общества, стаи. Индивидуальные особенности создают расслоение. С появлением личности, с развитием человеческого общества возникает неравенство. Небрежение личностью приводит к коллективистской нивелировке и торжеству догмы о справедливости как о равенстве.

Тянут жребий, делят талоны на холодильники... а может, на сапоги... или ковры... детскую одежду. Здесь все: контора и производство, ударники коммунистического труда и местные люмпены, депутаты и диссиденты, партийные и официальные алкоголики. Социальная справедливость! Равенство! Равенство распределения. Но того не может быть. Равенство лишь в ублюдочном количестве заработанных денег на своей законной ставке — заработок официальный. (Халтура не в счет — халтура всегда оплачивается лучше. Может, потому термин «халтура» приобрел двойной смысл: труд вне основной, законной работы и труд некачественный, производимый, что называется, «спустя рукава».) Стало быть, талоны среди директоров, председателей, начальников, заведующих распределяют в другой комнате.

Равны должны быть деньги, а не заработки. Равны должны быть цены для всех, не зависящие от парадоксов извращенного распределения. Социальный конфликт — пусть тянут жребий все в одной комнате и из одной шапки. Равенство! Социальная справедливость в виде талонного равенства. Может ли так быть?

Стремление к той справедливости, когда все должны быть одинаково равны (всякий Адам пашет, всякая Ева прядет), и рождает коллективистское мышление, что выстраивает всех в колонну, целесообразно движущуюся к одной цели и не дай Бог... «шаг влево, шаг вправо считается...»! Только вместе, только одинаково, и никаких одиночек, личностей, индивидуальностей. Коллективистское мышление отрицает одиночек — «МЫ» важнее «Я». Когда на первом месте «Я», личность, одиночка — сложнее сбиваться в стаи, будь то социальные, бандитские, национальные, будь то цель благая или дурная. И хорошо... Лишь непосредственная общая угроза должна рождать объединения. Коллективистское суще-

ствование удобно и нужно только при угрозе, но не должно рождаться велением теории.

Чуть более ста лет назад великий русский интеллигент — хирург и педагог Н.Пирогов писал: «Господа, господа реформаторы, властители наших дум! Позаботьтесь сначала для культуры ваших учений уничтожить эту прискорбную индивидуальность, столь препятствующую обожаемому вами прогрессу! А пока еще не придумали способа производить на свет людей одинаковыми, до тех пор не удастся и стричь их под один гребень».

V

При правлении коллективистской формы мышления в искусстве тоже забота обо всех становится значительнее проблемы одного. Становится важным не образ, не личность, а тип, обобщение. Политичность, социальность оказывается первее художественности. Коллективу, общине нужно дело, а не страсти. А без страстей нет художественности. Целесообразно перед заботой о державе, коллективе, обществе пренебречь печальми личных неудобств и невзгод. Кручиниться или восхищаться судьбой одиночки следует, лишь если случай можно обобщить в успех или неудачу всех. Искусство — удел одиночек. Польза губит мораль.

Одиночки — это всегда прихоти и излишества. Нужды нет, что причуды пресытившихся натур давно уже стали бытом — да кто на то внимание обращал? Вспомним целесообразные подорожания. Бензин — но только для «частника» — машина причуда имущего, на общий уровень жизни не влияет. Подорожала мебель — но не для учреждений, а в частных домах все равно всегда есть на чем есть, спать, сидеть — на общем уровне не отразится. Подорожали меха — от холода можно укрыться и синтетикой... Общий уровень пострадает, лишь если вдруг повысят цены на хлеб, мясо, масло. Вот это уж точно нецелесообразно. В результате, импортируем и зерно, и мясо, и масло. Думали, что только в анекдоте можно спросить: «А вы их дустом не пробовали?» — ан, глядь на нас Чернобыль опрокинулся. Ведь на излишнюю защиту «от дурака» тоже, наверно, кто-то посчитал тратиться нецелесообразным. Ведь не «частник» платит —

дурак излишняя причуда. Дураков державная целесообразность в расчет не принимает. Для этого в поле зрения должны быть и личности.

Мне кажется, уровень цивилизации определяется не целесообразностью в державных, коллективистских надобностях, а уважением к причудам духа (да и тела) той или иной личности. Хирург, изначально думающий о пользе своих действий и службе на благо народа, — разумеется, менее удачлив в результатах своих операций. Его профессионализм покоится на «надо», а не на «хочу». Хирург, получающий личную радость от своей работы, помогает более эффективно. Удовольствие от работы порождает более высокий профессионализм.

Не прагматическим отношением к жизни — когда не столь важно, что вкусно, но главное, что полезно, — устанавливается душевный комфорт. (Во всяком случае, на нашем уровне бытовой цивилизации.) Таблетка витамина, может, полезнее (целесообразнее) бутерброда с икрой, но уровень общества мы оцениваем все же больше по бутербродам с икрой. Конечно, проще и доступнее, примитивнее и целесообразнее, когда польза тела выше кульбитов характера. Капризы души (да и тела) порой кажутся бессмысленными. Но личное выше общественного, моральнее и способствует безмятежности души.

VI

Лишь зримые прагматические победы тешат тщеславие общества. Целесообразнее делать так, как хочет большинство. Кого меньше, тот слабее — прямой, тупой подсчет. Коллективистское мышление повышает тщеславие большинства. При коллективистской системе существования, если кто-то высказывает нечто, тревожащее меньшинство, то большинство с неколебимой уверенностью постоянно правых (их же больше) гневливо оскорбляется от имени всего общества. Кто от имени всех земляков, кто от молодежи, иные, скромные, — от своих избирателей, другие — от имени народа, а то и от всего прогрессивного человечества. Большинство нередко понуждается к обиде тщеславием. Коллективистское мышление диктует свои правила. И впрямь, порой выступающий мнит, что говорит от имени кого-то, а не от себя лично. Выступаю-

щий должен быть личностью, а не ретранслятором. Лично соображать надо.

Герцен вспоминает взрыв Белинского: «Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость...» Одиночка и буря эмоций большинства! Знакомо? Преемственность поколений русских интеллигентов.

VII

Решения задачек с помощью философии прямой целесообразности, как правило, в конечном счете оказывается неверным — с ответом не сходятся. (Вся наша история это доказывает.) Целесообразность всегда сиюминутна, проще, легче, понятней и, на первый взгляд, надежнее и доступнее. В основе нашей целесообразности — слова о справедливости, в фундаменте которой заложено равенство. На стайном уровне справедливость — это данное от природы незаслуженное равенство. Основой справедливости, особенно социальной, в цивилизованном обществе, построенном на качестве личностей, должно быть заработанное, заслуженное неравенство.

Теоретическое стремление к уравниванию и его практическое осуществление не может пройти без насилия. От насилия в конечном итоге мы получаем больше потерь, хлопот, несчастий, чем удач, как бы лихо ни рассчитывали задачки со всей своей запрограммированной пользой для большого сообщества. Рассчитали вроде бы все правильно и, казалось бы, уже ухватили за хвост жар-птицу справедливости, да и по расчету всего-то лишь позволено насилие над одним ради сотен... — и опять лишь хвост в руках у коллектива. Расчет-то, казалось, был точным! Стало быть, опять ищи виноватых. Сегодня это кооператоры. На подходе, в который уж раз за последние две тысячи лет, — евреи. (Не имевшие эти тысячелетия собственной квартиры — эдакие брмжи в планетарном масштабе.) Кто-то должен быть виноват?! А вот и никто: расчет да идея. Очень уж непродуктивно... а вернее, кроваво продуктивно всегда искать виноватых.

Из автобусов посыпались крепкие молодые ребята в форме и с дубинками, освещенными инструкциями новых демократических ветров. С чем не спорю. Спорное иное.

«Жи́ды пархатые! Ублюдки сионистские! Распоясались сионисты!»

Шел митинг, не имеющий никакого отношения ни к одному из национальных конфликтов, во множестве порожденных временем и событиями. Вот уж действительно, когда начинает солнце пригревать, оттаивает чистая вода и зловонные скопища грязи. Молодцы набросились на демонстрантов с воинственными кличами многовсковой традиции и вновь возродившейся идеи. Не верю, что существует генетический антисемитизм у народа, что, кстати, доказали и последние выборы в местные Советы нашей республики. Мальчи́ков ОМОНа (отряды милиции особого назначения) ознакомили с этой идеей в процессе «обучения», натаскивания на операции разгона несанкционированных митингов и демонстраций. Нужен образ врага. Есть удобный лозунг для удобства целесообразного действия. Как не вспомнить обучение фельдфебелем рядовых в начале века. «Кто есть враг внешний?» — «Турок.» — «Кто есть враг внутренний?» — «Жи́ды и студенты». Легко учителю, понятно и ученикам.

VIII

Может, носятся временами в воздухе мира какие-то мизмы, «трихины», как называл их Достоевский в знаменитых снах «Преступления и наказания»? Или космические лучи, падающие на планету время от времени под каким-нибудь диким, не тем углом? Или испарения от той или иной земли, а то и дурного дьявольского вулкана, оказывающие некие мистические влияния на весь остальной свет? Может, все ж есть некая метафизика в историческом развитии и всего мира, и конкретного места. Что б там ни говорили иные мудрецы, но сдается мне, еще не познаны исторические законы. А все, что не познано, то в ведении метафизики.

Это мне приходит в голову, когда говорят о возможной альтернативности нашего исторического развития. Могли бы мы обойтись без сталинского пути развития? По рассуждению логическому, не исключено, что и могли бы. А метафизиче-

ски — нет. До конца, по-моему, непонятно, почему почти в одно время, кроме нашего тоталитаризма, появились Гитлер, Муссолини и далее тоже стали расти похожие режимы. Иные говорят, что Гитлер появился как следствие, реакция на события в России. Но Муссолини-то возник почти одновременно. А экономика, уклад жизни были непохожи. Соответственно и тоталитаризм был разный.

(Конечно, не без предвестников был путь. В нашей стране, в нашей истории были свои предвестники и предшественники. Сначала Грозный — безусловно, революционер, сменивший и весь аппарат, и военную машину, проводивший глубокие государственные реформы, ликвидировавший начала древней демократии в виде Боярской Думы и утащивший подальше столицу от старых вместилищ государственных служб — приказов. Ну, а следом многолетняя смута с чехардой правительствующей мысли и властителей. Потом Петр, также перевернувший и сменивший все тоже вплоть до столицы и ликвидации последних осколков старорусской демократии в виде Земского Собора, заперев отслужившие остатки аппарата в своем старом логове в Москве, и воистину создавший административно-командную систему, чуждую русскому духу, подсмотренную в совсем ином по нраву и истории народе. Петр с неисповедимой наглостью бездумного смельчака-революционера ликвидировал духовное влияние Церкви, поставив вместо Патриарха чиновничий аппарат Синода, лицемерно назвав его святейшим и подчинив себе через обер-прокурора; поскидал колокола с церквей, сочтя милитаризацию страны целесообразней забот о духе народа. Остались ли для русского церкви без колоколов храмами?! С колоколами и Патриархом, вернее без них, разрушена была духовная оппозиция светской власти. Командная администрация стала рулить страной без пригляда со стороны блюстителей духовных нравов — Церковь стала вассалом. Ну и, наконец, третий, свалившийся на страну, да и на весь мир с невиданным доселе лицемерием и жестокостью и безыдейной идейностью. Тоже сменено было все, и тоже государственный аппарат был оставлен в старой столице. Может, без этого революциям, что сверху, что снизу, с государственными службами не справиться? Если Антихрист даже в одной отдельно взятой стране может быть не один, то это был третий и пока наиболее

«антихристейший». По каким-то метафизическим законам — или беззаконию — все три тем или иным способом убивали своих старших сыновей.)

Что-то в мире порой случается неосознанное, одновременное, вне зависимости от режима, экономики, развития, климата. Шестидесятые годы нынешнего века. Молодежь вдруг во всем мире стала бунтовать. Как нынче говорят, стала «возникать». Разные страны, разные системы, разная молодежь. Франция — кто не помнит десять миллионов бастующих и молодежного лидера Кон Бендита? И тогда же — волнения и избиение польских студентов. Египет, Югославия, Испания... Китай. Хунвейбины — молодежное брожение, удачно использованное тоталитарной властью. А ведь что было общего тогда между Францией, Египтом, Китаем, Польшей? Так получилось.

Недавно прочел книгу историка И. Можейко о мире в конце XII века. Горизонтальный срез истории всей известной тогда Ойкумены. И, казалось бы, цивилизации совсем разные, и связи почти не имели — только ноги людские да лошадиные на путях в десятки тысяч километров. И всюду, в принципе, одно и то же. Даже литература того времени в каком-то смысле однотипная. И Низами, и Руставели, и безвестный автор «Слова о полку...», и в Корее тоже, и в Японии, и в Европе эпос, и нечто подобное в Индии. Стилистические разногласия мест, а принцип развития, мышления приблизительно одинаков в несвязанных регионах одной эпохи. Что за флюиды вдруг начинают носиться в воздухе по миру?

IX

Что-то, непознанное еще или навсегда заказанное от познания мешает нам выбирать пути, какие бы целесообразности мы ни начинали высчитывать и выгадывать. Целесообразность — это счет и числа. А дух эфемерен, но покоится на твердых канонах, не поддающихся вычислению. Не рассчитываются, а признаются как данность. Может, не искать причин для драк за ту социальную справедливость, что сегодня глядится целесообразной, а завтра тонет в кровавых озерах? Если оценивать целесообразность, то вести счет следует на одну человеко-единицу, а не на людские коллек-

тивы любых размеров. Целесообразно лишь до конца держаться за жизнь любой такой единицы, как это принято, например, в медицине. По крайней мере, врачи так стараются, если не мешают какие-нибудь идеи глобальной целесообразности. Польза мораль губит.

Впрочем, считать все равно надо уметь. Но счет тут не арифметический. Это лишь раскольниковым в людских судьбах вдруг видится простая арифметика. Пока наша державная машина считает на один шаг. Сегодня сработает. А завтра?..

А завтра инвалид, пенсионер; завтра держава должна будет платить по векселям за прошлую работу, за увечья, болезни, как говорится, на нивах труда и войн. Но и само понятие векселя исчезло из системы целесообразности. Долги платят, пока ты можешь что-то сделать.

Похоть целесообразности и в том, что хорошо делается, во всяком случае, око государево бдит лишь за полезным для государственных амбиций и державной силы. Ракеты, бомбы, армия — мускулы страны. Полезен туризм — накачивание сил. Балет — символ и показатель престижа. Танцы же индивидуальные — дело каждого. Хорошая одежда, полноценная еда, комфорт — нужны лишь человеческим единицам. Злодейство и, следом, разруха рождаются там, где человек не учитывается. Дом рушится, когда кирпичи обжигаются не из качественной глины и в худой печи.

Сталин, мне кажется, не задавался специальной целью: «А ну-тко, еще на миллиончик поубавлю державушку для компактности». Просто он этот миллиончик в своих державных планах в расчет не принимал: народ же — «мусор истории». Целесообразней вместо крестьян иметь рабочих — пожалуйста. (Целесообразно для равенства и справедливости, по теории, воспринятой им от его богов и пророков.) Целесообразно — более всего остального — иметь могучую (с его точки зрения) армию, как завещано было его предшественниками на имперском Олимпе, — ну и еще миллиончик-другой ушел. Все делал целесообразно. И еще до войны армию полностью обескровил. В войне надо победить — какой ценой для державы, одержимой целесообразностью, — не важно. Известна же санитарная функция войны. (Тут уж от целесо-

образности до каннибальства рукой подать.) Когда целенаправленно строишь державу, нельзя обращать внимание на остающихся «в остатке», в осадке отдельных людей. Ну и пусть их миллионы. Не то, чтоб он так считал — он просто людей в расчет не принимал. Цель, идея выше человека. Он, может, и не хотел, да так получалось. Державная целесообразность — штука дорогая и опасная, а прямая польза губит чистую мораль.

Х

«Ну и правильно сделали» — «Да там же триста человек погибло!» — «Что ж, война. Шпионское дело, разведка — та же война. Война без жертв не бывает». — «А если это просто ошибка?» — «Без ошибок не воюют. Не было бы ошибок — не было бы войны». — «А если бы там был ты... или твой сын?» — «Что ж, судьба. Пока существуют войны, шпионаж целесообразен и жертвы закономерны. Кому нужна ваша прекраснотушная трепотня?» Целесообразный гуманизм. Из разговора советских гуманистов в первом поколении: врачи обсуждают трагедию с южнокорейским самолетом.

Целесообразность въелась в наши души. Потому мы столь часто встречались с высокими заключениями (впрочем, и низкими тоже), высокомерными резолюциями, показывавшими, где на самом деле известны истины «в последней инстанции», на различных письменных предложениях, просьбах, заявлениях: **н е ц е л е с о о б р а з н о**. Как говорили латиняне, ультиматум *рефугиум* — высший козырь. Высшие доводы: целесообразно и нецелесообразно. «Просто, как мышление». Понятно всем и легко воспринимается всеми. Наверно, потому так часто слышались разговоры в трамваях, метро, очередях, серьезно-горделивые объяснения, высокое понимание наших различных, достойно не объяснимых державных акций. Что бы ни случилось, все норовили растолковать с позиций государственной целесообразности и необходимости. Делалось это душевно, приватно, по собственному почину, с искренним поиском резонасообразности собственных суждений с событием. При тотальной внутренней аполитичности поголовное квазигосударственное мышление. Главный резон

всегда — сила и престиж державы. Так было, да и сейчас не выветрилось.

В пятьдесят шестом гордо находили разделение Берлина ныне покойной стеной сообразным международным обстоятельствам. В шестьдесят восьмом воздух колебался звуками в виде уверенных «размышлизмов», сочувствующих властям, сподобившимся на тяжкую миссию ввести танки в Прагу, потому что иначе через час (!) туда вошла бы армия ФРГ. В семьдесят девятом году каждый пятый норовил понять решение власти необходимостью воспрепятствовать — через Афганистан — стремлению США сделать Персидский залив своим внутренним морем. А еще через год то и дело раздавались рассудительные возмущения нецелесообразными забастовками в Польше: теперь поляки будут бездельничать, а мы их корми. (Кормильцы!) «А не лучше ли все это прекратить сразу?!» — с пониманием державных нужд подготавливали себя истинные и искренние дети режима к очередной необходимой, целесообразной акции. Все пеклись о торжестве справедливости: мы же их освобождали! Ох, не все нравственно, что полезно для державы. Полезно?

XI

Полезно! Это «полезное» въелось в души наши и вовсе не собирается сдавать позиции внутри нас. Это «полезное» вовсе не сообразовывается с реальными возможностями, каким бы «новым мышлением» ни собирались вооружаться и вновь пришедшие властители наших дум. Прекрасных, благородных, разумно и трезво мыслящих людей, кажется мне, призвали москвичи к управлению хозяйством родного города. И одно из первых распоряжений в полной мере соответствует духу всех нас, детей времен «Большого террора», выросших и окрепших в годы застойной зыби — запреты, «не пущать», тяга к порядку. Порядок важнее комфорта личности. Так целесообразнее.

Одно из первых распоряжений Московской Управы: штрафовать, («не пущать») те машины (владельцев, водителей), что портят вид и воздух столицы своей неисправностью, грязью, разбитостью. (Ладно еще, когда речь идет о воздухе города, но внешний вид!..) Будто уже успели построить

достаточное количество автомоек, авторемонтных мастерских, появилось достаточное количество запчастей. Будто дороги в городе уже приведены в порядок и нет ям явных или «волчьих», прикрытых снегом или спрятанных в лужах. Будто уже обмывают при выезде со строительных площадок колеса покидающих грязь строительства грузовиков, выносящих ту грязь на дороги столь лелеемой столицы.

Видимо, и сегодня еще первенствует идея, что машины — это роскошь, к уровню жизни отношения не имеющая.

А уж милосердного отношения милиции к несчастному, замордованному «авточастнику» ожидать не приходится. Милосердие лишь к государственным нуждам, к полезным обществу автомобилям — «персоналкам», грузовикам, общественному транспорту, но уж никак не к частному сектору, не к владельцам, индивидуалам, собственникам, к «лошадникам», почти что к кулакам.

XII

Внучены всему целесообразному, но не научены простому, естественному, «никчемному» милосердию. Потому что пользу мифическую высчитывали, сообразуясь с обстоятельствами, а не с моралью.

Нынче, правда, поднимается на щит идея милосердия. Провозглашается милосердие к старикам и детям, к немощным и убогим, но до пушкинского понимания — «милость к падшим» — еще далеко. А ведь было: выходили сердобольные женщины с подаянием к этапамдвигающихся в сторону каторги осужденных (по современной лексике, к «зекам»), с желанием подкормить, поддержать каторжанина. В нашу эпоху, в годы повальной каторги и ссылок, от вагонов с заключенными непреклонные, ничего не понимающие адепты нового создаваемого уклада жизни, с уверенностью вершащих небесные законы справедливости, отгоняли бабок. К падшим не подпускали. К падшим требовали принятия суровых мер. Публика вопияла и страшилась, как бы падшим не создали в лагерях санаторные условия. Напрасно страшились — санаторных условий не создали. Всякий упавший становился падшим, не подлежащим милосердию. Впрочем, понятие это

было, безусловно, буржуазным, а стало быть, беспрекословно отвергаемым.

Эффект был достигнут: от милости к падшим отучили, а заодно и от любой другой. В нынешних статьях и призывах к милосердию я не встречал и намека на милость к виноватым. Доктор Гааз еще несколько лет назад был бы воспринят как пособник преступников, а нынче — как чужак с книжным воспитанием.

Для милосердия необходимо правовое сознание, и правовые условия, и понимание, что право — это система защиты слабого от сильного, в том числе личности от государства. Правовое сознание помогает понять, что есть нарушение закона, а что — лишь повреждение порядка; где преступление, где соблюдение законности, а где и милосердие. Иногда у нас норму права принимают за излишне прекраснородное и, в лучшем случае, несправедное добросердечие. И уж о каком милосердии тогда рассуждать.

Собрание учителей. (Учителей!) Обсуждают «подписантов» (был такой термин в нашем недалеком прошлом) в своей среде. «Вы защищаете преступников». — «Мы их не защищаем, а требуем гласного суда с защитой.» — «Вы адвокаты преступников.» — «Они еще не преступники. Это надо доказать в суде. Но и предполагаемые преступники нуждаются в адвокатах.» — «Вот и будет доказано. А вы!? Как же можно преступника защищать от закона, от суда?» — «Мы как раз и требуем законного суда с защитой и гласностью.» — «Да они ж преступники...» Этот разговор мог бы быть вечным. Разговор слепых с глухими: одни не видят, с кем говорят, другие не слышат, что говорят. Учителю надо выучиться.

Понятие о презумпции невиновности для иных наших земляков и современников настолько абсурдно, что они в обсуждение не вдаются и «в голову не берут». А один из ораторов с высокой трибуны, читая свое выступление, это неведомое слово прочел, как «презумпция». Немудрено абракадабру (для него абракадабру) прочесть со вздорной ошибкой.

Приучены творить лишь только то, что полезно делу, телу, но не сохранности душевных, «никчемных» порывов. Только полезное, только для строительства чего-то в будущем или ради державной силы сейчас — польза важнее морали.

Всю жизнь занимаюсь лечением людей, но мне никогда не приходило в голову некоторое сходство моей деятельности с тасканием камней в гору легендарным Сизифом: лечим, лечим — конечный результат предрешен. Что же, лечить в иных случаях нецелесообразно? Все мы знаем, что наступит конец и всему мирозданию, но как и когда, нам неведомо, а потому сегодня в полную силу, помогаем рожать, лечим, помогаем жить. В конце концов человек узнает, для чего мы созданы, и, может, осуществит свое всесветное предназначение. Ведь для чего-то мы образовались во Вселенной. Пока неизвестно ни направление пути ни конечная точка, а стало быть, не цель непознанная должна светить, не польза, на поверку оказавшаяся сомнительной, но в каждый переживаемый момент каждому существу по возможности сегодня должно быть хорошо... еще лучше... как можно лучше. Вот и вся нынешняя задача.

А целесообразность!.. Ох, и непостоянная величина! Что сегодня кажется целесообразным, завтра может подвергнуться всеобщему осмеянию и презрению.

Целесообразность! Какая же целесообразность, когда ЦЕЛЬ неизвестна?

КРЕЛИН Юлий родился в 1929 г. в Москве. Окончил медицинский институт в 1954 году. И с этого года работает в московских больницах до сего дня. В настоящее время заведует хирургическим отделением одной из московских больниц. Писать начал после тридцати лет. Первая публикация в 1964 г. в журнале «Новый мир» еще во времена Твардовского. Начал писать рассказы из жизни хирургов. Автор более десятка повестей и романов. Наиболее известные «От мира сего», «Хирург» в «Новом мире»; «Очередь» («Свои и чужие» — журнальное название в «Октябре»).

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФИЛАНТРОПИИ

Несколько дней тому назад я смотрел швейцарские телевизионные новости. В какой-то момент на экране появились целые груды картонных коробок с самыми разными продуктами, предназначенными для голодающего населения Советского Союза. Сложенной в те же коробки теплой одежде предстояло спасти советских граждан от морозов.

Картины, появившиеся на экране телевизора, навели меня на некоторые размышления. Сначала мне вспомнилось, что марксизм презирал филантропию, считая ее проявлением «гнилого» капитализма. Обещая всем полное изобилие, коммунизм вычеркнул благотворительность из своего словаря. Поскольку все должны были получить «по потребностям», никто не нуждался в милостыне. Поэтому в странах Восточной Европы боролись с кое-где уцелевшими благотворительными организациями, такими, как «Каритас», обвиняя их в сотрудничестве с ЦРУ или западногерманским Абвером. Сегодня тот же самый Советский Союз принимает от капиталистов все, что только они согласятся ему дать.

Но, конечно, филантропия касается не только Советского Союза. Богатые страны Северного полушария отправляют народам Третьего мира всяческие товары и продукты на миллионы долларов, успокаивая тем самым свои угрызения совести (на мой взгляд, неоправданные) за богатство, выпавшее на их долю.

В этом пункте размышлений я начал задумываться, из чего вытекает потребность демонстрировать «благodeяния». Искренняя ли это потребность, и во всех ли типах общества она существует.

И далее: а эффективна ли филантропия. Действительно ли посылаемые дары доходят до нуждающихся. Не бывает ли иногда так, что порыв человеческой солидарности используют

разнообразные мошенники, сколачивающие себе на этом капитал.

И наконец: если правда, что в благотворительной деятельности встречаются злоупотребления, то можно ли их предотвратить.

Задумаемся над разными формами благотворительности в зависимости от религии, укоренившихся традиций и образа мыслей.

Христианские традиции склоняют верующих христиан к добрым поступкам. Это не абсолютная обязанность, и все-таки угроза осуждения, всегда нависавшая над богатыми (бедному спастись легче), побуждала христиан совершать благодеяния и, будь то подачей милостыни или другими дарами, делиться с неимущими.

Иначе обстоит дело у мусульман. Там Коран устанавливает размер обязательной милостыни. Каждый верующий должен отдавать бедным десятую часть своих годовых доходов. Обязательная милостыня — одно из тех пяти предписаний веры, которые каждый мусульманин должен соблюдать особенно строго. (Четыре остальные: вера в Аллаха и его пророка Магомета, ежедневная молитва, соблюдение поста в Рамазан и паломничество в святые места.)

В первобытных обществах, которые мне довелось наблюдать, проблема благотворительности ставится иначе. В Африке сельское население, живущее еще по старым традициям (даже если оно связано с католической или протестантской Церковью либо исповедует мусульманство), относится к оказанию помощи нуждающимся как к родовому долгу. Люди, которым в жизни не повезло, или старики, которые уже не могут содержать себя, живут на счет общины. Однако это касается исключительно членов одного и того же рода — чужие не имеют никаких прав на получение помощи, кроме традиционного гостеприимства, которым можно пользоваться, но которым не следует злоупотреблять.

В богатых странах родовую солидарность заменили системой социальной солидарности, выдавая пособия безработным, выплачивая пенсии старикам, обеспечивая всем дешевое или бесплатное лечение. Это, однако, не благотворительность. Все эти услуги оплачивают граждане, платя налоги и более или менее добровольные взносы. Граждане обязывают

государство управлять собранными средствами и справедливо их распределять. Но эта система, в целом успешная, ничего общего не имеет с филантропией.

Филантроп — человек, который добровольно делится с нуждающимся. Современная филантропия нередко оперирует огромными фондами, раздает по всему земному шару дары стоимостью в миллионы долларов. Чтобы справиться с возникающими при этом задачами, созданы мощные организации, располагающие сотнями специалистов по транспортировке, селекции потребностей, оказанию медицинской помощи, распределению даров между нуждающимися в помощи отдельными людьми или целыми социальными либо этническими группами.

Всегда ли эти дары доходят туда, куда должны дойти?

За десятки лет работы в странах Третьего мира у меня было немало случаев убедиться в том, как трудно осуществить честное распределение и надлежащее использование даров. И как часто они вообще не доходили или только частично доходили к тем, кому были предназначены.

В 1968 году я работал в Дагомее (теперь Республика Бенин). В соседней Нигерии тогда разразилась жестокая братоубийственная война с Биафрой, которая под водительством генерала Оджукву объявила независимость и отделилась от Нигерии.

Был момент, когда совесть всего мира была потрясена трагической судьбой биафрских детей. Блокада Биафры вызвала в стране голод, который прежде всего отразился на ее самых младших гражданах. Печать, радио и телевидение реалистическими описаниями страданий тысяч людей вызвали благородный порыв солидарности зажиточных обществ, которые отправляли в Биафру тысячи тонн продовольствия.

Поскольку биафрские порты были блокированы, все эти дары сгружались в Котону, столице Дагомеи. Затем с помощью наемных двухмоторных «дугласов», под обстрелом нигерийской противовоздушной артиллерии, каждую ночь велась переброска по воздуху продовольствия в отрезанную, голодающую страну. Надо воздать должное храбрости и героизму летчиков — добровольцев самых разных национальностей, которые до последней минуты, то есть до падения Биафры, поддерживали ночную связь с этой страной.

Если взять только эту сторону, акция выглядит и нужной и успешной. Но было одно явление, казавшееся мне ненормальным. Котону наполнилось толпой всяческих людей с повязками Красного Креста или другими значками в петлице. Эти люди заняли все номера в лучших гостиницах города, целые дни проводили на великолепном океанском пляже, в барах и ресторанах с кондиционированным воздухом, скупали бесчисленные подлинные и неподлинные африканские фетиши и статуэтки, разложенные продавцами-неграми на тротуарах перед гостиницами. Никакой иной деятельности в этой толпе филантропов я не приметил. А было их столько, что предпринимателю, который до тех пор из-за нехватки средств не мог закончить строительство большой современной роскошной гостиницы, тут же предоставили кредит (из чьих денег, мне установить не удалось). Благодаря филантропической акции несения помощи Биафре он смог быстро завершить строительство отеля и сдать (задорого) все номера людям, которые приехали, чтобы организовать доставку продовольствия в голодающую Биафру.

Позднее я не раз наблюдал нашествие разных людей, часто одних и тех же, на места, где произошла катастрофа. У меня создалось впечатление, что в мире существует хорошо размещенная по разным учреждениям целая группа профессиональных филантропов.

Когда Конго (ныне Заир) обретало независимость, жестокие братоубийственные войны и полный распад колониальной администрации привели к тому, что населению целых областей страны грозила голодная смерть. Чтобы предотвратить бедствие, Соединенные Штаты отправили в Конго тысячи тонн муки, риса, сахара и порошкового молока. Все эти продукты очень быстро оказались на рынках и в магазинах городов и поселков, где ими торговали, разумеется, по спекулятивным ценам. Секретом полишинеля был тот факт, что организованные воровские шайки перехватывали целые контейнеры товаров между портом выгрузки в Матади и лежащим в 300 км от него Леопольдвилем. Впрочем, то, что оставалось, новые владыки республики делили между своими родственниками и приближенными.

В конце 70-х годов я работал на севере Заира, где руководил большой, на несколько сот коек, больницей при пальмовой плантации. Однажды ко мне пришел о. Ян Бос,

возглавлявший католическую миссию в этой части страны, и спросил, не нуждается ли моя больница в порошковом молоке. Я ответил, что, конечно, нуждается, поскольку мы лечим сотни истощенных недоеданием детей, и, хотя порошковое молоко у меня есть, запас его всегда пригодится.

— Отлично, — сказал отец Ян, — я могу тебе дать четыре тонны! — И объяснил, почему он намерен такое количество порошкового молока, дар какой-то голландской католической организации, предназначенный для заирских детей школьного возраста, предоставить для распределения мне.

Банки с молоком прибыли в Кинсагани, центр юго-восточной провинции. Местные миссионеры, как было указано дарителями, начали выдавать молоко школам. На следующий день банки с молоком появились на всех базарах и во всех магазинах Кинсагани. Ни один школьник молока не получил!

В моем же распоряжении была отлично контролируемая служба здравоохранения, и благодаря этому я мог быть уверен, что наши дети как в больнице, так и в местных школах получают молоко.

Коррупция в странах Третьего мира огромна. К ней часто прибавляются социальные и этнические конфликты. Все это невероятно удлиняет путь от дарителя до того, кому он предназначил дары.

Одним из самых абсурдных примеров перехвата миллионов долларов, предназначенных для голодающего населения Эфиопии, была пресловутая переселенческая акция, осуществленная правительством Менгисту. Огромное большинство притекавших со всего мира долларов было истрачено на то, чтобы вывезти сотни тысяч голодающих из местностей, охваченных гражданской войной. Но при этом руководствовались отнюдь не гуманными побуждениями — просто решили убрать с этих территорий население, которое поддерживало повстанцев. В конечном счете западная филантропия стала дополнительной причиной смерти тысяч людей, которые погибли от бесчеловечных условий во время депортации и по прибытии на место — в неизвестные им, неблагоустроенные области Эфиопии.

Это преступление публично разоблачила организация «Врачи без границ», за что ее представителей выслали из Эфиопии.

Бывают и такие обстоятельства, в которых объективная оценка порывов сердца и их эффективности необычайно трудна. В ряде случаев можно усомниться, не совершает ли даритель ошибки, поддерживая, казалось бы, возвышенные цели.

Такой характер носит, например, проблема больных проказой — болезнью, распространенной на больших пространствах Африки и Азии.

Каждый год под эгидой Всемирной организации здравоохранения проводится Международный день прокаженных. Во всем мире собирают средства в пользу лепрозориев, действующих во многих странах. Международный день становится поводом дипломатических встреч, во время которых представители правительства данной страны и дипкорпуса посещают заранее подготовленную к этому визиту деревню прокаженных, преподносят больным всяческие подарки. Кончается это обычно дипломатическим приемом с более или менее обильными возлияниями.

Но сегодня проказа поддается излечению, и каждый прокаженный, вовремя подвергнутый лечению, может прекрасно жить в своей обычной среде, в кругу семьи, ни для кого не представляя никакой опасности.

Я много лет возглавлял больницы при пальмовой плантации. Среди рабочих плантации было много прокаженных, которые лечились амбулаторно. Раз в неделю они являлись в ближайший медпункт плантации, где получали соответствующую дозу лекарства. Правда, такое лечение тянулось годами, но позволяло больным вести совершенно нормальную жизнь.

Целесообразность сохранения старых центров, созданных, когда еще не были известны эффективные лекарства от проказы, и открытия новых сегодня весьма оспаривается.

В Того прокаженные и их семьи (поскольку в лепрозориях вместе с прокаженными поселяются их жены, дети и разнообразные родственники), которые находятся на содержании католических миссий, различных благотворительных организаций и, конечно, пользуются также бюджетными фондами министерства здравоохранения и манной, падающей с неба в их Международный день, отлично привыкли жить на дармовщину. В лепрозории у них не просто крыша над головой, но их жилища зачастую построены куда основатель-

ней, чем в их родном селении. Ничего удивительного, если излечившиеся не хотят покинуть лепрозорий. Они считают себя привилегированным слоем, и в 60-е годы, когда я работал в этой стране, прокаженные представляли собой политическую силу, с которой правительство президента Эйадема должно было считаться.

Так не лучше ли миллионы, собираемые на лепрозории, использовать на более раннее обнаружение болезни, на ее лечение, в большинстве случаев амбулаторное, и на помощь излеченным в адаптации к жизни в их естественной среде.

За многие годы работы в Африке я встречался с представителями бесчисленных организаций, цель которых — нести помощь «развивающимся странам». В лексике международных организаций используется этот термин, а не «недоразвитая страна», ввиду обидчивости представителей Третьего мира. Президент Заира Мобуту предлагал определение «недооснащенная страна» (*pays sous-équipé*).

За годы работы в Африке я встретил многих учителей из ЮНЕСКО, работавших в чрезвычайно тяжелых условиях. Врачи и медсестры Всемирной организации здравоохранения, часто рискуя собственной жизнью, несли медицинскую помощь населению в самых глухих уголках Африки. Я познакомился с агрономами из OXFAM'a, вводившими в глубине черного материка новые, более рентабельные и более экологически чистые методы сельского хозяйства. Европейский Общий рынок помогал населению в организации сельскохозяйственных кооперативов в труднодоступных районах экваториальных джунглей. У меня перед глазами стоит фигура молодого бельгийского ветеринара из ФАО, который целыми годами с неслабнувшим энтузиазмом объяснял фермерам северного Бенина, что, используя волов как тягловую силу, они увеличат производство хлопка. Многие «добровольцы прогресса» — молодые французы, немцы, швейцарцы, американцы из «Корпуса мира» — работали с необычайной самоотверженностью, помогая местному населению в поисках новых путей развития.

Существуют, однако, организации, которые, глася высокопарные лозунги и апеллируя к сердцам и кошелькам соотечественников, отнюдь не дают гарантий, что полученные

ими средства действительно попадут к тем, кому они предназначены.

Глядя однажды вечернюю телевизионную программу в Квебеке, я обратил внимание на появившиеся на экране виды Африки. Поскольку большую часть своей жизни я провел на этом континенте, я стал внимательно смотреть передачу, в которой восхвалялись заслуги американской организации «*Vision mondiale*» в оказании помощи Мозамбику. На фоне африканского пейзажа красивая молодая женщина, одетая так, как обычно одеты актеры в кинофильмах об охоте в Африке, но как на самом деле никто из там живущих не одевается, вместе с мозамбикским врачом описывала тяжелое положение тамошних детей и помощь, которую оказывает им «*Vision mondiale*». Передача тянулась около часа, и к канадским сердцам был обращен призыв: за 25 долларов в месяц взять под свою опеку ребенка в одной из стран Третьего мира. Благодаря этим 25 долларам ребенку будет обеспечен полный курс школьного обучения, что откроет ему путь к работе и благосостоянию. Опекун при этом раз в месяц будет получать собственноручное письмо, а время от времени — фотографию подопечного.

Я смотрел передачу, и у меня складывалось впечатление, что форма этого «спонсорства» что-то уж слишком проста. Я знаю африканские условия и знаю, что путь этих 25 долларов от Канады до африканской деревни долог и сложен. Во многих странах импорт валюты запрещен, а в других ее полагается обменять в банке по официальному курсу, и тогда 25 долларов превращаются в один, если не меньше! Почта в Африке часто работает кое-как — письма и денежные переводы пропадают. Если деньги и дойдут до места жительства взятого под опеку ребенка, они могут быть забраны его семьей, а то и просто украдены. Наконец, в сельской общине один привилегированный ребенок станет предметом зависти других и несомненной причиной конфликтов. Да и кто будет выбирать этого ребенка — и на каких основаниях. По моему африканскому опыту, поступившие деньги, вне сомнения, оказались бы в кармане или кубышке деревенского племенного вождя.

Могу себе представить, какую сложную организационную сеть пришлось бы создать, чтобы осуществить это начинание. А значит, за время моей работы в Африке мне неизбежно

встретились бы сотни сотрудников «Vision mondiale», получивших особые права и полномочия, распределяющих по негритянским деревням деньги, собирающих письма и делающих фотографии взятых под опеку детей (я ни разу не видал в африканских деревушках мастерской фотографа), чтобы доставить снимки канадским опекунам. Между тем, за четверть века работы в разных странах Третьего мира я нигде не столкнулся с названием «Vision mondiale»!

Поэтому я позвонил по номеру, который время от времени появлялся на экране, и вскоре — а был уже час ночи — услышал в трубке мелодичный голос представительницы «Vision mondiale». Я сказал, что пока не намерен записываться в число дарителей, но хотел бы получить информацию о том, как у них организована работа. А именно: в каких странах Африки «Vision» работает, какова система передачи денег, как и кто производит отбор детей и по каким принципам. Кто проверяет, что собранные деньги попадают в надлежащие руки и тратятся в согласии с тем, на что предназначены.

Мелодичный голос сообщил мне, что принадлежит новой сотруднице и не может ответить на мои вопросы, но сию минуту позовет кого-то, кто во всем этом хорошо разбирается. И действительно, новый мелодичный голос вежливо спросил меня, что я хотел бы узнать. Когда я повторил вопросы, новая дама в телефоне объявила мне, что «Vision» работает во многих странах Африки, в том числе в Заире. Отлично зная эту страну, я знал, что осуществить там выдачу подобного ежемесячного пособия совершенно невозможно. Дальше моя собеседница сказала, что у нее больше нет времени разговаривать со мной, но что она вышлет мне документацию, где я, безусловно, найду ответ на все свои вопросы.

Действительно, через несколько дней я получил пачку документов относительно «Vision mondiale». Это был материал рекламного характера, напечатанный на прекрасной бумаге, украшенный цветными снимками, подчеркивающими полезность этого товарищества, действующего во всех уголках земного шара. Я ознакомился с историей «Vision» от возникновения до настоящего момента, узнал, что оно носит характер христианского объединения и что его штаб-квартира находится в Лос-Анжелесе.

Но на свой вопрос, каким образом заирский ребенок, живущий в далекой деревне провинции Бандунду, будет ежемесячно получать 25 долларов, притом в течение многих лет подряд, ответа я не получил. Зато я по-прежнему был уверен, что расходы на пропагандистские телефильмы (и почему для фильма был выбран именно коммунистический Мозамбик) и роскошные рекламные издания должны поглощать немалую долю этих 25 долларов.

По-видимому, не я один обращался с такими вопросами, потому что недавно я снова смотрел по телевидению аналогичный фильм, и в нем уже объясняли, что распределение ежемесячных 25 долларов в Африке действительно натолкнулось на трудности. Поэтому организация изменила свою политику и отныне расходует деньги на различные проекты снабжения водой населения в страдающем хронической засухой Сахеле (страны к югу от Сахары).

В любом случае тысячи людей, убежденных, что помогают бедным детям выйти в будущем с помощью школы на путь лучшей жизни, не знали, что их деньги тратились не на это. Может быть, с успешными результатами, может быть, нет: ни о какой объективной оценке деятельности «*Vision mondiale*» мне слышать не приходилось.

Однако случалось мне столкнуться и с совершенно наглыми попытками вытянуть деньги у наивных, добросердечных людей.

В 70-е годы по бельгийскому телевидению время от времени показывали рисунок: две скрещенные черные ладони. Под ними подпись: «Дайте этим рукам работать!» — и номер счета, на который следует направлять деньги. Голос, наложенный на рисунок, говорил, что в Африке много рабочих рук, но нет инструментов и станков. А значит, давайте покупать инструменты и станки и посылать их в Африку. Так мы дадим работу этим «сложенным рукам».

Вскоре мой сын, учившийся тогда в Лилльском университете, в северной Франции, рассказал мне следующее происшествие. К группе студентов, пивших кофе на террасе кафе, подошел молодой человек, только что запарковавший новый «порш». В ходе разговора владелец «порша» узнал, что мой сын знает Африку и даже говорит на некоторых африканских наречиях. Тогда он предложил моему Петру работу.

Он заявил, что представляет те самые «сложенные руки», что филантропия — весьма прибыльное дело и что ему как раз нужен человек, который знает Африку и хотел бы по ней поездить. Разумеется, за хорошее жалование. Его очень удивил решительный отказ моего сына.

В мое следующее пребывание в Брюсселе рисунок с ладонями больше не появлялся на экране телевизора.

Забавным примером «выжимания даров» было использование обычного климатического явления для попытки пополнить казну в Дагомее.

Устье реки Моно разливается широкой лагуной, получившей название Гран-Попо от одноименного поселка, расположенного на ее берегу. Узкий пролив соединяет лагуну с океаном. В сухое время пролив постепенно заиливается, закрывая выход воды в Атлантический океан. В сезон дождей выпадающие в лагуну воды поднявшейся реки Моно повышают ее уровень на несколько метров. Тогда хватило бы нескольких ударов лопаты, чтобы открыть заиленный пролив и быстро снизить уровень воды в лагуне.

Это все верно, но именно тогда, когда вода стоит высоко, в лагуну вместе с водами реки Моно приплывает неимоверное количество рыбы и наступает время наибольших уловов. Окрестные жители не придают большого значения тому, что их хижины несколько недель стоят под водой. Все радостно ловят рыбу, а когда ее наконец начинает не хватать, великий колдун «вуду» (в здешних местах — колыбель этой секты), изучив звездное небо и фазы луны, отдает приказ прокопать канал и соединить лагуну с океаном. Это вдобавок дает повод для ночных плясок на пляже, освещенном серебристым лунным сиянием. Такая процедура повторяется из года в год с незапамятных времен.

В конце 60-х годов президент Дагомеи генерал Согло постановил использовать затопленные прибрежные деревни для притока средств в государственную казну. Весь дипкорпус был приглашен осмотреть залитую наводнением округу, после чего правительство обратилось с просьбой о помощи рыбакам, пострадавшим от этого стихийного бедствия. Я в те времена часто бывал в Гран-Попо, поскольку проводил в этой части страны ряд исследований по организационному улучшению сельской службы здравоохранения. Поэтому у меня

было много друзей среди рыбаков, и я с улыбкой слушал их рассказы о моторных лодках, на которых было полным-полно «йово» (белых): они заглядывали в хижины и качали головами, видя, сколько воды в домах. Рыбаки Гран-Попо были очень встревожены этим посещением, боясь, что власти прикажут им открыть выход из лагуны уже сейчас, когда улов еще хорош.

Сколько дипломатов поддалось на эту удочку, не знаю. Знаю только, что потом никто больше не наносил визитов рыбакам Гран-Попо.

Последняя форма филантропии, которая заслуживает внимания, — это филантропия, которую я назвал бы «политической».

Мы сейчас переживаем увлекательную эпоху крушения коммунизма во всем мире. Если в некоторых странах расставание с этой системой прошло быстро и успешно (ГДР, Чехо-Словакия, Венгрия), то достижение демократических свобод в Польше потребовало многих лет борьбы и страданий. Но если бы в Восточной Европе не возник феномен Валенсы, то наверняка не было бы ни *перестройки*, ни *гласности*.

Запад принял демократизацию Востока с недоверием, быстро преобразившимся в некритический энтузиазм. Ум и исключительные личные данные Горбачева привели к тому, что все страны НАТО видели в нем единственную гарантию демократизации Советского Союза, а тем самым — окончания холодной войны.

Но большинство западных средств массовой информации слабо ориентировалось в существе перемен в СССР и не вполне отдавало себе отчет в соотношении различных конфликтующих политических сил в этой части свега. Чтобы не забивать себе голову трудным анализом перемен, происходящих в этом гигантском государстве, решили, что на доброго и дружелюбного «Горби» со всех сторон нападают силы, враждебные *перестройке* и ее творцу. И главным лозунгом Запада в течение нескольких последних лет стал призыв помогать Горбачеву. Посылать ему продовольствие, давать деньги, много денег, чтобы враги его не спихнули, используя для этой цели советские массы, дестабилизированные вечной нехваткой и растущими трудностями повседневной жизни. И вот катят в Москву целые поезда разных западных продуктов,

а валютные кредиты текут в пустые кассы советских банков. Но мы, вероятно, никогда не узнаем, дойдет ли действительно до нуждающихся все, что Запад посылает в СССР.

«Политическая» филантропия в конечном счете рассчитана на то, чтобы принести выгоду самому филантропу. Поэтому ее трудно включить в число подлинно благотворительных деяний, идущих от сердца. Хотя, конечно, наполненные продуктами и одеждой картонки, отправлявшиеся из Швейцарии, о которых я упомянул в начале статьи, — это все-таки естественный порыв людей, неравнодушных к чужому несчастью. Но тот факт, что швейцарцы отправляют посылки именно в Москву, — конечно, результат воздействия средств массовой информации. Тем не менее этот порыв солидарности со страдающими людьми остается глубоко человеческим и благородным.

Под конец моих размышлений еще одна вещь не вызывает у меня сомнений. То, что филантропия имеет множество разных аспектов и что нередко тот, кому предназначены дары, ничего не получает, а выгода достается либо самому дарителю, либо цепочке не всегда честных посредников.

А как сделать, чтобы филантропия была действительно эффективной, чтобы дары не пропадали впустую, чтобы наибольшую выгоду от них получали нуждающиеся?

Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Однако думаю, что перед лицом необычайной усложненности современной жизни любая благотворительная деятельность должна подчиняться строгому контролю и управлению. Мне кажется, что большую роль в этой области должны играть средства массовой информации, но при условии, что руководствоваться они будут скорее кригическим чувством, чем наивным энтузиазмом. Тогда тот благородный сердечный порыв, каковым является филантропия, перестанет использоваться бесчисленными профессиональными филантропами, слишком часто паразитирующими на человеческом горе.

ОРУ Ян — польский эмигрант старшего поколения, в настоящее время живет в Канаде. Польский оригинал настоящей статьи напечатан в мартовском номере парижской «Культуры» за 1991 год.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Юрий Цехновицер

ДНЕВНИК БЕЗ ИМЕН И ЧИСЕЛ

Разрозненные мысли о нашем городе

Издаലെка падо начинаць «О городе», и вместе с тем в историю вторгается что-то неоспоримо сегодняшнее, злободневное, сиюминутное. Невозможно все в этом вопросе разложить по полкам. Вот и сюда свалим все «Петровское», а сюда «Николаевское», а тут вот нагромоздим «современное».

Мы живем одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в выдуманном, и в реальности. Вопрос становится еще более запутанным оттого, что не ясно, что было, а что падено на это прошлое потом, в виде истории, пост-истории или псевдонаучной легенды. Так что все пропитано субъективизмом, личным восприятием, зыбкостью и фантазмагоричностью происходящего.

Да и падо ли распутывать этот клубок неверояпностей, под силу ли нам такие задачи? Наверное, нужно смириться с субъективизмом или с чем-то в этом роде. От того, что уже случилось, деваться совершенно некуда. Но какая-то преемственность происходящего, искусственная или естественная, трудно сказать, в некоторых случаях и такая, и иная, существует.

Я вот считаю, что мне поразительно повезло. Так как царь Петр, не пробившись на юге к Черному морю, не найдя выход к торговым путям, стал сражаться на севере со шведами и отвоевал эту землю, что было для России феноменальной удачей.

Я стою на той точке зрения, что если бы не Петр I, которого сейчас все русофилы хулят как поругателя настоящего русского духа, то Россию бы колонизовали или литовцы, или шведы, или немцы. И она превратилась бы в этакую Индию на многие столетия, а может быть, и навсегда. Гений Петра в том и заключался, что он рубил это окно или дверь,

как вам угодно, в этом замкнутом царстве, душном, спертом, с перегаром, с длинными рукавами и немытыми погами. Он впустил в застойную (модный термин) Азию что-то новое, обнадеживающее и светлос. Ну, не очень оно тогда было светлое, но только в сравнении с достаточно светлыми идеалами Европы. Возьмите се гуманитарный дух, христианство, которое здесь, у нас, превратилось в некое «православие».

Вообще Россия была всегда под двумя влияниями. С одной стороны — азиатский ход, причем очень сильный, почвенный, тот, что гнездится тут во всех лесах, этих бесконечных болотах, камнях и горах. А с другой стороны — искусственная отдушина, если так можно выразиться, в цивилизованное общество, которую Петр всячески пытался расширить. И в общем, конечно, все это делалось только насильно. Здесь и инертность русского человека, и окаменевшее многовековое рабство, которое у нас тут продержалось фактически до наших дней включительно. А потом было возобновлено в какой-то новой форме где-то начиная с 28-го года введением принудиловки колхозов и «Архипелага» со всеми его ужасами. Это все тоже исконное рабство, то есть непроизводительный подневольный труд со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если посмотреть старые русские города Золотого кольца, то видно, что все они имеют совершенно одинаковое центрически-хаотическое построение. Обычно это старая крепость, вокруг которой и образуется город. Он выходит, выплескивается за се стены, обрастает домиками, палисадами. Это ядрышко с распространяющимися вокруг него слободками, потом сливающимися в одно целое — очень хаотическую застройку, как правило, разношерстную и разномасштабную. И в этом хаосе свои вкусные, красивые куски, улицы, переулочки. На ум приходит этакая как бы потешная маленькая Москва с такими толстыми колонками — «боровичками». Крепкие купеческие домики, в один этаж, но каменные, с толщиной стен метр и более.

Известна история о том, что Аристотель Фиораванти, когда уезжал из Италии строить Кремль, побывал у Леонардо да Винчи, который сделал знаменитый набросок Спасской башни. Леонардо этот эскиз подарил Фиораванти. Последний, надо сказать, блестяще его развил. Гений Леонардо в

тсм и заключался, чтобы давать какие-то посылы, пробивать какие-то коридоры во времени. И этот эскиз его — наглядный тому пример, а другие башни Кремля — это варианты, в сущности, на ту же тему. Кирпичный крепостной низ, который выше развивается уже в белом камне и где средневековые ажурные переходы в остро нарисованные шпили с орлами, а потом с рубиновыми звездами. Вот и получилась «русская национальная средневековая архитектура», которая так удалась этим иностранцам и связала, или, точнее, завязала весь центр Москвы. Ведь на ней все и держится. До сих пор. Остальное вокруг этого ядра только происходит, крутится.

Петербургу же в этом смысле, как и мне, безумно повезло. Как, пожалуй, ни одному городу Европы. Потому что он был создан в страшно короткий период времени. Таким быстрым ростом, пожалуй, ни один город не может похвастаться. Париж столетиями строился, кардинально переделывался, а потом воссоздавался — и все это фактически тысячу лет. Рим, я уже не говорю, тут несколько тысяч лет. А Лондон, между прочим, ведь там от римлян еще все начинается. Первое поселение — начало эры. В общем, колоссальный пласт времени. И того единства, которое есть в Петербурге, того единого замысла, который еще Леблон вместе с Петром заложил при основании города, это, конечно, в начале XVIII века нигде в мире не было так быстро реализовано. И нужно сказать, что, несмотря на всякие последующие влияния — буржуазные начала века, потом обширный советский вандализм, — первоначальная идея, она в Петербурге, к счастью, все-таки сохранилась, так сказать, дотянула до наших дней. Все-таки и до конца «смутного» времени нашего ее изничтожить не удалось, только обкарпачить. Ну там засыпать часть каналов, снести в основном церкви, ограды, ворота, верстовые столбы.

А в чем же была главная идея? Ведь Петр хотел назвать город не Петербург, а Парадиз, то есть Райский город, город счастья, город мечты. И это первое название Петербурга ведь очень символично. Райский город, сказочный город, напоминающий сон в белую ночь. Или, точнее, явь и сон, реальность и мечту, бытие и небытие.

Вместо улиц здесь должны были свегиться каналы, почти везде, во всей дельте Невы. Это было несложно сделать. Так хотел великий царь, так он мечтал, грезил наяву.

Другое дело, что у него помощники были и малограмотные, и вороватые. Уж таковы реалии этой гигантской страны. Ну разокрали там все, что плохо лежало, а лежало, точнее, валялось здесь все. Ну там расхитили, не могли удержаться, или утопили в грязи и болотах, или затоптали лаптями и огромными голыми, грязными пятками. А первая-то идея была блистательная. Во-первых, у дельты Невы бесчисленные рукава, по которым она вытекает в Маркизову лужу. Леблон потому и строил так, что рукава уже как бы были, от Бога, естественные протоки. А кольцевые каналы оставалось ташистски доделать.

Например, Васильевский остров. Ведь его линии — это бывшие каналы, которые были вырыты еще при Петре. В них заходили суда, с которых здесь велась разгрузка прямо в дома — склады, которые строились вдоль этих линий — причалов. Поэтому каждая сторона улицы называлась своим номером, чтобы не спутали и не выгрузились в чужой склад. А чем еще нумерацию линий Васильевского острова можно объяснить? Только этим. Чтобы не было путаницы. Куда ни помотришь — лес мачт и парусов. Да, это была совершенно феерическая картина, которая витает в воздухе еще и сегодня.

Но, к сожалению, всем этим командовал вор и мздоимец Меншиков. И несмотря на то, что Ньютон лично принял его в члены Британской Академии. Несмотря на все это, то есть редкие способности, он был и остался безграмотным мужиком. Академик, который не мог ни писать, ни читать. Но хитростью, педюжинным соображением и звериной интуицией обладал в избытке. Это обычный, я бы сказал, типичный русский человек. Он смекалист, но знаний нет. Он и дерзок, и самоотвержен, и вместе с тем вороват.

Ну да все это мир знал, что фельдмаршал — наибольший большой вор среди воров. Очень может быть, что вороватость его и привела к смерти государя. Есть такая распространенная гипотеза, что Петр-то был отравлен, а не умер от воспаления легких. Причем отравлен он мог быть, наверное, Меншиковым, который действовал, вероятно, вместе с Екатериной. Многолетние любовники. Петр Екатерину у Менши-

кова просто отнял. А незадолго до своей смерти Петр учредил должность главного ябедника-фискала государства. Это нынешний главный прокурор по уровню и влиянию. И через некоторое время тот якобы явился на прием и спросил: до какого чина можно дела-то расследовать? А Петр, дескать, сказал: «До самого верха. Если бы я что-нибудь украл, то меня надо было бы казнить». И эта фраза, по-видимому, дошла до ушей его первого министра. И тот понял, что тут битьем палкой не обойдется. Может, это и послужило причиной заговора. Потому что симптомы смерти царя были совсем не те, что обычно бывают при воспалении легких. Какие-то судороги, окраска белков, рвота. Это все очень похоже на отравление мышьяком.

Но мы несколько забегаем вперед. Хотя это любопытный эпизод, который бросает свою тень на многое, что тут в Питере происходило и происходит. На него надо смотреть под тем углом, что насильственно это все было сделано царем для своей страны. Сын Петра, которого он так нещадно казнил, по существу ведь был прав. Это все были искусственно привитые и не прижившиеся здесь вещи. Нельзя английские какие-то или шведское и голландское законодательства, денежную систему, весь уклад автоматически переносить в Россию. Хотя и очень хочется. Причем этот зуд дошел ведь и до наших дней.

Заметьте, что после смерти Петра все очень быстро покатилося назад. Все его преобразования в одночасье свелись к нулю. Через какие-то там пару лет все вернулось на круги своя. И только Екатерина II, надо отдать ей должное, хотя и немка была по духу своему, а может, потому-то и доделала недоделанное, но опять же по-немецки. По всему видно, что баба была злая. Она мне интересна тем, что так же, как и Петр, но более осторожно, менее кроваво и более мягко, как бы по-кошачьи, пыталась привить здесь нечто европейское, нечто от мировой цивилизации. Возможностей у нее было гораздо больше, но на трясине российской жизни построить что-либо путное было мудрено, она затягивала в трясику повседневности все без разбора: и хорошее, и плохое, и наше, и ваше.

Но Петербургу все равно несказанно повезло еще по одной очень важной причине, которая от этих высоких персон в

чем-то все-таки зависила, а в чем-то и нет. Просто это было, наверно, стечение обстоятельств. Или более высокопарно — рок.

В Европе тогда — и в Париже, и в Лондоне — уже существовали и архитектурные и художественные академии. Как и любая академия, она очень быстро превращалась в некое ретроградное объединение, во главе которого вечно сидели люди маститые. Их главная «художественная идея» заключалась в том, чтобы не пускать никого за этот замечательный стол пиршеств, за которым они-то сами, и только они, бессменно пировали и где красовался денежный пирог заказов, принесенный монархом или государством. Пирог делился между очень узким кругом лиц. А остальные ходили в учениках около сего стола или даже под ним всю свою жизнь или, как говорится, до глубокой старости. И где-то там уже совсем на исходе дней своих, может быть, кое-кого, самых верных и самых послушных, подпускали к пирогу больших заказов, если судьбе их было это угодно.

И вот так сложилось, что Петербург, который был в это время окраиной, даже можно сказать, краем света, где-то там утопающим в снегах, куда и ехать-то надо было несколько месяцев на перекладных по чудовищному бездорожью, он-то и был тем местом, куда бежали непутевые, непослушные, «непризнанные гении».

А ведь в жизни очень важен этот человеческий потенциал, эта взведенная пружина. Может, кто-то из них был и не очень-то гений, но многие были действительно талантливы, просто их не подпускали к большим делам, крупным стройкам. Каждый ведь знает, кто чего стоит, лев он или мышь. В каждом из нас сидит некая биологическая шкала ценностей. Если вы действительно, на самом деле, для самого себя уверены, что вы гениальны, то вы гениальны. Что делать? Надо реализовываться, кто и как сможет. Надо уметь слушать голос своей судьбы или шорохи ускользающего.

И вот эти молодые люди, которые в Европе просто бы сгнили, бежали в «страну обетованную», в эту «таинственную» Россию, где им давали работу, давали проявить себя. И они ехали, эти Трезини и Растрелли, Кваренги и Росси, талантливые люди, двигавшиеся с Запада на Восток. Такой же поток шел из провинции, с Урала, из глубинки — все в

Санкт-Петербург. Это Воронихины, Ломоносовы, Захаровы, Стасовы и многие, многие другие.

И так интернациональная обойма в этом величавом северном городе задавала тон, она тут создавала тот уникальный климат творчества, так сказать, высокий накал жизни. Эмигранты Запада ведь все учились в крупнейших центрах цивилизации. А тут, в Парадизе, они получали возможность воплотить свои идеи, по тем временам совершенно необычайные и новаторские — консервативного духа здесь в, так сказать, прикладной архитектуре совершенно не было. То есть он появился, конечно, но уже в конце XIX века, когда ампи́р переродился в классицизм, в чиновничью архитектуру, когда империя окаменела и всякое движение заморозил холод самодержавной власти. Все эти потоки перехлестнулись и в наш век, где модерн сгал бороться с казенным имперско-канцелярским стилем. Классика, такая живая в XVIII и XIX веке, изжила сама себя.

Я должен здесь упомянуть об еще одном важном обстоятельстве. Чтобы построить такой город за такой короткий срок, нужно было обобрать податями всю эту необъятную страну. И, между прочим, есть кое-какие архитектурные символы, которые это подчеркивают. Ну, например, шпиль Петропавловской крепости — самый высокий шпиль в России до самого Тихого океана. Охват! Как, скажем, для Америки — самая большая лампочка, сделанная там-то. Шпиль — высокое понятие, горизонталь и вертикаль — это символ Петербурга.

Сама тема шпиля — это совершенно особая тема. И в среднсвековые — особенно. В частности, мы были в Гданьске, в бывшем Данциге, там находится церковь Марьяцкая, Марии — Матери Иисуса посвященная, она самая большая по площади в Европе — 1 гектар. Это что-то чудовищное по размерам и для наших дней. 60 метров — высота центрального нефа. Но башня ее так и не завершена. На ней нет шпиля, хотя это сооружение строилось, как обычно средневековые соборы, несколько сотен лет. То есть больше, чем возраст нашего города. Но шпиль они так и не смогли сделать. Почему? Не то, чтобы пороху не хватило. Есть такой один замечательный роман английский. Называется он «Шпиль».

Блестящий роман о том, как создается шпиль. Шпиль — это духовный взлет, это не только преодоление силы тяжести, если хотите. Это то, чего и грекам-то не было дано. У греков ведь нет шпиля. В Риме он уже начинает появляться. А для средневековья как раз характерен этот прорыв, этот полет духа. Когда я учился, в 40—50-е годы, все средневековые объявлялось глубоко реакционным, окостеневшим, догматичным. Откуда они это взяли? Наверное, от себя. Нам преподносилось, будто это полный маразм человечества. Но сейчас у нас все это опять пересматривается, в который раз уже. У меня еще тогда было подозрение, что средневековые (в частности, в области строительства) — это был какой-то фантастический расцвет духа. Средневековые зодчие воплотили в камне что-то такое, что до них могло быть только в звуках, — феноменальный результат! Даже в области совершенно неведомого им сопромата. Причем это был сопромат не математический, а визуальный, который они чувствовали. Они интуитивно чувствовали камень и сосредоточивали его усилия по определенным линиям, которые и диктовали форму — нервюр, аркбутанов и так далее. И тут в Петербурге намечается некоторое противоречие. Потому что это снова классика, изменяющаяся, но все та же греческая классика. Рим, и потом она же в Возрожденной Италии. А потом это четвертое Великое ее прочтение — ампи́р, на базе которого и выстроена большая часть Петербурга. Но с петербургским ампи́ром дело ведь обогаяло очень сложно.

В городе есть здание, которое выстроено как точная копия итальянских образцов Ренессанса. Это мраморный дворец Ринальди. Но дело в том, что в Петербурге он весьма странно смотрится. Он здесь чужой. Если вы мимо как-нибудь пройдете, обратите внимание на как бы мертвую его массу. Каррарский мрамор вывезен прямо из Италии. Посмотрите, там ведь все профиля, весь его каменный фасад, тончайшая профилировка, порезки, все, все вывезено из Италии. Привезен сюда, совсем в другую среду. Все это было выполнено на необычайном уровне, можно сказать, совершенно. Поэтому дворец стоил феноменальных денег. Миллион рублей, тех, золотых, полноценных и настоящих, а зрительно чужд городу — комод. И еще одна фантастическая история, с ним связанная.

Дворец был подарен братьям Орловым Екатериной. В ответ на их бесценный подарок. А они ей подарили самый большой по тем временам бриллиант в мире, который был незаконно провезен в Россию. Причем церковь, которую один брат поставил в память о том брате, который провез этот самый бриллиант, — это Армянская церковь на Невском. Он был похищен из храмов Индии. При каких-то очень «отягчающих» обстоятельствах.

В то время вывоз из Индии предметов культового искусства контролировался Ганзейским союзом, фактически владевшим индийской торговлей. Похититель бриллианта подвергал себя смертельному риску. Если бы он на границе был уличен в воровстве, его ждала страшная участь. Жгли бы и мучили, и смерть была бы для него недоступным избавлением. И для того, чтобы провезти бриллиант, вор надрезал себе ляжку, вставил туда камень и ждал месяцы, чтобы все заросло. Таким образом перл перешел все границы. В России он снова разрезал ногу и извлек бриллиант, который в Петербурге и был преподнесен Екатерине и увенчал царский скипетр. Но эта интересная и драматическая история еще и символична — привнесение сюда, на берега Невы, чего-то сказочного, декоративного, восточного, авантюрного.

Екатерина дарит Орловым в ответ блистательный итальянский дворец, который как по волшебству перенесен на север из ароматов итальянского барокко. Самое поразительное, что алмаз этот и дворец — в Петербурге чуждые, волшебные, привнесенные, фантастичный дар. Почему? Ну, а непроходимые леса, болота, туман, бескрайние воды? А вся итальянская пластика камня рассчитана на яркое солнце. Профиля мелкие. Все должно быть очерчено контрастными тенями, сильными и резкими. В нашем же климате фактура каррарского мрамора просто не читается. И вот стынет на берегу Невы огромный комод. В цвете колонны чуть-чуть выявлены. Есть разница и в оттенках мрамора, и она рассчитана на прозрачный воздух юга, слепящее солнце, которое как бы высекает из камня фактуру рисунка и цвет. Здесь же все это безвозвратно пропало, растаяло, все свелось к мрачному, как бы глухому объему. Поэтому петербургский ампи́р — это такая раскра-

шенная штукатурная форма, которая только воспроизводит каменные объемы. А на самом деле она расплывчата, как окружающий ее воздух. Форма здесь должна быть выделена цветом. И цвет как бы лепит объем. Иначе объем не читается. Иначе все мешается и тонет в нашем тумане, и вы не можете прочесть эту пластику. Все здесь носит как бы искусственный характер — и здания, и набережные, и мосты. А когда они сделаны из местного камня — Казанский, Исаакиевский соборы, например, — это, как правило, производит мрачное, подавляющее впечатление. Взлета формы нет. Мрачноватые это все вещи в нашем традиционном климате, в наших сумерках, в наших зимах, в нашей графике.

Это какой-то реквием жизни. Поэтому Росси, несмотря на то, что по пластике он более декоративный и менее титаничный архитектор, лучше всех вписался в наш город и среду.

Его можно короновать как создателя петербургского ансамблевого стиля. Масштаб пространств, улетающие перспективы, протяженность, как бы затянувшаяся ритмическая гармония.

Но что чрезвычайно интересно в Петербурге — это барочные вещи петровского времени и более поздних архитекторов.

В частности, величие Растрелли. О, это особая тема — и более насыщенная, и более «галантная». Вполне уместным будет рассказать несколько страшных эпизодов из истории этих зданий.

Вообще-то в Петербурге десять произведений Варфоломея Растрелли. Ведь существовало целое художественное семейство Растрелли. Там был и Растрелли-архитектор, и Растрелли-скульптор. Я не буду говорить о Зимнем дворце, который всем известен, и который действительно дворец русского царя, и действительно по-настоящему зимний. Растрелли приписывается одна из лучших церквей — Спас на Сенной. Это не совсем точно установлено, но похоже, что это так. Она стояла на торговой площади. Это была знаменитая Успенская церковь. Еще на моем, что называется, веку ее злодейски уничтожили. Происходило это все при весьма, как теперь говорят, драматических обстоятельствах. Собственно поводом для взрыва было как бы строительство станции метро. Безусловно, это был только повод, который долгие годы внедрялся в сознание горожан. Под метро, казалось, можно было взор-

вать все: Биржу, Исаакий, тот же Зимний или Александровскую колонну — если бы они мешали строительству нашего метро. Потому что в нашей стране — все для нашего народа. А народ хотел ездить в метро. По каким-то таинственным, но легко угадываемым причинам именно на месте Успенской церкви было намечено строительство этой самой станции метро и выход подземного туннеля. Почему нельзя было сдвинуть его влево или вправо? Сейчас ответ на этот вопрос представляется совершенно неразрешимым. Ну вот они и решили, что только здесь должна быть станция метро, на месте этого величественного собора, правда, с переделанными несколько главками, которые просто нужно было восстановить по первоначальному проекту, вот и все.

А в это самое время «Сатана там правил бал». В городе самым генеральным генералом был первый секретарь обкома товарищ Толстиков. Он был знаменит многими своими обстоятельствами. Я считаю, что это была совершенно шварцевская фигура. Поэтому что какие-то, которые до моего слуха дошли... (Я не знаю, насколько это правда, сам я, как говорится, «не присутствовал» и «не участвовал», но я верю молве, потому что всю мою жизнь люди рассказывали в качестве анекдота то, что оказывалось абсолютной правдой. Чем злее был рассказ, тем большая это была правда. Ну, правда — вообще понятие относительное. Наверное, это то, что соответствует действительности, по этим понятием правда не исчерпывается).

Говорят, что где-то тут, на кладбище, кажется, на Волковском, была похоронена тетушка этого нашего первого секретаря — тетя самого товарища Толстикова. Он ее любил. А может быть, это была его, так сказать, Ахиллесова пята, но он часто о ней вспоминал в минуту жизни сентиментальную, не скажу трудную. И тогда подъезжала большая черная «Чайка», двое дюжих охранников поднимали крышку багажника, вынимали оттуда красную ковровую дорожку, намотанную на барабан и расстилали ее прямо под дождем, снегом и по грязи. Открывалась дверца, и товарищ Толстиков, маленький такой, кругленький, проходил по этой дорожке до самой могилы. Но самое, говорят, было интересное, когда он шел назад. Экономя время первого секретаря, охранники

сразу за семенившим «партайгеноссе» сматывали красную мокрую и грязную дорожку на барабан.

Он выбрал себе в качестве главного архитектора Каменского, с которым у меня, конечно, сложились на редкость показательно-отвратительные отношения. Он меня ненавидел еще со студенческой скамьи. По-видимому, многое несправедливо раздражало его во мне, и я его очень даже понимаю. В частности, когда «Орбиту» мне не давали строить, я привозил ему эскизы этого кафе на Большом проспекте Петроградской стороны, и он, посмотрев, каждый раз говорил, что это совершенно чудовищно. Это «американщина» какая-то, которая совершенно противоречит ленинградской школе. Надо все переделать! И я «переделывал» этот проект шесть раз.

Это все не имеет отношения к «научно-запроектированному» и «научно-выстроенному». Это была просто верность присяге. Я бы так это назвал. Когда вам что-либо приносят, вы смотрите и говорите: «Ну, вы, конечно, молодец. Вы работаете. Но надо переделать все это. Надо, чтобы здесь появился наш стиль, наше мировоззрение». Петербург он очень своеобразно понимал — как город великого Ленина.

Он-то и дал указание о взрыве бывшей Успенской церкви на Сенной площади. Причем общественность зашевелилась еще задолго до этого, хотя все было очень засекречено. Академики наши добрались до самой Фурцевой и «убедили» саму Фурцеву. Наверно, напугали: что-то скажут там, «за бугром». Ведь нельзя взрывать одно из десяти произведений Растрелли. Надо станцию метро немного сдвинуть куда-нибудь вправо или влево, вперед или назад. И сохранить эту уникальную церковь. И Фурцева наконец, как подлинная защитница культуры, дала Каменскому, то есть на его имя, как раз по линии культуры телеграмму: «Немедленно приостановить!» Или даже может быть: «Прекратить!» Как только Каменский получил ее, он тут же сделал вид, что он ее не получил. И в ту же ночь на бывшую Сенную, а теперь площадь Мира (парадокс какой-то) был вызван саперный батальон, который под покровом тьмы заложил в храме заряд, и в одночасье, как у нас было тогда принято, место сие все было оцеплено тройным оцеплением. чтобы никто не пострадал, или, скорее, не помешал,

или не пришел на помощь несчастному храму. Облака пыли — ну, это я видел сам — не оседали трое суток. А на другой день рано утром Каменский наконец получил телеграмму от Фурцевой. Да вот неудача — поздно!

Но парадокс-то заключается совсем в другом. На этом месте, кроме станции метро, собирались возвести некий билдинг «почти» американский, великолепную гостиницу для туристов или «интуристов», которая должна была подняться на тридцать или более этажей. Огромная высота по тем временам для Петербурга. И это слава Богу, что ее не построили.

А сейчас мы вернемся к шпилям, башням, и билдингам в их новейшей редакции. Интересно, что даже мой приятель архитектор Маслов взялся его проектировать. И там-то, по замыслу обкома и Ленпроекта, на развалинах, уже, конечно, утрамбованных и выровненных, и должны были жить иностранцы. В этом замечательном ультрасовременном сооружении, в этой поэме из стекла и стали.

В связи с этим мне вспоминается выступление в Союзе архитекторов такого архитектора — Нейтра, впервые приехавшего к нам в Союз из Филадельфии, и который очень интересный там прочитал доклад. Этот доклад, нужно сказать, произвел на меня тогда огромное впечатление. К несчастью, в этот день был какой-то решающий футбол, то ли по телевизору или даже, может быть, и в натуре. Наверное, на стадионе Кирова. И все архитекторы наши поехали на этот футбол. Поэтому в зале Союза было всего человек 20, которые пришли послушать знаменитого американского архитектора, как его называли, архитектора филадельфийских миллионеров, который к тому же был основателем направления «органическая архитектура». И в Баухаузе-то он учился. И чего он только не понастроил. В общем, это был один из столпов мировой архитектуры.

А он свое выступление построил очень оригинально. Как некую притчу. Он показывал слайды не только своих произведений, но и снятые, например, в Африке. Я не запомнил, какое племя там было, может быть, пигмеи или другие какие народы экваториальной Африки, впрочем, кажется — Эзулу. Но они очень своеобразную архитектуру делали. В виде термитников. Но что особенно поражало, свои термитники

они белили и на этом фоне рисовали американские небоскребы, наверно из журнала «Америка». Так Нейтра показал очень оригинальный способ приобщения диких народов к западной архитектуре.

А потом он сказал: «Ну, а теперь вы можете посмотреть заседание архитекторов племени... (ну, скажем, «ням-ням»)». И мы увидели слайд, где в круглой яме сидели пятками друг другу их архитекторы. Явно, что композиция была задумана таким образом, чтобы все пятки архитекторов соединялись в центре ямы. Там архитекторы только женщины, дело это, так сказать, семейное. Они как бы выют себе гнезда. И вот они сидели и обсуждали какие-то, то ли птичьи, то ли архитектурные проблемы. Но именно этот кадр произвел на меня неизгладимое впечатление. Я наконец-то понял, как нужно обсуждать такие проблемы. И что механически переносить какие-то вещи из совсем других миров в наш социалистический быт трудно. Но я считаю, что с этой «Орбитой» мне что-то все же сделать удалось. Я хоть ограничил сферу вторжения и не сделал такую вещь, которую собирались сделать наши корифеи — заменить взорванный собор 30-этажным вертикальным билдингом, который бы, наверное, «спорил» со шпилем Петропавловской крепости. А распластанные, текущие, асимметричные по своей композиции современные вещи у нас все же возможны. Но тут важна доза новации. Она должна быть подчинена сложившемуся в XIX веке характеру застройки.

Возьмите хотя бы опыт строительства так называемых «спальных» районов. Он ведь ужасен. К Петербургу это, честно говоря, никакого отношения просто не имеет. Это нечто совершенно античеловеческое. Особенно типовые дома 60-х годов, знаменитые «хрущевки». Я смотрю на них иногда и думаю: архитектура является все-таки одним из самых наглядных выразителей состояния всех общественных дел во всей стране. И я считаю, что номенклатурная советская власть наилучшим образом, так сказать, выдала себя с головой, проявилась именно в этих пятиэтажках.

Там есть все от настоящей слезы социализма. Есть полная угнетенность духа, некая духовная, что ли, ячеистость. Я где-то читал, что в Японии есть какие-то спальные капсулы. В них нет никакой мебели. Там есть только постель. Вы туда

залезаете на одну ночь. Они очень дешево стоят. Чтобы спать не в машине, не в мешке, а в доме. Но все в них сведено к минимуму-миниморуму. И те комнатки, которые созданы нашим могучим Ленпроектом, сделаны, собственно, именно по этому принципу. Внешне все обставлено как бы даже прилично. То есть можно поставить крошечный письменный стол. Мини-унитаз. Или, как говорят, горшок с ручкой вовнутрь, иногда в однокомнатных квартирах он совмещен с сидячей ванной, с краном наружу. И с кухней унитаза, по-моему, можно было бы тоже совместить! К этому и шло дело. Чтобы еще дешевле все было. Смотрите, ведь и сами японцы уже до крайности доходят. Ничего нету. А есть маленький гробик. Для спанья. Ведь и в нем можно выспаться. Это и их, и наш идеал. Японцы все доводят до своего предела. Поэтому нам за ними не угнаться. Но в области эстетики ничего более правдивого и придумать было нельзя, это самое яркое отражение нашего утилитарного времени.

Да, хрущевские пятиэтажки! Представьте, когда они рядами вытянулись на десятки километров и уходят вдаль, можно сказать, в бесконечность. Причем все они выстроены, как по рейсшине, в точку «схода» — это точка, куда сходятся все, в том числе и линии перспективы. Конечно, для Петербурга это была «находка». Счастье в том, что в центре Петербурга нет или почти нет этих домов.¹ Но власть все равно нашла способ сказать свое громкое: «Есть такая партия!» И все, что в центре Петербурга они могли разрушить, разрушили-таки.

Но одна из самых ужасных потерь — это исчезновение Троицко-Петровского собора, который стоял «как назло» на площади Революции. А это собор, который начали строить через четыре месяца после основания города. Сначала он был выполнен в дереве. Потом он горел. Его восстановили в камне в середине XVIII века. Но он выглядел так же, как и в дереве, сохранил свой план и не изменился по основным своим

¹ Например, сооружение на месте споровшего в революцию Литовского замка.

массам. В XVIII веке еще нашелся такой архитектор, который поступился своими амбициями и воссоздал то, что было выстроено при закладке города. Во второй раз этот собор горел уже в нашем веке, в 1913 году. И был проект перестроить его, создать некий могучий храм-символ.

И все-таки, пока не наступила Величайшая (хорошо не всемирная) Октябрьская социалистическая революция, у зодчих Петербурга нашлось мужество этот проект заменить и восстановить то, что было исторически уже сделано. Как некую святыню города, как первую церковь града Петра, которая еще на тонях здесь возникла. Ведь и Петропавловской крепости-то еще не было, когда сюда шли или ползли к Богу молить об удаче дела Петра. И все-таки этот собор был полностью разрушен после своего восстановления.

Реконструкция началась в 1924 году. А в 30-е годы он перестал существовать. А на этом месте была выстроена главная твердыня советской архитектуры — ЛЕНПРОЕКТ (последнее наименование — Ленинградский научно-исследовательский проектный институт).

Здесь-то и хочется привести окончание той истории, где действующие лица — Каменский, Растрелли и Успенский собор. Самое потрясающее в ней то, что в главном архитектурном управлении есть так называемый овальный зал, из которого или в который сходятся двери всех высоких кабинетов — нач. управления ГЛАВАПУ, его 5 или 6 заместителей, зам. замов и т.д. Это «святое место» Архитектуры находится на площади Ломоносова. А круглая площадь и овальный зал вслед за ней имеют несколько изогнутую форму. И там, в простенках между входами в кабинеты, в том числе главного архитектора, главного художника, главного заместителя, главного по благоустройству города, ну и других главных чиновников — повешены портреты выдающихся или самых-самых великих зодчих нашего города. Конечно, там есть и Растрелли, и Захаров, и Воронихин, и Кваренги. И среди этих гигантов весит такой же по размеру, хорошо не больше, портрет самого Каменского. Не знаю почему, но, наверное, он представлял собой тогда нечто самое характерное и выразительное в ленинградской архитектуре, этакий чиновный архитектор или архитектурный чиновник, то есть то, что и надо по мнению дорогого товарища Толстикова. Но что самое

поразительное, это то, что Каменского повесили рядом с Растрелли, которого он так безжалостно порушил. Что это — комедия или фарс, который перерастает в коммунальную драму? И вот они в течение многих лет висят волею судьбы рядом. Потрясающее и поучительное зрелище это было. И когда я дожидался в очереди к замку с просктом, можно было часами сравнивать физиогномику этих столь разных двух людей. У Каменского несколько заплывшее, обрюзгшее лицо, ничего не выражающее, самодовольное и как бы замкнутое на себе. Оно в чем-то напоминало эти бесконечные серые и унылые пятиэтажки, которые он и благословлял к безудержной привязке. Он-то и дал, но, конечно, не в одиночку, команду: типовые проекты — километрами. И чиновники, страшные, бессмысленные, тупо усердные, пришедшие в архитектуру (точнее — в застройку) на место великих мастеров. Совершенно другие люди. Из другого теста. И я, томительно дожидаясь очереди на прием к архитектурному дантисту, подавленный и уже несчастный. Я размышлял о том, что пути Господни неисповедимы. Как можно было соединить вместе такие вопиющие противоположности? Здесь завязался такой временной и событийный узел. И, конечно, приходят мысли о, может быть, навсегда ушедшей из нашей жизни красоте. Можно найти такой щемящий мотив, и, следуя за ним, вам захочется бродить по улицам, открывать раскуроченные двери, заглядывая в раздолбанные парадные, гладить битую лепку, всякие там проломанные головы нимф и Гераклов. Заходите в засранную парадную, где когда-то пылал камин, где было и тепло, и уютно, где стояли величественные швейцары, у которых можно было спросить, потирая замерзшие руки у камина: «Дома ли хозяева?» — и, в конце концов, здесь можно было посидеть и погреться, выпить чаю перед дальнейшей дорогой. Ну а теперь наши парадные — это то место, где вам могут набросить удавку на шею или «отделать» вас газовой трубой, как это сделали с академиком Лихачевым, или совсем прозаично нагадить где-нибудь посередине. Эти же газовые трубы пробили капитали, продырявили архитравы и антиблементы, нанизали на себя, как на шомпол, всю старую и уже никому ненужную архитектуру. Кишки современности, которые,

переплетаясь, выходят наружу и, как змеи Лаокоона, оплели состарившуюся классику. А телефонные провода — сотнями жил, связками-лианами, ведь старые-то у нас не снимаются никогда. Если лестницы красятся, облупившаяся краска тоже не сдирается. Новая кладется сверху по вздутиям, по всем трещинам, выбоинам и травмам этого страшного времени. О, это ощущение безумства, сумасшедшего дома, какой-то окаменевшей фантазмагии, когда все эстетические каноны потеряны, забыты, закопаны или утоплены в чем-то вязком и липком. Как бы нарочно каким-то злым гением устроено так, что все, что раньше люди пестовали и лелеяли, сведено к нулю. Надо все истратить, изгадить, сломать и изничтожить. И здесь стрелять бесполезно. Они изначально мертвецы и не воскреснут никогда, даже в Судный день, и поэтому убить их.

Когда-то я работал в Гипротейтре, и там был главным инженером Гуцев. У меня с ним очень своеобразные сложились отношения. Но сначала закончим о главном архитекторе Ленинграда.

А к Каменскому я с «Орбитой» являлся шесть раз. И он меня все прогонял. Вскоре я выяснил, что вместе со мною к нему приходил еще один незадачливый, который был у него уже одиннадцать раз. И каждый раз он переделывал свой проект по замечаниям главного. (Чего я о себе сказать не могу. Я носил ему один и тот же проект, показывал или молча, или говорил: «Я все тут исправил, что вы прошлый раз просили. По-моему, стало значительно лучше!»). А тот-то искренне все перечеркивал. И заново все красил. Работал, так сказать, день и ночь. В одиннадцатый или двенадцатый раз, когда он ему отказал, страдалец сей внезапно ударил Каменского по морде. Чтобы понять, что там произошло, нужно себе ясно представить, что ведь это же была правая рука самого товарища Толстикова, в распоряжении которого были невероятные, ни с чем не сопоставимые силы! «Большой дом», Красная Армия, бронетанковые подразделения и, наконец, конница, Балтийский флот с тысячами орудий, с подводными глубинными бомбами и атомными подлодками — и все это было в распоряжении товарища Толстикова. И вот его правую руку, товарища Каменского, несчастный зодчий ударил по

морде. В его огромном кабинете, который был площадью, наверное, более 100 квадратных метров. А может быть, и того более. Может быть, это нам только казалось, но по значимости даже, наверное, больше 150 квадратных метров. Это, наверно, оправдывалось государственной нужностью, как бы для проведения расширенных заседаний высшего поднебесного архитектурного совета нашего города. Но заседал он обычно при расширенном составе в овальном зале. Каменский сидел за столом, который был шесть метров в длину и, наверное, три в ширину. Чудовищным, причем — не понятно, для чего был создан такой стол. Наверно, масштаб его проблем? Был ведь еще другой стол, на котором раскладывали проекты. Он был, наверное, метров этак уже двадцать. То есть где-то ширина улицы Зодчего Росси (25 м). И вот в окружении всего царского этого благолепия сидит на своем возвышении, кресле, фактически как бы троне, самый Главный Архитектор Города. И вот архитекторишко, ну, может быть, руководитель группы от силы, который приносит ему свой проект уже одиннадцатый раз, ударяет такого Человека по морде. Самое потрясающее в этой истории было — реакция Каменского. Он немедленно подписал ему проект. Почему? Это тема для особого философского размышления, а потому что главного архитектора не могут ударить в его огромном кабинете по морде. На это ведь нельзя никому пожаловаться. Безвыходное тут создается положение. Здесь-то и сработала вся наша система, как откатное орудие. Правильно, и проект надо немедленно утвердить. Тут на карту поставлен авторитет всей иерархической советской власти, авторитет, можно сказать, нашего общества, авторитет наших художественных ценностей, в конце концов, авторитет ленинградской архитектуры. И все это ведь не может выражаться в каких-то там пощечинах и скандалах. Ну на дуэль он не мог же его вызвать. Как правило, такие люди, как Каменский, были, вдобавок, еще и чудовищно трусливы.

Все это этакие яркие кусочки смальты, из которых складывается поразительная картина нашего времени. Она парадоксальна во всех своих деталях. Она вызывает удивление, часто страх или непонимание у современников или подельщиков и острое чувство гадливости, что ли.

Мне Каменский тоже подписал проект. Причем не на одиннадцатый раз, а на шестой. Я диву дался — в чем тут дело? Что случилось? Понял я, что случилось, когда через несколько дней узнал, что Каменского наконец-то снимают. Товарищ Толстиков к этому моменту был из Ленинграда уже удален. Пардон, переведен. Разразилась совершенно фантастическая советская история. Мао Цзедун, который правил в Китае в течение многих и многих лет... Казалось бы, какое отношение к Петербургу имеет Мао Цзедун — а вот пожалуйста, имеет! Центральная, экваториальная Россия! Это ведь Азия, и в данном случае его роль здесь как бы даже положительна. Он, собственно, отчасти спас ненароком наш город.

Итак Великий Мао Цзедун объявлял всех послов, которых ему присылала Москва, персонами нон грата, то есть нежелательными. И их были вынуждены отзывать назад. Когда пятый-шестой посол (не буду врать, какой) был отозван, ему представили полный список всех первых советских секретарей, которые находятся, оказывается, как раз в ранге посла, чтобы он сам мог выбрать, кого он хочет видеть у себя в Пекине. И Мао Цзедун стал думать. Уж не знаю, сколько он думал. Ночь. Может быть, много ночей. Наконец выбор пал на товарища Толстикова. В начале культурной революции, когда разрушались все исторические и культурные памятники Китая, именно товарищ Толстиков устраивал товарища Мао Цзедуна. А все остальные первые секретари его не устраивали. Таким образом и был спасен Петербург. Товарищ Толстиков очень не хотел ехать в Китай. Он немедленно лег в Свердловскую больницу, куда ему неоднократно звонил товарищ Косыгин и, дескать, говорил: «Хватит притворяться, выезжайте!» Я не собираюсь здесь разговаривать на разные голоса, то есть ни голосом Толстикова, ни голосом Косыгина. Это ведь всего только народная молва. Но я — или байка — свято верю в народную молву, потому что это — наиболее подлинное и яркое освещение происходящих событий. Оно имеет ту главную основу под собой, которая-то и составляет самую суть явления. Поэтому что это правда в высшей инстанции. Так или как-нибудь чуть-чуть иначе, не так уж и важно. Сказал ли он «Немедленно выезжайте», или «Скорее выезжайте», или же «Пожалуйста, выезжайте» — это все не имеет никакого значения. Но тут важно другое. Товарищ

Толстиков, таким образом, уехал из нашего Санкт-Петербурга. Больше он здесь, к счастью для всех пас, уже не появился. А с ним рухнул или растаял и Каменский. И перед тем, как упасть, он стал вдруг ярым либералом. Всего на две недели. Или там на неделю. Пока дела его оформлялись. А тут какие-то новые люди приходят, и все меняется на глазах.... И в эту щель, образовавшуюся вдруг в монолитной стене чиновничьей иерархии, я проскакиваю со своим «американским» проектом. И он мне берет и подписывает. Просто так, за здорово живешь, берет и молча подписывает. Как бы добровольно, сам. Без пощечин. Я потрясен. Только когда указали ему на порог, что-то в нем вдруг стронулось. Когда его наконец сняли, заменили, выгнали, выбросили, что-то в нем стало происходить. Он о чем-то задумался. Начал, может быть, даже пересматривать свои позиции или там ценности, свои неколебимые до того позиции. Нет, это я влез в шкуру обиженного, отстраненного главного архитектора Петербурга. Ну а сам... здесь ни при чем. Я просто как бы побывал на излете главным архитектором, последним архитектором Ленинграда.

Вам, конечно, известно, что в сталинские времена в Петербурге, как и по всей нашей стране, процветал имперский стиль архитектуры. А на самом деле это разве была классика? Сталин очень ведь любил классику. И очень ее своеобразно толковал. Это была, так сказать, мертвая классика. А сейчас это смотрится просто как китч. Тогда частенько объявлялись какие-то конкурсы, в Москве, в Манеже, например, Пантеон для всех великих вождей Советского Союза. И я участвовал в таком конкурсе, будучи, по-моему, еще студентом. На таких выставках всегда есть некий «уголок ужасов», или, как теперь бы сказали, сюрреализма. Я очень жалею, что тогда еще не занимался фотографией и не снимал все эти шедевры. Вы представляете, что такое Пантеон? Я замыслил его как гигантский курган, внутрь которого шли подземные проходы — туннели с трех сторон к центру. Идя по ним, вы выходили в зал необычайной высоты. Внизу он был черный, выше — красный, потом — желтый, потом пространство вырывалось в голубой воздух. Там наверху был воздушный храм, эфемерный и улетающий. Я вдохновлялся в этой

работе архитектором Витбергом, который создал трехчастный храм на Воробьевых горах в XIX веке. Это был несчастный архитектор, ему ведь очень не повезло. Он был студентом Академии. И царствующий Александр выбрал на конкурсе его проект. А в конкурсе тогда не было той подтасовки, когда все заранее знают, кто получит премию, а девизы — загадка только для непосвященных. А Российский император от души говорил о том, что ему нравилось. А ему понравился проект, который оказался проектом никому неизвестного студента. На Воробьевых горах должен был вознестись трехчастный храм Богу. Архитектор тогда был распорядителем кредитов, он был дирижером и проекта, и стройки. И Витбергу были выданы деньги в количестве нескольких миллионов. И дальше началась трагедия неопытности, доверчивости, столкновение возвышенного и низменного, потому что этот человек не имел никакого дела с купцами, поставками, он закупил гигантское количество материала. Из Италии везли каррарские мраморы, не ставя архитектора в известность о стоимости перевозки. Деньги кончились еще до начала строительства. Сменялись царствующие особы, и мечтатели уступили место прагматикам. В результате, он был выслан в город Вятку, ставший при Совдепии городом Кировом. Здесь Витберг выстроил великолепный собор с огромным барабаном-колоннадой, но и он был взорван после войны, где-то в 48—50 гг. Уцелели несколько садовых павильонов в городском парке. О, мечты, мечты, которым предавался и я, покорный ваш слуга. Тоже кое-что проектировавший для местного огромного, страшно современного завода. Меня туда вызвал всевластный гендиректор Большев. В общем, судьба моего проекта по результатам не отличалась от судьбы Витберга. Большев мне сказал так: «Понимаете, в чем дело, у меня завод, который выпускает авиационные приборы». Я охотно поверил, потому что, когда я приехал, мне в гостиницу позвонили и спросили: «А есть у вас допуск «У»?» Я сказал, что у меня вообще никакого допуска нет. «А, так гораздо легче. Мы вас просто проведем на завод». Ну, это сработала наша система секретности. Если у вас никаких допусков нет, то с вами гораздо, гораздо легче.

И вот я попал к Большеву, коренастому человеку, полностью заросшему волосами. Волосы подступали к самым зрачкам. А он, глядя на меня чистым глазом, излагает мне следующее: «Я нахожусь в ужасном положении. У меня на работу в понедельник выходят все абсолютно пьяные, вторник они тоже еще пьют. К среде они немного трезвеют, что там остается? Четверг, пятница. Пятница — полдня. Когда выполнять программу? Поэтому надо построить Дом культуры». А что это все так, я смог убедиться, когда ехал на такси с вокзала. К магазину к полдесятого по снегу ползли черные люди. Они не могли идти. Ползли за «горючим» на ночь. И вот в этой-то стране создавались самые страшные самолеты, с невероятным радиусом действия. И директор принимает в этих условиях правильное решение, решение, что нужно строить Дом культуры. Именно Дом культуры. И все от обилия культуры перестанут пить. Им станет интересно и очень культурно. Из всего этого, конечно, ничего не вышло. И только я, окрыленный своей молодостью, стал им проектировать что-то такое в стиле «массачусетс». Это все из области заоблачных фантазий, где нет места реалиям.

Был такой архитектор Пиранези. Ничего не строил. Только фантазировал на бумаге. Анфилады зал, чудовищные подземелья, титанические кладки стен. Реальность его абсолютно не интересовала. Как ни парадоксально, но волею обстоятельств я был поставлен в положение Пиранези. Ну, это все равно, что в центре концлагеря, архипелага ГУЛАГ, замыслить центр отдыха и развлечений, этаким советский Диснейленд в новейших, можно сказать, завтрашних формах, почерпнутых из практики Баухауза, Корбюзье, Гропиуса и Роля Рудольфа.

Но вернемся к нашим Баухаузам. Я сам лично наблюдал, как Каменский возвращался с ответственного совещания в Москве, на котором были все главные архитекторы нашей необъятной Родины. Совещание проводилось, конечно, в самом ЦК партии по главным вопросам культуры. А дело было в том, что Хрущев побывал в Чехословакии и то ли по чьей-то подсказке, то ли сам сообразил, что мы сейчас, на пути к коммунизму (а коммунизм, по тогдашним подсчетам, должен был наступить к 1980 году), не можем себе позволить роскоши создавать такую «императорскую архитектуру» имени Ста-

лина, с колоннадами и пропилями, одетыми сплошь коринфскими и ионическими ордерами, в которых жили только голуби, что пора все-таки переходить к современному конструктивизму, не отягощенному столь дорогостоящей лепкой. С этим чудовищным наследием советской эпохи надо как-то было покончить. Наверное, переоценка ценностей, бессонная ночь в «Стреле» — Каменский возвращается в город. Мчится в машине, которая загодя подана к Московскому вокзалу, прямо в Ленпроект. Входит в мастерскую № 1, затем, наверное, в каждую из трех мастерских и жирным итальянским карандашом перечеркивает все колонны, все шпили, ну просто-таки всю-всю классику. В течение суток, собственно за ночь, человек меняет полностью свою творческую концепцию у нас на глазах, прежний апологет «классицизма», насаждавший его в течение многих лет и в Академии художеств, и в ГлавАПУ, и во всех бесчисленных архитектурно-проектных институтах нашего провинциального города. За одну ночь человек все понял и поменял все свои основные постулаты на 180 градусов. Он стал ярким конструктивистом ну просто на глазах. Во всем цивилизованном мире, когда приходят новые течения, новые идеи, приходят с ними и новые люди. Но у нас остается на своем ответственном посту все тот же Каменский, только уже конструктивист или бруталист, ну, словом, как прикажут.

Когда я учился, у нас был такой профессор, считавшийся замечательным и незаменимым историком советской архитектуры, — Хомуцкий. Он раскрывал нам всю подноготную отвратительной конструктивистской архитектуры. Например, Мельникова он описывал нам так: «Это — поучительный пример, когда зодчий сам попался в капкан, который он расставил рабочим и крестьянам. Он создал страшно формальный, некий совершенно круглый дом». И я мысленно, сидя в спертom воздухе аудитории, видел дом-шар и бедного архитектора Мельникова, который сползает по крутым стенкам этого шара и, нет, он не в состоянии удержаться на его поверхности, и, как Сизиф, карабкается по их гладким плоскостям и сползает. Потом, через многие годы, я увидел в Москве этот дом. Он стоит на Арбате. Совершенно замечательное сооружение. Но по

описанию Хомуцецкого, это было воплощение ада. Потом, когда «наступил» наконец разрешенный конструктивизм, я снова побывал на лекциях Хомуцецкого. Студенты говорили, что он теперь требует перечислить все закрытые в 20-х годах архитектурные сообщества-союзы. Они ломали себе головы — почему? А дело было в том, что он в составе комиссии ЧК закрывал, разгонял, запрещал именно эти общества. Поэтому-то в новых условиях, то есть сейчас, он требовал, чтобы ему их подробно перечислили, естественно, уже не говоря, что именно он-то их и закрыл когда-то. Это было бы и неудобно, и несовременно, да и могло быть неокрепшими умами студентов совершенно неправильно истолковано.

Насколько Петербургу повезло, настолько советским архитекторам не повезло. Ведь конструктивизм родился именно здесь, и корни-то его здесь. Это прежде всего Малевич, который взял своим лозунгом черный квадрат. Он вывез свою выставку в 1928 году в Берлин. Там было на нее просто триумфальное паломничество буквально всей европейской интеллигенции. Более того, можно сказать, он вдохновил и направил своей выставкой очень многих художников по новому пути. К счастью, большинство его работ осталось там, на Западе. Ведь их автора ждала дома, в России, трагическая судьба. Он вернулся в свой Петербург, так как возглавлял здесь институт Современного искусства на Исаакиевской площади, работал в нем вместе с Филоновым. Хотя Баухауз в Германии давал ему и кафедру, и возможность проектировать по всему миру. Ну, а дома его ожидала совсем другая судьба. Он, как и все мы, поверил посулам и вернулся защищать свой институт. А институт закрыла приехавшая из Москвы тройка партшколы. Они, бедные, еще дискутировали друг с другом, спорили до хрипоты до рассвета, а о чем? О том, что было уже обречено.... А для них эти проблемы были все еще архиважны. Искусство, его филоновский или малевичевский путь. А аппаратчики в голифе и крагах со скрипучими ремнями портупей их взяли, не сумняшась, запретили. Малевич умер очень быстро, собственно, через полгода после закрытия его института. Но должен сказать, что свою миссию, свою художническую сверхзадачу он все-таки

успел выполнить. Потому-то Баухауз и стал той школой, откуда вышла конструктивистская архитектура всего мира.

Здесь хочется в связи со всем сказанным продолжить историю с Гущевым. Он воевал, был героем, так сказать, ордена у него были. Он прошел дорогами войны всю Австрию, брал Вену, был назначен главным инженером в институте, где я проработал уже лет 10. С театрами он был, конечно, совершенно не знаком. Я не уверен, знал ли он разницу между партером и бельэтажем. Все эти вопросы были для него совершенно закрытой грамотой. Очень быстро я пришел с ним к конфликтным отношениям. Хотя это был конфликт довольно странный — что-то все-таки тянуло его ко мне. И вот как-то раз мы поехали вместе на экскурсию в Пушкинские Горы. И я оказался на соседнем месте с Гущевым. Он, конечно, избрал меня в качестве собеседника по поводу Пушкина и его окружения. Я был озадачен той системой ценностей, к которой он при этом апеллировал. Он считал, например, Арину Родионовну сводницей. Когда я пытался возражать, напомнив ее сказки, он таким ледяным тоном, — что я не знаю жизни. Мне вспоминается и другой случай. Как-то, напившись на банкете, он замечательно рассказал про свою военную жизнь — как-то обезоруживающе искренне и откровенно. А я в это время проектировал музыкальную школу в Зеленогорске и куда-то наивно уехал в командировку (наверное, в Вятку, теперь в г. Киров). А надо было стоять и сторожить проект. Каждый шаг вправо или влево расценивался как побег. Гущев тут же моим отсутствием воспользовался. Он всю столоярку, на которой у меня была построена композиция (при минимальном количестве изобразительных средств, которыми я располагал), своей волей заменил на типовую. Хотя я разработал ее со всеми деталями и в рабочей стадии. Когда я приехал и увидел это уже в натуре, я просто обомлел. Пытался что-то объяснить, рассказать, что великий Росси умер нищим, так как, когда строился Сенат и Синод, он несколько раз лично разбивал палкой всю лепку и скульптуру и ее исполняли заново за его счет. Его, видите ли, не устраивало то, что было сделано, он никак не мог добиться того, чего хотел. И был-таки достигнут феноменальный результат — это одна из блестящих его работ. Но для Гущева все эти истории были ни к чему. Финал нашего разговора

свелся к тому, что он сказал: «А нам на все это наплевать! Нам важно делать быстро, просто и для советских людей. Вот я сам, когда взял Вену, помню, мы с группой наших автоматчиков ворвались в какой-то дворец. А там сервизы стоят. Фарфор саксонский, видите ли. И мы из автоматов их все вдрызг расстреляли вместо буржуев-фашистов, которые драпанули восвояси. Чтобы нашим людям жилось хорошо и спокойно».



Всероссийский журнал фантастики

«Четвёртое измерение»

начал издаваться полгода назад.

Новые произведения писателей разных направлений, материалы по истории русской и мировой фантастики, рецензии на недавно изданные книги, библиография текущей фантастики — всё это можно найти на страницах «Четвёртого измерения».

Журнал пытается вернуть жанр фантастики в лоно литературы. Судя по первым четырём номерам, которые уже поступили к читателям, он ставит перед собой серьёзные и основательные цели, не скатываясь до дешёвых поделок и мелодраматичных боевиков из жизни звёздных пиратов.

Адрес редакции и отдела распространения:

121069, Москва, ул. Воровского, 29/36, а.я. 193.

Тел.: 259—19—75

ИСТОКИ

Владимир Бондаренко

«ГОСПОДИ, ПОВЕРЬ В НАС...»

Поминальная молитва Валентина Распутина

«Но они кричали: распни, распни Его! Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем. Итак, наказав Его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их волю» (Новый Завет. Евангелие от Луки).

И опять наступает весна, весна 1992 года, своя в своем нескончаемом ряду, но едва не последняя в том государстве, которое уж почти семьдесят пять лет стыдится называться Россией. Выживем ли, выдюжим ли, сумеет ли нынешняя новая Россия отряхнуть с себя коросту и грязь бесовщины?

Валентин Распутин, вспоминая историю написания «Прощания с Матёрой», говорил: «Я не мог не написать «Матёру», как сыновья, какие бы они ни были, не могут не проститься со своей умирающей матерью. Эта повесть в определенном смысле для меня рубеж в писательской работе. На Матёру уже вернуться нельзя — остров затопило, придется вместе с жителями деревни, которые мне дороги, перебираться в новый поселок и посмотреть, что станет с ними там».

На пятнадцать лет опередил писатель наш реальный переезд из уходящей, старой России с ее старыми границами, старыми территориями, старыми обычаями в новый посткоммунистический поселок.

Его поминальная молитва по старой России услышана была во всем мире, услышана... и не понята.

Чуть позже он сказал в другом интервью: «Вернуться к тому, что уже утеряно, нельзя... Не стоит обольщаться — нам уже не вернуть многие добрые традиции. Теперь речь идет о том, чтобы сохранить оставшиеся, не отказываться от них с

той же легкостью и бесшабашностью, как это было до недавних пор. Уверен, что «деревенская проза», как она есть сейчас, в такой литературе, как российская, с ее традиционной человечностью, болью и совестью, не могла в наше время не появиться и не выйти вперед. Пожалуй, *не писатели создавали эту прозу, а литература, как процесс живой и объективный, волей своей подбирала писателей для этой прозы».*

И на самом деле, «Привычное дело» В.Белова, «Матренин двор» А.Солженицына, рассказы В.Шукшина, «Живи и помни» В.Распутина — не есть ли это русская классика двадцатого века?! Перечитайте сейчас, посреди вселенского шабаша и культурного нигилизма эти книги и удивитесь — не все ли в них сказано о нас с вами, не подписан ли там художественный приговор этой бесчеловечной коммунистической системе, загубившей старую Россию. Многие ли из уехавших на Запад писателей, способны также выставить все свои до единой художественные книги, от «Денег для Мэри» до «Пожара», — на суд правды и совести?

Не в упрек их прошлым, комсомольским «Коллегам» и «Космонавтам», не в упрек их «пламенным революционерам» пишу я это, а в упрек их нынешнему отступничеству. Даже в период травли Солженицына находились смелые, мужественные голоса — Г.Владимова, В.Максимова, Б.Можаяева — в поддержку великого художника и гражданина России. Что же случилось ныне? Откуда отступничество Бориса Можаяева? Почему забыл Алесь Адамович свои проникновенные слова о большом художническом даре Распутина? Где Ион Друцэ и Чабуга Амирэджиби? Художник России один идет на свою Голгофу. «Господи, поверь в нас: мы одиноки» — это обращается к Господу с надеждой герой рассказа «Что передать вороне?», когда вокруг него сгущается и сгущается темнота и почти не слышны «бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей...»

Это обращается к Господу один из самых христианских писателей России Валентин Распутин. Такому как он, не могла помешать ни цензура, ни травля, ни вся система. Обратите внимание, как рефреном, через всю прозу, от первой повести до последней, — идет это обращение человека — героя ли произведений, самого ли автора — к Господу.

«Господи, научи, что делать!» — Тяжко, смутно и в то же время просторно, оглядно было на душе у Настёны — как в доме, из которого вынесли вещи... И знобила, и заманивала, тянула эта пустота, обнажившая все углы». Как завораживают, привлекают наши души эти распутинские слова, ибо отзываются такою же нашей собственной пустотой и неустроенностью, нашим обмирщением, от которого уже всем тошно. Это вся нынешняя российская не востребовавшая тяга к Богу откликается на простые, крестьянские молитвы Распутина. Потому и боятся сатанисты, безбожники всех мастей, от марксоидальных до плюралистических, христианских слов Валентина Распутина, что чувствуют — откликается душа российская.

Или из «Последнего срока»: «Солнце по утрам не попадало в избу, но, когда оно взошло, старуха узнала и без окошек: воздух вокруг нее заходил, заиграл, будто на него что дохнуло со стороны. Она подняла глаза и увидела, что, как лесенки, перекинутые через небо, по которому можно ступать только босиком, поверху бьют суматошные от радости, еще не нашедшие землю солнечные лучи. От них старухе сразу сделалось теплее, и *она прошептала: Господи...*»

Такие примеры можно множить и множить. Их — как бы не видели все бывшие советские исследователи творчества Распутина, христианское мироощущение писателя зашифровывали в мудреные филологические и философские понятия, от «космогонии» до «онтологической проблематики», или же опускали до приземленного социологического уровня, до локальных экологических формулировок.

Все было — и спасение Байкала, и борьба против поворота северных рек, и протест против ликвидации «неперспективных деревень».

Но все эти и нынешние общественные деяния русского писателя проистекали из его мистических христианских проникновений в глубину бытия человеческого. Деревушка Атамановка из «Живи и помни» Валентина Распутина говорит нам об истории России, о трагедии русского народа больше, чем вся советская историография. Здесь речь идет не об идеализации конкретно писателя Валентина Распутина, а о том редчайшем свойстве подлинного художника образно передавать знание мира. Недаром Распутин ценит слова Льва

Толстого: «Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть». Много ли у нас в России таких художников ныне? Не пробросаться бы с демократической щедростью. То нам не нужны были Ахматова, Пастернак, Булгаков, то не удовлетворял Достоевский — реакционностью, Толстой — богоискательством. Теперь же бывшие глашатаи соцреализма, накинув западные одежки из гуманитарной помощи, жаждут расправы над Беловым и Распутиным, не задумываясь, а много ли на Руси сегодня таких художников. Или — потому и жаждут расправы?

Виктор Астафьев писал недавно в «Правде»: «Теперь зачастую творческий титул получают за муки от властей предержащих. Подобное не может служить мерилom в настоящей литературе... — и далее — Организованная гавля «общественным мнением» — это страшный суд, который витеает сейчас над каждым из нас... стоит крикнуть «Ату его!» — и свора рвется с цепи».

Этот общественный страшный суд, порождение сатанинской революции и последующего геноцида русского народа, уносил и уносит в нашей стране бесчисленные жертвы.

Перечитаем внимательно повесть Валентина Распутина «Живи и помни». Оценим сегодня мужество писателя, бросившего вызов мертвящей системе образом русской женщины Настёны.

Ответственна ли Настёна за дезертирство Андрея Гуськова? Критики-марксисты тем и оправдывали героиню повести, что, мол, помогала мужу она почти подневольно, ни в чем не виновата и мужа осуждала, потому и кончила жизнь самоубийством, сама бросилась в реку. Все по догмам соцреализма — за преступлением против системы последовало справедливое наказание. Давайте же, наконец, прочитаем повесть так, как она была написана.

Это одна из самых мистических повестей русской литературы. Впрочем, мистичен по-христиански — весь Распутин. Мистика войны и мистика земли, мистика женщины и мистика власти определяют и «Прощание с Матёрой», и «Наташу», и «Последний срок», также постоянна тема смерти, связи живых и мертвых. «Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засеает в души живых щедрый и полезный

урожай, из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания». Или же: «...сносятся живые с мертвыми, — приходят к ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду, чтобы передать ее еще дальше, тем кого помнили они».

Не случайно, в предчувствии своей будущей насильственной смерти, всматривается в глаза умирающей козули Андрей Гуськов: «...и он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячи рожицы. Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах... Ему показалось, что глаза козули в этот момент были обращены в себя».

Так происходит озвсрение человека, вступившего за черту милосердия, каким бы справедливым ни был первоначальный порыв. Это неизбежное, неотвратимое перерождение чувствуют вместе и Андрей, и Настёна. Деsertирство Андрея было почти случайным, как и многое в нашей жизни. Будь госпиталь где-нибудь в Орле, а не в Новосибирске, решился Настёна на поездку в госпиталь, в конце концов — получи Андрей свои законные отпускные на побывку домой — деsertирства не было бы. Но что тогда бы произошло? Ощущения редко обманывают фронтовиков, а, как помнит читатель, перед возвращением на фронт из госпиталя Гуськов мистически почувствовал смерть в первом же бою. Это предчувствие определило весь дальнейший сюжет, он убежал от смерти, ибо перед этим поверил в спасение. Три года он *воевал смертником*, без надежды на возвращение домой. Предчувствие деsertирства возникло именно тогда, когда Гуськов вновь поверил в жизнь. Но зачем и кому нужна была дальнейшая жизнь его? Я вижу как бы два сюжета повести. Один — мистический — о совместном — Андрея-Настёны — решении, и даже совместном знании о необходимости их встречи. И второй — о противоборстве человека — Настёны — и бесчеловечной системы, обрекающей человека на гибель. Тема совместного *Знания* жизни и смерти относится не только к Андрею-Настёне, но и касается других героев повести — Надьки и Виктора, Василисы и Гаврилы: «Хитрит Надька, что не она потеряла Витю, что он полег от вражеской пули сам... чувствует свою вину — малой каплей не знает, в чем она, эта вина, не понимает, как можно было помочь

Вите, но чувствует и мучается... Почему Лиза дождалась, а она нет? Почему Василиса Премудрая, хоть война еще не кончилась, не сомневается, что ее Гаврила придет целым и невредимым?.. Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже».

Это связь семьи, связь рода, родовы, а шире — мистическое чувство *своего народа*, которое существует, пока народ существует, и умирает вместе с гибелью народа.

Важнейшая сцена в повести — совместный, одновременный сон Андрея на фронте и Настёны в Сибири — с предчувствием встречи и возможности будущего ребенка. «Обоюдный сон — такого она, сколько жила, не знала. Обоюдный — стало быть, не простой, вещий. Но конца сна — оба не рассмотрели. «Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни показать».

Сам Андрей с госпиталю, с обманки этой отпускной так и был запрограммирован — на смерть: ехать ему в одну или в другую сторону, на запад или на восток. Он дезертировал, и она это как бы знала, как бы вместе — принимали вину на себя. Завершился бы этот сюжет, как часто и в жизни завершался: гибелью его, в лесах ли, в тюрьме или еще где, и рождением ребенка, сына. Вот он — великий круговорот жизни, воспетый Распутиным и в «Матёре», и в «Последнем сроке», и в прекрасных детских рассказах, но концепция распутинской «круговерти», нескончаемой народной цепи сталкивается с концепцией антинародной системы, с концепцией надвигающейся бесовщины, в коммунистическом ли, космополитическом ли облиии. Да, Андрей Гуськов обречен на смерть — и по распутинской, мистической «круговерти» нет в повести оправдания дезертирства. Оно — как данность, как зло, с неизбежностью сосредоточиваемое в Андрее после побега. Хоть сам Валентин Распутин и жалел позже о излишнем, на его взгляд, «озверении» Гуськова: «...едва ли я стал бы писать в «Живи и помни» те картины «озверения» Гуськова, когда он воет волком или когда убивает теленка, — слишком близко, на поверхности по отношению к дезертирству это лежит и опрощает, огрубляет характер», но сомнения эти позднейшие касаются не переосмысления образа героя, а его углубления, снятия поверхностных деталей. В распутинской христианской картине мира, в основе которой — рус-

ская народная философия, дезертир, даже невольный, даже при царящей несправедливости, не оправдывается. Не случайно Виктор Астафьев писал: «Ведь возмись наш брат, бывший фронтовик, писать о человеке, который до того устал на войне и от войны, что однажды забыл обо всем и обо всех на свете и задал тягу домой, к жене и родным, так вот непременно в нас явилось бы чувство активного протеста, если не ослепляющей злости: «Ты, гад, устал, а мы, значит, нет!» И начали б мы этого самого Гуськова крушить и ляпать черной краской». Распутин черной краской не пользуется, но и будущее крушение героя принимает как должное. Воевал Гуськов хорошо, но «...человек, хотя бы раз ступивший на дорожку предательства, проходит по ней до конца. Теперь о Настёне. Читатель был готов к ситуации, *когда она или сама выдаст своего мужа, или заставит его прийти с повинной*. Но Настёна не делает ни того, ни другого. И я должен был *это доказать* — и доказать так, чтобы у читателя было полное основание поверить в *необходимость и правомерность* ее поступков».

Русский писатель доказывает советскому читателю и советскому критику правомерность русской христианской логики. И опровергает логику всей предыдущей советской литературы, навязывающей нам жен, предающих своих мужей во имя идеи («Любовь Яровая»), детей, предающих родителей, отцов, самолично расстреливающих сыновей, логику семидесятилетней гражданской войны, не затихающей ни на секунду. Это был вызов системе, гораздо более дерзкий, чем плоские политизированные антисталинские поделки типа «Детей Арбата».

Одной системе нравственных, а вернее — безнравственных ценностей противопоставлялась другая — национальная, религиозная. Это лежащее глубоко в психологии каждого человека представление об ответственности за свой род, о сопричастности и слиянности родных и близких пытались заменить большевицкой психологией классовой ненависти. Мать на стороне сына, кем бы он ни был. Настёна, как бы она ни относилась к самому факту побега Андрея с фронта, только так и могла поступить, принять, помогать, пытаться спасти. С этого момента она и стала *врагом системы*. Не он — Андрей, а она — Настёна — бросила вызов большевиц-

кой власти, а *иначе не могла*. Не дезертирство Гуськова, а спасение его Настёной — было продолжением гражданской войны. Андрей вырвался из системы и большевицких классовых ценностей, и народных нравственных и православных ценностей, и жил один, жил как волк, *был волком*.

Временно спасая жизнь, он обрекал себя на нежить. И одно было у него высшее оправдание, о чем он часто говорит Настёне, по-мужски убеждая ее в том, что она с извечной женской интуицией знала всегда, знала заранее — лучше его, — продолжить жизнь в сыне, продлить родовую круговерть. Он этим торопливо, как-то атеистично оправдывал свое таежное существование, будучи неспособен понять мистическое предопределение происходящего. Он винит и ее, и себя, он предлагает забыть о себе — суетится. Она же знает: «Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я — этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери... Хочешь или не хочешь, а мы везде были вместе. Ты что, считаешь: если ты пришел героем, я бы была ни при чем? ...Может, еще задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились... *Господи, о чем я говорю!*»

Свыкаясь с этой новой жизнью — за чертой, он привыкает и к поступкам — за чертой. Он знает о Настёне: «Умри, но роди: в этом вся наша жизнь», а далее, все-таки чувствуя, что закончилось и мистическое его предназначение в этом общем человеческом кругу, подсознательно ищет дальнейшие варианты своего спасения, вне Настёны, вне деревни. Может, поехал бы вновь к немой Тане, может стал бы благополучно бичевать. Думаю, Распутину дальнейший круг Андрея — круг его кочевой жизни — не так интересен. Не случайно Сергей Залыгин пишет: «...если в «Последнем сроке» как бы естественно, вовремя и в свой срок умирает старуха Анна, то гибель Настёны не может быть принята иначе, как нечто исключительно трагическое, как грубая и даже непростительная ошибка жизни — умереть-то должна вовсе не она, а муж ее, Андрей Гуськов».

Что ж, он как бы и умер для нас, но что помешало продлиться новой жизни, что помешало всему мистическому замыслу «круговерти»?

Что поверхностного читателя отталкивало в финале повести от Настёны? Чему способствовали и многочисленные советские толкователи повести, по-советски объясняющие гибель Настёны чуть ли не сознанием ею вины, а отсюда и безысходности. Ее упрекают, что она верила в Андрея, что наделала немало ошибок в конце своей жизни, признают ее «безысходность». Как же — спасла дезертира, забеременела от него, вот и отвечай по заслугам: «Она ошиблась. И за ошибку расплачивается самой большой ценой».

Да разве это по-христиански: убивать не только себя, но и своего ребенка? Эта советская мораль — никак не подходит для распутинской повести. Не было навязанного всевозможными толкователями осознанного самоубийства. Было обыкновенное большевицкое убийство своей жертвы за неповиновение. Читайте повесть.

Так бы и длилась жизнь сначала одной Настёны, затем и сына, продолжателя рода Гуськовых. На сюжет мистический наложился сюжет трагический и до боли современный. Настёну начали травить, также как сегодня такие же небольшие травят самого Распутина. И не фронтовики травят, имеющие право на осуждение Андрея, а советская власть. Травят, обкладывают беременную женщину, как зайца, как волка, убивают безжалостно, как косулю.

Были на душе Настёны и сомнения, и страх, и стыд. Хотела она в последний раз повидать мужа, предупредить, попрощаться. Да и отец, при всей обиде своей на сына просил Настёну: «...пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. Мужики, кажись, чего-то задумали». Кстати, еще одна критическая ложь об отречении отца от сына. И тексты у читателя под рукой, но до чего выворачивались вчера и выворачиваются сегодня бесчисленные ивановы, чапчаховы, оскоцкие и другие литературные чекисты...

Когда Настёна спустила с берега лодку, она даже с мужем надеялась, может, и не навсегда прощаться, может — «до других ли времен». А дальше ее, она знала, ждали роды, хула, пересуды, но — жизнь, но дальнейшая гуськовская родовая круговерть. В своих великих проблемах и заботах, она, увы, не замечала даже сказанного отцом Андрея, Михеичем, — «Тут у их Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор седни в Карду поехал. Неспроста это...» Вот и Надька

принесла известие — приехал Бурдак, милиционер. Настёну плотно обкладывали. Комиссары нашли занятие — устроить облаву на беременную женщину. «Вон она, вон! — кричал Нестор». С другой лодки торопил *комиссарствующий* Иннокентий Иванович — «Скорей! Скорей — чего телишься!» и садистический, самодовольный — «Достанем!»

«С испугу Настёна кинулась..., но тут же опустила весла. Куда? Зачем?». Советские победили, загнали ее в свой советский, антихристовый тупик. Вот она — посмешищем и позорищем для всей улюлюкающей, люмпенизированной команды охотников на людей. Она еще взглянула в сторону Андреевского, в сторону Андрея, но какая оттуда помощь? А «лодки приближались. Сейчас, сейчас уже будет поздно». Она ушла от комиссаров в воду. Она сбежала от лагерей, и увела сына от тюремного приюта и спецприемника. Охотились-то за ней, не думая ни о будущем ребенке, ни о судьбе Настёны, Андрей уже и ни при чем, как бы. Выследили бы, если речь шла об одном Андрее, куда ездит Настёна, и брались бы за Гуськова. Не пожалели комиссары женщину, ни деревенские, ни после публикации повести — литературные, все ее к ответственности привлекали. Один фронтовик Максим Вологжин понимал, что происходит жестокое бесчеловечное убийство затравленного человека: «Настёна, не смей! Настё-ё-о-на! — услышала еще она отчаянный крик Максима Вологжина».

На четвертый день прибило ее тело к берегу. А в деревне уже Михеич был при смерти. Земляки не дали похоронить Настёну среди самоубийц, понимали — кто виновен, кто затравил выполнявшего свой христианский долг русского человека.

«Не смей!» — кричал фронтовик Вологжин, а кто сегодня кричит «не смей» — новым литературным комиссарам? И.Шафаревич в своем письме в защиту Распутина правильно заметил: «Персонажи кричащие, свистящие и плюющие сейчас в великого писателя — они почти неразличимы, в следующем поколении даже имен их знать не будут».

Но легче ли от этого писателю сегодня? Легче ли было Михаилу Булгакову от того, что сегодня мы и знать не знаем всех имен его травителей, всевозможных юзовских и белоцерковских, но вырастают новые белоцерковские — уже на радио

«Свобода», уже без комиссарской куртки и нагана, но с таким же большевистским нахрапом обвиняющие Валентина Распутина во всевозможных грехах.

В чем провинился перед ними писатель? Всего лишь в мужественном исполнении христианского долга. В одной из «колонок редактора» Владимир Максимов писал: «Враги перестройки» с каждым днем все более звучат как «враги народа». Ату их! Ошельмовать не удастся, так и замочить не грех... в одном убежден — позора им не миновать... Так все-таки во имя чего, ради какой цели эта публика так надрыгается?.. Отсидевшись в трудные времена по тихим углам, она — эта публика — с милостивого разрешения властей предержащих ворвалась, сбивая друг друга с ног, на *разминированное другими* поле брани и принялась безнаказанно мародерствовать... Но к ее досаде, оставшиеся в живых саперы с этого поля самым фактом своего существования делают для нее душевный комфорт несколько неполным... Избавиться от этого дискомфорта... уничтожить морально, что они и пытаются осуществить, а не получится, то и физически, к чему они уже, судя по их заявлениям, готовят почву».

В отличие от всех этих «мародерствующих шалунов» у Валентина Распутина крепкие христианские корни, он всей своей прозой — вне советской системы подвижной морали. Они — шалуны эти — и за рубежом советские до мозга костей, и будут ими до конца дней своих, он — и в глухие брежневские годы не был советским — благодаря этой глубинной христианской психологии.

Думаю, что и нынешнее долгое молчание Валентина Распутина, его уход в публицистику, связан с традиционным пониманием долга русского писателя. Это «Не могу молчать» Льва Толстого, публицистика Достоевского, «Остров Сахалин» Чехова, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Отодвинуть все, не позволять себе милые художественные шалости, когда плохо народу твоему, — лежит это *табу* издревле на всей великой русской литературе. И мы можем толково рассуждать, что рассказы и пьесы Чехова нам дороже его сахалинских каторжан, что мы недополучили сколько-то романов Толстого и Достоевского, даже Маяковского пожалеем с его ложно, перевранно понятым, но все тем же *долгом русского*

писателя. У Солженицына есть такое высказывание: «Я с удовольствием бы иногда отдыхал на малой форме, для художественного удовольствия (заметьте, это говорится о таких шедеврах, как «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор». — В.Б.) — но не могу. Несчастливым образом наша история сложилась так, что прошло 60 лет от тех событий, а настоящего связного большого рассказа о них в художественной литературе, да и в документальной, нет... Я думаю, что последняя возможность моему поколению написать...»

И мы — критики, читатели, почитатели — можем сколько угодно говорить то ли о непомерной гордыне, то ли о излишней гражданственности, убеждать что творения художника — превыше всего, мы будем даже правы, но... сами ли русские писатели взяли на себя этот крест, или *свыше он дан*, и они сами невольны, только из века в век продолжается это исполнение христианского долга русской литературой. Иначе зачем нашему вольному гению Пушкину — писать «Клеветникам России» и «Историю Пугачева»?

У Валентина Распутина есть статья на эту тему — «Мужество писателя», где писатель продолжает, развивает тему, начатую известной статьей, под тем же заголовком, Юрия Казакова...

«Мало терпения и дара, мало чистых рук и добрых намерений, — пишет Распутин, — как никогда прежде, писателю необходимы гражданская стойкость и зрелость... Неверно, что литература знает лишь ставить вопросы, не отвечая на них, хотя ответы, быть может, и не обязательны, потому что нравственная постановка вопроса содержит в себе и нравственный ответ на него, а безнравственная постановка вопроса — безнравственный ответ. Однако в традициях российской словесности *договаривать до конца*. «Деревенская» проза ...вернула необходимый долг родительской России не одной лишь *поминой*, но живой благородной памятью и показала, чем крепилась и что вынесла из глубины истории национальная наша душа, указала на духовные и нравственные ценности, которые, если мы собираемся и впредь оставаться народом, а не населением, не повредят нам и на асфальте».

Да, мне, как любителю русской словесности, жаль, что Валентин Распутин последние годы не пишет или по крайней мере — не печатает прозу, но мне — гражданину России чрезвычайно дорого, что самые лучшие русские перья сегодня служат России. В этой же статье писатель обращается к коллегам: «Чтобы завтра могли явиться в литературу новые Пушкины, Феты, Тургеневы и Бунины, Пришвины, Казаковы и Носовы, певцы русской природы и русской души, — не надо ли нам сегодня всем вместе позаботиться о сбережении и души, и природы?»

И потом, разве не стоит чего-то — молчание такого писателя, как Валентин Распутин?! Когда-то Игорь Золотуский справедливо заметил, что молчание талантливого критика тоже обозначает его позицию. А молчание одного из лидеров русской литературы — не означает ли духовного состояния России в целом? Не случайно перестройку не воспел ни один из истинных художников, не случайно она не дала ни одного крупного имени — за шесть лет. Яловая значит была у нас перестройка. И в мести своей за свое бесплодие она с многочисленной оравой своих прорабов травит уходящую Россию, беременную своим наследником, травит, как травили комиссарствующие Иннокентии и Несторы беременную Настёну, травит, надеясь на такой же, как в «Живи и помни», трагический исход, а там можно и встать в почетный караул у ее березового гроба.

«Не смей!» — кричит подобно своему герою Максиму Вологжину Валентин Распутин. Кричит одновременно и самой России, своему народу, и новым комиссарам, готовящимся к последнему залпу.

Те, вторые, — ясно, что не услышат, но услышим ли мы с вами, услышат ли все патриоты и демократы, монархисты и республиканцы, православные и мусульмане — все, кому дорога Россия?!

Уверен, что услышат, и новому пассионарному периоду России предстоит свое тысячелетие.

Не случайно в прозе Валентина Распутина всегда открыт финал, также как и открытое начало. Всегда уже что-то было предысторией, и всегда потом что-то будет дальше. Все та же христианская продолжающаяся круговерть.

Мы так и не знаем дальнейшей судьбы Андрея Гуськова. желающие могут писать любое продолжение.

Нам интересно, и мы сами сочиняем-размышляем, кто же из детей придет на похороны старухи Анны. Иные из критиков поторопились обвинить всех детей, мол больше они и не придут, автор так не думает — он пускает вас в дальнейшую жизнь героев, решайте, соображайте, приехали бы вы?!

Не будем категоричны и к брату Кузьмы из повести «Деньги для Марии». Я-то думаю, скорее всего деньги для Кузьмы брат найдет. С любой точки зрения — в те годы иметь родственницу в тюрьме городскому чиновнику тоже не хочется... Да и кровь может заговорить.

А как заманчиво продолжить чудесные детские рассказы? Валентин Распутин — изначально был не сюжетник, не ремесленник от пера. Ему интереснее исследовать характер человека, докопаться до глубин его, и показать через старуху или через подростка — психологию народную. Может, потому еще и затянулся сейчас период молчания, что бывшая народная психология — закончилась, а какова она — новая, и есть ли она или еще только рождается в муках, мы сами не знаем?!

Все повести Валентина Распутина — это поминальные молитвы по погибшей Настёне, по уходящей Матёре и ее последних обитательницах, по старухе Анне, и даже по загубленной душе русского пьянчужки со странным именем Герольд. «Не могу-у!» — кричит то ли сам Герольд, то ли его истерзанная душа. Кричит, отказывая в праве на существование и себе, и даже детям своим. Это мы сегодня кричим «Не могу-у!» во всех газетах, сами уже не веря в свое будущее. Но даже не менее испитой верзила обрывает эту сплошную отрицаловку Герольда: «Врешь! Ты спился, я сопьюсь, а им нельзя! — Он выкинул руку в сторону ребятишек... — *Им надо нашу линию выправлять*».

Да, загублены у нас не только земли, не только экономика, загублены души миллионов таких вот Герольдов, затравлены, задушены. «А вспомнить — такие же мужички, прямые предки его... — шли на поле Куликово, собирались по кличу Минина и Пожарского у Нижнего Новгорода, сходились в ватагу Стеньки Разина, продирались с Ермаком за Урал, прибирая к хозяйству

земли, на которых и двум прежним Россиям было просторно, победили Гитлера... И вот теперь он.»

Но как рвется мучительным стоном это глубинное — «Не могу-у!» Всех нас касаются поминальные молитвы христианской прозы Валентина Распутина, его проповеди и публицистически страстные слова. А помянув ушедшее, уходящее, может, задумаемся и о настоящем.

И пусть кричат: распни, распни его! Как кричали Христу. Как кричали первым христианам, бросая их на растерзание голодным львам. Не есть ли сегодня Валентин Распутин — один из первохристиан новой, возрождающейся России? Не собираюсь сравнивать и проводить аналогии, не тот он человек, которому нужна лесть. Более скромного и неприязнательного, чужающегося почестей и возвеличиваний человека я не встречал. Это знают и многие из тех, кто сегодня требует распятия писателя. Знает Евгений Евтушенко, так по-пахански, по-блатному в свое время воспользовавшийся отзывчивостью Распутина, попросивший внутреннюю рецензию для якобы запрещенных «Ягодных мест», и без разрешения опубликовавший распутинский отзыв как предисловие к роману. Знает Андрей Вознесенский, знает Евгений Сидоров — и предают, кто молча, кто громко.

И уже мы все, кому дорога Россия и русская культура, подобно все тому же фронтовику Максиму Вологжину, кричим предателям и распинателям Валентина Распутина: «Не смей!» И этот крик поддержки нужен не столько самому писателю, сколько нам всем.

Господи, поверь в нас...

От редакции: Мысли, высказанные в только что прочитанной вами статье, кое-кому из наших читателей могут показаться спорными. Что ж, верные своей традиции представлять на страницах «Континента» самый широкий спектр мнений, мы готовы продолжить аргументированный разговор по проблемам, затронутым Владимиром Бондаренко.

ИСКУССТВО

Елена Курляндцева

ДОРОГОЕ ИСКУССТВО

Я очень люблю Москву. Теперь это приходится твердить себе каждый день в надежде испытать эту любовь снова, как было несколько лет назад. Я родилась в этом городе. Причем между зданиями ВХУТЕМАСа и Лубянской — этими полюсами советской жизни, между которыми пять минут хода. Я гуляла в садике напротив дома Ежова, а соседом по коммуналке моей ближайшей подруги был Алексей Елисеевич Крученых, который, впрочем, подписывался А.А. и также, как и другие футуристы, красоту звучания ставил выше простого документа, считая удвоенное отчеством имя признаком приобщения к клану. Он был первым встреченным мною поэтом. Я разучивала его футуристические стихи, как хрестоматийные, а он радовался слушателю, серьезно втолковывая мне теорию футуризма, — теперь я понимаю, что он был уж очень одинок. У него было много странностей. Он жил по какому-то своему времени, окно было всегда так плотно занавешено, что я думала, что его в комнате нет вовсе, на полу лежал плотный слой из бумаг, писем, книг. Он был, вероятно, чрезвычайно экстравагантен в молодости, и в восемьдесят лет ходил в тюбетейке и длинном развевающемся шарфе, доказывая, что моду носить длинный шарф изобрел именно он в начале века; впрочем, шарф выглядел именно так, как будто он тогда его и надел; мне он казался совершенно нормальным. Все это я говорю вовсе не для того, чтобы похвалиться, что «старик Крученых нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Из меня, несмотря на это, все равно ничего более путного, чем искусствовед, не получилось. А чтобы сказать, что, когда в середине семидесятых, уже после смерти Крученых, я в том же доме встретила с Андреем Монастырским, наверное, еще не до конца оцененным на Западе теоретиком московского концептуализма, художником и писателем, я приняла это как реальную преемственность

той культуры начала века, закат которой мне чудом удалось застать.

Дело не только во внешнем сходстве, которое тоже меня, конечно, тогда поразило, а в общем способе жить, эстетизируя каждую минуту своего существования, рефлексировав малейшие нюансы своих отношений с миром, причем не наигрывая это, как некую романтическую позу, нет, ничего подобного, а как единственную органичную форму существования. Эта группа московских концептуалистов, появившаяся в середине семидесятых, совершенно отличалась от художников, тоже неофициальных, времен хрущевской оттепели, спонтанных и декларирующих свою эмоциональность, некую особую витальность, в духе Хемингуэя, как бы необузданность в жизни как прямое следствие художественной программы, с мыслью о том, что художник должен обязательно невразумительно мычать от невозможности высказать свой сложный мир словами. Художников, как мне кажется, весьма серьезно озабоченных размышлениями о своих взаимоотношениях с западным искусством, невозможностью сопоставить работы, боязнию вторичности в ситуации практической неинформированности, страстным желанием все-таки потрясти мир глубиной переживания, всегда находящих опору в «умом Россию не понять».

Мне вообще кажется, что феномен русского авангарда начала века, а еще точнее — Малевич, который, как Достоевский в литературе, сумел доказать, что окраинные для культурного мира земли таят неожиданные идеи и творческие импульсы, вообще неврогизует наших художников. Впрочем, об этом блестяще остроумно сказано в коротком эссе Ильи Кабакова «В будущее возьмут не всех». Планка простого профессионализма кажется слишком обыденной, а желание покорить и изменить западную, абсолютно самодостаточную культуру — следствие нашей исторической региональной замкнутости.

Так вот, мне кажется, что появление в нашей художественной жизни того, что принято называть московской школой концептуализма было осуществлением наиболее глубоких художественных традиций и преодолением этого невроза.

В эту группу входили люди, для которых мерцание между словом и изображением было основным ключом к творчеству.

И поэты Всеволод Некрасов, Д.А.Пригов и писатель Сорокин занимаются визуальными объектами, а тексты Ильи Кабакова могут быть и литературно самоценными. И члены бывшей группы «Мухомор», и «медгенменевты» (самое молодое поколение) — все прекрасно вербально одарены, но воспринимают свою литературу не так, как это принято в русской культуре — как знак мученичества и подвижничества, а как бесконечную игру смыслов, стилей, цитат эпохи постмодернизма. Русский язык — наверное, самое живое и незамученное, что есть в культуре. Даже в самые чудовищные годы появлялись новые слова, а главное — новые контексты, то есть язык жил, принимая в себя и отрабатывая в каких-то новых, угрюмые или смешные формы — то, что могло свести с ума целую нацию, и бесконечной своей изменчивостью народ от безумия спасая. Поэтому художники «говорящие», со словом связанные, на слово опирающиеся, оказались, если хотите, национальнее, хотя на первый взгляд кажутся совсем западными. Но, по-моему, они глубже других укоренены в этой культуре с ее особым отношением к слову. А русская живопись тяготела к литературности изначально. Еще византийская икона, попав в Россию, обросла повествовательными клеммами, наверно, от потребности национального художественного характера идти не только от пластики, но и от литературы. Повествовательная русская живопись XIX века — это, конечно, банальная истина, достойная только упоминания. Единственная собственно народная изобразительная форма, лубок, близок японскому свитку, конечно не по изысканности, а по слитности слова и изображения. Собственно, и квадрат Малевича тоже существует в контексте его теорий, хорошо известных на Западе, так же, как и теории Кандинского, и плохо известных в России, отчего для западного зрителя эти художники и понятнее, и ближе, чем для нашего, для которого одного созерцания квадрата без слов явно недостаточно для эстетического его осмысления. Поэтому появление концептуализма у нас можно сравнить с иными художественными заимствованиями из общей мировой культуры, которые получали сразу национальную форму, как икона или архитектура классицизма, а не повторялись с умилением, как импрессионизм, существовавший как репли-

ка, до сих пор чрезвычайно любимая официальными советскими художниками.

Избавившись от множества комплексов удаленности от центра современной культуры, концептуалисты использовали нашу невообразимую по своим бессмысленным контрастам жизнь как нечто, достойное эстетического и интеллектуального постижения. То есть попробовали умом Россию понять. И наши «плохие» вещи, которыми мы пойманы, как в ловушку, с самого детства, которые во многом и определяют наши отношения с жизнью как с чем-то, что надо не прожить, а перетерпеть, наши бесконечные коммунальные разговоры, наши огромные пространства, которые как холст, который художник не может увидеть весь сразу, потому что он уходит за горизонт, и поэтому он может только испортить его, но эстетизируя это общение с необозримым, эту бесконечную устремленность к небесам с вопросами и жаждой воздаяния. Илья Кабаков и Эрик Булатов поделили между собой Небо и Землю московской школы. Они создали поле необычайного притяжения. И влияние и участие в своей судьбе их идей отмечают почти все молодые, даже формально никак не связанные с концептуализмом. Эта школа включает в себя уже несколько поколений и точнее должна называться «пост-концептуальной». Интересна, с одной стороны, эзотеричность этого изысканно-интеллектуального круга, полное отсутствие реакции на него общества. В семидесятых симпатии либералов были привлечены к диссидентам, людям, несомненно чрезвычайно достойным, но предельно политизированным, как все наше общество. Этот же круг развивал в себе бесконечную свободу, играя с политическими клише как с игрушками, совершенно не приходя в ужас от их содержания, игнорируя его серьезность и тем самым демонстрируя его брутальную буффонадность. А с другой стороны — чрезвычайная доброжелательность этого круга. Холод и мертвость жизни в Москве в те годы давили так сильно, что малейшее проявление искреннего интереса, каждый творческий жест, нормальное слово встречали понимание. Официальная критика, по-моему, до сих пор отказывается найти слова для этих художников, но зато уровень критического осмысления работ друг друга был настолько высок, что мог обеспечить развитие и рост внутри совсем, в общем-то, если вспомнить об одной

шестой части суши, маленькой группы. И до сих пор художники, сейчас почти разлученные с авторитетом Ильи Кабакова, чрезвычайно значимым, и в теперешнем сумбурном рассеянии ориентируются друг на друга, при всей формальной задействованности в западную ситуацию. Грубо говоря, сидят на двух стульях, с одной стороны прекрасно понимая ценность того, что было, высокой значимости искусства друг для друга, для эстетической элиты, которой тут, несомненно, были. Теперь все оказались на общем поле современной культуры, не обнесённом элитарным забором; это все, конечно, очень хорошо. Но то, что в этой стране было результатом серьезного выбора, переворачивающего всю твою и твоих близких жизнь... (Выбор предполагал не просто бедность, ею в России не удивишь, а полную асоциальность, с оттенком постоянной угрозы со стороны властей. Помню, еще в 86 году в газете напечатали статью «Рыбки в мутной воде», где черт знает что про художников писали.) То на Западе — спокойное занятие, обучиться которому может каждый, с развитой структурой, предполагающей разные уровни, с социальной защищенностью. Наши с таким артистичным упорством преодолели косность своего художественного образования, тупое непонимание окружающих, цензуру и кто знает, что еще, вышли на площадь, где стоит уже множество ничем не напряженных и не утомленных людей, которые с доброжелательным любопытством посматривают на этих почему-то агрессивных, несомненно талантливых, но увы, не до конца понятных «русских».

Для меня самой не решен вопрос, какое знание считать подлинным: то, которое признано большинством и преподается в школе, или то, до которого человек дошел сам, со всеми погрешностями субъективного опыта, но с глубиной веры в его ценность. Для нас, как мне кажется, в силу множества причин: отсутствия прямого контакта, информации и прежде всего связанности этого искусства с идеей личной свободы, с произволом этой свободы, столь для нас восхитительным, — современное изобразительное искусство было мифом. Причем у каждого своим. У каждого были свои законы для этого мифа, каждый сам выдумал язык современного искусства вообще и еще свой собственный. Какая-то матрешка из языков у каждого в голове, потому что оказалось, что есть еще реально

существующий, в котором у всего есть своя цена. А наши художники принесли поначалу принципиально бесценные вещи. Да, работы советских художников сейчас в цене, но свою бесценность они утратили, а это довольно дорогая потеря.

Мне кажется, у нас был шанс создать наконец целостную живую культуру в день, когда художники, искусствоведы, архитекторы, фотографы собрались в первый раз, чтобы основать объединение «Эрмитаж». Правда, этот один шанс был лишен материальной опоры в квадратных метрах галерей, мастерских, свободных журналов и прочей необходимости. Но была короткая вспышка цельности, достаточности без ущерба своих культурных идеалов, если говорить возвышенным слогом, для созидания. Ну конечно, это была иллюзия победить несуразность нашей жизни, основанная на традиции бесконечных разговоров вместо практических результатов, но Бог знает, что важнее.

В ареал неофициальной культуры входили люди самых разных творческих устремлений. Были люди, для которых картина осталась единственной художественной формой, иногда они выставлялись на официальных выставках и получали комбинатовские заказы, были художники, для которых картина была только поводом поиронизировать над картиной как вещью. Вообще в силу ненормальности ситуации, вернее благодаря ей, в Москве сохранились живыми разные типы художественного сознания, и те, которые на Западе давно стали бы простыми коммерческими ремесленниками, у нас сохраняли тогда теплоту и живость творческих работ. Сохранилась, несмотря ни на что, связь, как и в начале века, с немецкой школой, и немецкий экспрессионизм у нас стал как родной. Хотя самым массовым был соцарт, создатели которого — давно уже американские художники. С одной стороны, такой чудесный искренний живописец, как Лев Табенкин, развивающий традицию Древина и своего отца, художника тонкого, лиричного, камерного, и на другом полюсе — группа «Коллективные действия», акции которой остаются самым радикальным проявлением московского концептуализма и до сих пор и ни с коммерцией, ни с вообще происходящим кипением не связаны. И был Гриша Брускин, стоящий точно в середине и сочетающий проработанный концептуальный

замысел с прекрасной сделанностью картины. И была своя иерархия ценностей, не формальная, не коммерческая, но всем участникам понятная, а иерархия — основа построения культуры, которая всегда противостоит хаосу. Так что у нашего, на первый взгляд, разрушительного андеграунда были большие созидательные потенции. И был тот неясный уже сейчас энтузиазм в отношении друг к другу, та «атмосфера», которая так пленяла иностранцев. «Эрмитаж» провел несколько прекрасных выставок: «Репрезентация», «Жилище», две «Ретроспекции» — и, связав воедино нити неофициальной советской культуры, начиная еще с пятидесятих годов, распался. А после аукциона «Сотбис» эпоха дружбы кончилась, наступала эпоха конкуренции.

Для наших художников это состояние было новым, его не сразу осознали, но почувствовали. Конкуренция в силу новизны была даже романтически заманчивой, но форма ее, не сглаженная западным воспитанием, а подчеркнутая нашей искренностью, приобрела черты дурацки откровенные. А если еще вспомнить о Хлестакове как глубоко национальном образе, о почти полной неосведомленности западных партнеров в наших делах, да и о желании многих приезжающих использовать полную юридическую неопытность и бесправность наших, то многое в этой долгожданной встрече двух культур выглядит просто трагикомично. И много сейчас бродит по миру «авангардистов, пострадавших в годы застоя», членов неизвестных групп, участников несуществовавших выставок, дурая честным людям головы: среди них есть, наверное, и талантливые, но не настоящие, как в сказке с заколдованной принцессой и двойниками, повторяющими все ее движения. Впрочем, у людей серьезных понимание безошибочное, самое достойное было воспринято с удивительной готовностью, несмотря на, казалось бы, нетранслируемость наших контекстов на Запад. Хотя много и непонимания. То, что было здесь делом глубоко личным и имело право на автономное восприятие, попало в культурную программу перестройки, как ансамбль Моисеева в прошлом. Вылетевшие как черт из коробочки, наши художники стали одной из ставок рынка, которую можно разыграть по-разному. А степень незащищенности большинства молодых перед коммерческими играми оказалась полной: ведь у нас всю жизнь сопротивлялись

давлению идеологическому — на эту новую несвободу как следует еще не прореагировали.

Мало кто знает, что за год до победного для советских художников аукциона «Сотбис» начались наши аукционы под крылом, как потом оказалось, очень не надежным, Фонда культуры. Мы наивно, но теоретически правильно думали тогда создать внутренний рынок, воспитать новых меценатов и коллекционеров, в надежде, что к моменту встречи с международным рынком у нас возникнет какая-то своя структура, у художников появится опыт, все это было сложно пробить и устроить. И я, человек по природе не коммерческий, надеясь видеть наших художников свободными от идиотии комбинатовских заказов, интриг Союза художников, тупости закупок Министерства культуры, в нормальном достойном положении людей, способных своим профессиональным трудом зарабатывать себе на жизнь, полагая, что именно рынок принесет им свободу, страстно боролась за коммерциализацию советского искусства. Теперь мне не по себе от того, как эта блестящая затея удалась, конечно, благодаря англичанам. Когда я вспоминаю, какие смехотворно маленькие цены были на наших аукционах, как собирали покупателей, а мысль о приобретении картин была совершенно чужда нашим даже богатым людям, предпочитающим тогда копии чего-нибудь известного, дорогие репродукции или грузинскую чеканку, как мы гордились, что удалось продать почти половину! Через год цены выросли в 1000 раз, нагрянули галерейщики, это было похоже на Клондайк. Теперь-то наши Новые Богатые поверили, что картина — лучшая форма вклада, теперь они все готовы скупать за рубли все начисто, в надежде перепродать это за валюту, теперь наших друзей пасут те, кто раньше торговал джинсами или валютой и художников в упор не различал, теперь отбою от них нет, такова новая конъюнктура. Конечно, и количество художников возросло пропорционально спросу, и не все плохи, есть очень интересные, но я занудно продолжаю не доверять авангардистам, появившимся во время золотой лихорадки, предполагая, что для авангарда нужен особый тип личности и соответствующие погодные условия, но, наверное, я не права.

Впрочем, не стоит и идеализировать прежнюю дружбу, это ведь было явление социальное. Определенный тип личности мог выжить тогда только в группе. Дружба была призвана заменить собой все то, что у людей должно быть: свободный доступ к информации, право везде высказывать свою точку зрения, какую-то социальную защищенность, да, наконец, возможность или поездить, а не выслушивать рассказы знакомых, знакомого, или взять деньги в долг в кредитном банке, а потом уже добровольная симпатия свободных людей. В общем-то, все сидели в одной банке вынужденно, хоть ее и любили, отползти можно было только на погибель. Помню, Андрей Ройтер, участник великолепной спонтанной группы «Детский сад», названной так потому, что именно детский сад ребята сторожили и в нем и жили, сказал: «Новую свободу все используют как свободу разбежаться». Так оно и вышло. Андрей давно интенсивно работает в Кельне. В общем-то, трудно взрослым людям жить как дружному отряду в походе, хотя кто ж не вспоминает походы и прочее.

Главным конкурентом «Эрмитажа» в то время был Клуб авангардистов, и это была очень удачная ситуация. Большинство членов клуба участвовали в выставках «Эрмитажа», но и отстаивали границы своей прежней эзотеричности, поддерживая этим давление, необходимое, чтобы двигаться вперед. Если «Эрмитаж» тяготел к традиционным «респектабельным» выставочным формам, стараясь музейной подачей ввести авангард в контекст советской культуры, то на своих выставках те же люди демонстрировали желание уйти от такой интерпретации и выпадание из этой культуры. С неумолимой веселостью устраивали хорошие выставки, как праздники, то в Сандуновских банях, то в крошечном зале Пролетарского района с концертами «Среднерусской возвышенности», талантливым и, к счастью, смешным издевательством над социальной озабоченностью наших рок-музыкантов. И, наверное, самым нежным воспоминанием о времени иллюзии перестройки останется поездка, устроенная клубом на пароходике с надписью «С кем вы — мастера Ренессанса?» летом 87-го года. Боже мой, какими же мы умели быть счастливыми и беззаботными! Теперь я понимаю, что это время было чудом случившейся со взрослыми людьми дурацкой юности, и спасибо за это тем, кто следит за справедли-

востью. Впрочем, расплачиваться за эйфорию пришлось скоро.

Следующим после «Эрмитажа» и «Клуба авангардистов» объединил художников Фурманский переулок, в котором жил когда-то Мандельштам. Правда, теперь знакомая англичанка, не ожидая пошутить, переспросила: «Художники живут for money?»

Колония в Фурманном образовалась по естественным законам улья. Этот большой, из нескольких корпусов, доходный дом начала века давно уже выселили и начали перedelывать коммуналки под дорогие, как говорят, «генеральские» квартиры. А в одном корпусе еще давно, в прежние времена, две квартиры занимали мастерские «Мухоморов» и их друзей. Все это люди не просто талантливые, что не мало, а обаятельно талантливые, увлекательно талантливые, способные, как выяснилось, создавать креативное поле, которое может трансформировать любых попавших туда людей. Формально их творчество можно назвать концептуальным, но, в отличие от старшего поколения концептуалистов, рафинированно интеллектуальных, этот вариант даже эмоциональнее, если хотите, трогательнее. Работы К.Звездочетова, С.Гундлаха, братьев МIRONЕНКО, А.Филиппова, Ю.Альберта созданы не столько усилиями сильного интеллекта, но прежде всего живого и острого ума. И первая реакция на них раньше была — радостное хмыканье. Теперь хмыкаю только от Кости Звездочетова, создателя нашей классики — романа-холодильника, сохранившего и прежний облик, несмотря на долгие вояжи, и прежний язык. Может, это я утратила остроту восприятия, потому что в профессиональном отношении все работают уверенней, но холодной.

В общем, ко времени аукциона «Сотбис» и последовавшего нашествия галерейщиков оказалось, что Фурманного не минует никто из них, ни в чем не схожих. Вадим Захаров, с его бесконечно сложной и столь же бесконечно привлекательной рефлексией и его невероятными говорящими монстрами с хоботами, которые с «пошлым лицемерием» «мешали ему жить». Сергей Волков приехал в Москву, наверное, в 85-м году, работал фотографом, и первая же его картина стала предметом споров и восхищения, трудно поверить, что его фактурная, с изысканным колоритом самоценная живо-

пись — только повод для ироничной игры со зрителем, попадающим в ловушку между тем, что изображено и как. Срежиссированный и рационально холодный опыт изучения восприятия. Истерический карнавал работ Сергея Шутова, апокалиптическое веселье его предельно насыщенных светом, фольгой, мехом, бусами, палками, позолотой, куклами и т.д. картин напоминает о счастье бедного ребенка на огромной свалке, залитой солнцем. Все они оказались освещены прожектором «Сотбис», выхватившим из прежней жизни и озарившим заброшенный дом на всю страну золотым светом. И художники стали съезжаться сюда, занимая все новые квартиры, приходили участковые, от них откупались, и колония росла. Это оказалось удобным не только приезжающим иностранцам, в картах которых постоянно увеличивающаяся колония Фурманного была тут же обозначена как полезная достопримечательность. Кроме несомненного коммерческого успеха, который посетил, по-моему, в разной степени всех поселенцев, а под конец их было уже более восьмидесяти, постоянное общение, кипение, зависть и прочее для некоторых оказались замечательно полезными, пробудив от дремы. Тогда казалось, что над Фурманным из труб валит дым и работает заводик времен начала нэпа. Если раньше, приходя в мастерскую, все сразу садились пить чай и разговаривать, то теперь художники говорили, только повернув на минуту голову, но не переставая работать. Москва никогда не знала такого темпа. И этот, как считалось, западный ритм постоянной работы дал какие-то результаты. Стали всходить коммерческие звезды. Одно время все приехавшие мечтали приобрести картины Ершова, это было похоже на общемировой гипноз, при своей незаурядной работоспособности Валера не успевал за спросом и работал наперегонки со своими ценителями как гонщик-каскадер, а кто кого, мне теперь из-за океана не видно, гонка умчалась. А первый раз он выставился на огромной выставке «Лабиринт» в 88-м году. Кого там только не было. К этому времени все художники объединились в группы, как в боевые отряды, с манифестами, союзами между группами и внезапными делениями, распадами. Мы смотрели снятый рапидом фильм. Это была последняя возможность собрать под одной крышей и правых, и левых, и результат напоминал ярмарку, но тогда

слово «плюрализм» у нас только учились произносить, и делать такую выставку было забавно. Выставки — вообще, конечно, портрет времени; на 17-й молодежной в 86-м году чувствовался страстный напор зрителей, на выставке «Лабиринт» в 88-м — натиск художников, почувствовавших свое наступившее время. Потом начались поездки, страсти в Москве улеглись, и на моей любимой выставке «Дорогое искусство» торжествовало новое успокоенное, как бы европейское пространство. Осуществилась попытка выставки перенестись за своими участниками в те миры, которые они осваивали, а в придуманном Сорокиным названии появилась печальная ирония.

Кончался Фурманный печально. Отцы-основатели давно покинули его, и молодые, вернее новые, встречая, даже не узнавали их в лицо. Работать нормально там стало не легче, чем на Казанском вокзале. Но новобранцы все продолжали приезжать, рассказывают, как оказавшийся в Москве проездом из Одессы в Израиль некто Сеня — узенькие глазки попал на Фурманный, наверное чтобы, как все, купить картину в дорогу, но, побродив целый день по мастерским, решил остаться и стать здесь скульптором, потому что скульпторов на Фурманном не было и он, видно, решил, что это дефицит, и действительно зажил там, месил из цемента каких-то ужасных слонов. Впрочем не мне грустить о Фурманном, я не любила поздний Фурманный за ажиотаж и вторичность. В октябре отключили отопление, но художники накупили электронагреватели, отключили свет, но днем еще можно было работать, потом воду, и, когда начались настоящие холода, удалось выжить последних.

Глупо, что, будучи теперь людьми весьма состоятельными, художники по-прежнему бесправны, а не членам уже совсем агонизирующего Союза художников ни мастерских, ни красок не положено, что при нынешнем дефиците — катастрофа. Так что внешне жизнь их выглядит в этой стране жалкой и как бы ненужной. А для западных критиков — и вовсе загадочной: они-то знают, что люди это известные и не бедные, поэтому склонны приписывать их сиротскую жизнь не дурацким обстоятельствам, а особой эстетической программе. Я всякий раз выслушиваю от коллег потрясенные недоумевающие восклицания, когда мы приходим к Игорю

Ганиковскому, московскому интеллигенту, чья полная глубоких, искренних размышлений живопись хорошо известна на Западе и даже у нас, в коммуналку, где Игорь в одной маленькой комнате и живет, и работает, и хранит работы. И их потрясенное: «Почему так? Ведь он член СХ». Но, видно, все остается по-прежнему, и его очевидная серьезность и интеллигентность — достаточно веская причина для ответа.

Сейчас Москва выглядит пустовато. Центр нашей художественной жизни оказался западнее нас. Там проходят большие выставки, печатаются статьи о них, мы оказались одновременно и важным культурным центром, от которого еще чего-то ждут, и глубокой провинцией, которую все, повзрослев, покидают. И не потому, что художники не патриоты или ищут выгоды в твердой валюте. Но, оказавшись на Западе, они наконец встретились с той культурой, частью которой они, несмотря ни на что, все годы были: ведь Россия — европейская страна, и изолированы мы были насильно. Да, развивались мы параллельно, но в одном направлении, эта встреча произошла сейчас, а могла еще через десять лет, и кто-то бы дождался, потому что это закономерная встреча, как слияние Германий. Скоро русские художники лишатся ореола новизны и некоторой загадочности, но это будет самым важным и полезным: тогда мы наконец полностью вернемся на нашу общую культуру-родину и заживем на ней не как заморские гости, а тихо, как хозяева.

Впрочем, сейчас растет действительно новое поколение, которому удастся чувствовать себя свободными не только от насильственной привязанности к родине, но и от любви к загранице: вполне взрослая дочь на мое предложение летом пожить в Стокгольме спокойно ответила: «Ну и что я там буду делать?» Мифа заграницы, как и прочих наших мифов, для них уже не существует, и то, что для нас полно скрытых символов, — для них чистый лист, на котором они могут изобразить, что захочется, и захотеть то, что нам и в голову не приходит. Если это и правда так, и мы дожили наконец до свободных людей, то и в художественном мышлении произойдут перемены. И на смену агрессивному, нетерпимому к чужой точке зрения мышлению модернизма, пока еще актуальному у наших, как у боевой группы, сражающейся с тупостью и несвободой, для которой и постмодернизм новое боевое оружие, появится постмодернизм, спокойный и беско-

нечный закат, все примиряющая, всех уравнивающая игра в смерть искусства, которое слишком прекрасно, чтобы умереть. Ну это если, конечно, не дойдет до настоящего оружия.

А пока, попав на Запад, наши художники увидели налаженную структуру жизни визуальной культуры, опирающуюся на образ жизни людей, для которых картина — не символ политической причастности, а ее покупка — не авантюрное приключение, а проявление личного вкуса, а значит, информация о выставках, чтение художественных журналов — практическое занятие. Когда они увидели, как живет их работа на профессионально сделанной выставке с правильным светом, каталогом, когда увидели новые профессиональные возможности, новые, хоть и очень дорогие материалы, не попробовать всего этого, не увидеть того, о чем читали в журналах, было бы нелепостью. А потом, если еще недавно выставки авангарда в Москве были вестью о новой жизни и собирали массу людей... Я вспоминаю очередь вдоль всего Кузнецкого, в зале споры до драк, надписи: «Так их, ребята» на 17-й молодежной выставке, где впервые можно было официально увидеть наш андеграунд, затиснутый на одну стенку у буфета, но какой резонанс по всей стране. Восхитительное головокружение ранней перестройки! Теперь от новой жизни не ждут ничего радостного, на фоне митингов, забастовок, инфляции, крайней политизации общества — да есть просто нечего! — выставки перестали быть событием социальной жизни, а круг образованных эстетов очень узок, думаю, как и везде. Когда критическое мышление соцарта становится новой конъюнктурой и те же люди, что раньше запрещали, перестроившись, хотят «как посмелее», то уже, естественно, и не хочется. И, я надеюсь, наши художники найдут на Западе новую точку опоры, потому что почти все строилось на противостоянии, а все, во что упирались, размякло и расползлось, а с киселем не повоюешь. После поездок нашим художникам почти всем здесь очень нравится, тут ведь не скучно, каждый день что-нибудь происходит, такое напряжение во всем. Работать, правда, лучше там, но рвать связь с этим кипящим котлом почти никто не хочет. Но когда то, что у живущих здесь вызывает раздражение и страх, у них вызывает интерес, то, значит, уже появилась дистанция, позволяющая не чувствовать боль, обиду, унижение и,

как всегда, помогающая живущим вдалеке любить родину. Сейчас складывается образ жизни художников, подобный жизни начала века, причем Берлин так и остался Берлином, а место Парижа занял Нью-Йорк, который надо завоевывать. Но то время было самым плодотворным для русского искусства, так что горевать не о чем, надо только подождать.

Новая волна смыла старые отношения, и пока не видно, что будет построено. Разрушенным оказалось и плохое, и хорошее. То, что наша милая, чудная, искренняя неофициальная культура умерла, стало очевидно на последней выставке «В сторону объекта».

Редко бывает, что дизайн добавляет выставке дополнительный смысл, но когда я увидела странные, по большей части маленькие, наверно, в противовес огромности страны — впрочем, все они создавались раньше для квартирных выставок, от этого и размер, — объекты, как бы упакованные в большие картонные коробки, то решила, что, похоже, их собираются убрать на чердак, как старые детские игрушки. Как быстро все происходит: то, что совсем недавно было дерзким оружием, оказалось полными археологического обаяния домашними божками ушедшего навсегда народа. Хотя авторы, еще молодые, стояли рядом, эту ностальгическую грусть почувствовали, по-моему, все. Может быть, это и была та «красота, которая спасла мир» от царства тоталитарной бездарности, хотя, конечно, увидеть в этом красоту удастся не многим. Но это были деревянные ружья, из которых расстреляли официальную культуру, и это чудовище умерло. Но труп выносить некуда, и своим гниением он сумеет отравить нам еще многое. А пока мы утрачиваем свой язык, а это не то, что говорят, а то, что понимают из сказанного, и гибель этого «малого народа» отзовется как гибель дронта, если не трагедией, то печалью.

КУРЛЯНДЦЕВА Елена Георгиевна родилась в 1950 г. в Москве. Окончила искусствоведческое отделение истфака МГУ. Работала в Музее им.Пушкина, газете «Московские новости». Была одним из организаторов выставок «17-я молодежная», «Лабиринт» и др. Публиковалась в журналах «Декоративное искусство», «Юность», «Смена». Живет в Москве.

«НЕ СТАЛ НИЧТОЖНЫМ НИ ЕДИНЫЙ...»

Заметки о лирике Семена Липкина

Мы уже устали от перестроечных штампов и блоков; и очерк о Семене Липкине с них начинать тем более не хочется. Да, он — участник «Метрополя» и, следовательно, пострадавший от советских властей литератор; да, вокруг его оригинальной поэзии было что-то вроде заговора молчания (а в послеметропольские времена — уже в прямом смысле слова заговор)... Да, именно в последние годы его стали широко печатать, и теперь не только Липкин-переводчик, но и прозаик, и поэт, доступен русскому читателю. Все — чистая правда, но все же попробую начать с другого.

Дело в том, что он принадлежит к тем редко встречаемым людям, к которым особенно тянутся в бедственные времена: такие, как он, имеют дар внушать спокойствие и надежду (сами же, между тем, зачастую терзаются всеми нашими терзаниями). И, однако, в ту начально-перестроечную пору, когда мы читали до коичности жадно и лихорадочно, и литературная критика, и боюсь, читатель тоже как бы впопыхах пробежали мимо его публикаций: его стихи не вписывались в этот задыхающийся ритм. Потом, правда, дело пошло иначе, появились хорошие статьи Ст.Рассадиной, А.Немзера, вышли липкинские книги, подборки в журналах. Так оно и должно было случиться: всякий, кто хоть немного знает жизнь этого человека, понимает, что ему со временем возвращалось все утраченное и недоданное, все, чего судьба его лишала.

Ощущение таинственного сюжета жизни, ее скрытой благостности, благословенности всегда было присуще поэту:

Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Свое мятежное безволье.

Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зиждательная, неземная.

Если глядеть на его жизнь извне, то удивляет, насколько она оказывается отделенной, внаходимой по отношению к советской писательской сутолоке. Объяснения этому — в постоянстве, в спокойной устойчивости взглядов поэта. Духовные ценности, без апелляции к которым не обходится теперь ни один газетный или журнальный материал, ни одна телепередача, существовали для Липкина всегда — и существовали в той благородной неподвижности, которая духовным ценностям как раз и подобает:

Во тьме остановки конечной
Уже различаем, какой
Вращается двигатель вечный.
А движет им вечный покой.

В воспоминаниях А. Наймана приводятся слова А. Ахматовой о Липкине: она называла его «китайский мудрец». Именно спокойный житейский и поэтический ритм, который несет в себе этот человек, способность в равной мере сердечного и рационального постижения самых отвлеченных вещей, сама реалистическая простота словесного, поэтического выражения и спасают его от лихорадки «века сумасшедшего», от тех корчей, в которых он кончается. Кажется, что поэту очень должна быть близка идея Романо Гвардини о важности сохранения человеческого лица (то есть чего-то гораздо более скромного, усредненного, чем личность) в бедственные, последние времена; соблюдая в себе человека, поэт то же неизменно делает и в отношении окружающих его людей.

Не стал ничтожным ни единый,
Хотя пустеют все места:
Затем и делают кувшины,
Чтобы была в них пустота.

* * *

Создается впечатление, будто Липкин всегда жил и действовал так, словно ощущал большое время у себя в запасе. Он начинал в литературе одновременно с Тарковским, Петровых, А. Штейнбергом (каждый из них увидел свой сборник

с огромным опозданием, Штейнберг же не увидел своей книги вообще). Я уже бегло упоминала о том, что, включившись в литературную жизнь как переводчик, Липкин почти совершенно был исключен из нее как оригинальный поэт. Литературная действительность словно бы интуитивно ощущала чужое, отторгала его от себя. Сам Семен Израилевич так это объясняет: «Мой язык был чужд поэзии 30—60-х» (добавлю: и 70-х, да, может, и 80-х тоже). Его стихи и историчны, и социальные, но при этом еще мягко подсвечены религиозным отношением к жизни:

Давно ли в детстве, под осенним небом,
Зажег я огонечек — мысль свою?
Давно ли встал я в очередь за хлебом?
Состарился, а все я в ней стою.

Поэтический герой тут готовно самоуменьшается до «человека из очереди», до типового лица, до послушного материала, глины истории. Но ведь эти-то, стоящие в очередях с детства до старости, — может быть, еще и хлеба духовного они ждут, пусть неосознанно? И поэт неизменно с ними — в этом их ожидании, во всех исторических перипетиях этого ожидания.

Любое конкретное историческое событие воспринимается Липкиным с какой-то мерой обязательной философской расширительности, без однонаправленности и публицистической узости. В поэме «Техник-интендант» исторически конкретный факт — сталинское переселение калмыков — трактуется Липкиным так:

Но разве может жить без него степная трава,
Но разве может жить на земле человечество,
Если оно недосчитается хотя бы одного,
Даже самого малого племени?..
Поголовная смерть одного,
даже малого племени
Есть бесславный конец всего человечества!..

Такое же расширительное звучание получают в липкинской лирике не только собственно исторические события, но и события частной жизни, ее конкретные обстоятельства. Всем — и советскому читателю в том числе — известна и эпопея «Метрополия», и последовательно-благородное поведение С.Липкина и И.Лиснянской в этой эпопее. Два поэта

оказались в кругу, с одной стороны — забвения, с другой же — молчаливо-активного наблюдения. По этому поводу Липкин сказал:

В телефоне спрятан сыщик,
И подслушивает он:
Может, вслух я согрешу.
Я же только переписчик
Завещающего закон:
Он слагает, я пишу.

В эти же послеметропольские годы на Западе у Липкина вышли два сборника — «Воля» и «Кочевой огонь». Помню свое впечатление от них, в полной мере подтвердившееся во время последующих чтений его публикаций в отечественных журналах. Казалось (и, думаю справедливо казалось), что для Липкина существует одно капитальное разделение всех явлений и вещей в мире на две категории: то, что природно, естественно, и то, что внеприродно. В этой связи еще раз процитирую строки из «Техника-интенданта»: «...Но разве может жить без него (калмыцкого народа. — Е.С.) степная трава...» «Степная трава», а вслед за нею и человечество противопоставлены несправедливому суду. Там же, где иссякает правда в человечестве, выступает как хранительница всех ценностей (в том числе и нравственных) природа:

Для чего ему, саду, слова,
Если ветками яблони всеми
Доказал он, что правда жива,
Что недаром полны торжества
И бесстрашны плодовые семьи.

Человечное и природное взаимно подобны; чем человеческое, тем природнее, и наоборот. Это — давняя мысль Липкина, и разнообразные подтверждения ей он находил, обращаясь к чужой, инородной, подчас трудной для понимания, для разумения жизни. Видимо, переводческая деятельность Семена Израилевича дала ему навык вникания в судьбу другой нации, чтения этой судьбы как подстрочника. Например, он сказал об обитателях степи:

И низкорослы, и широкогруды,
Здесь люди полны странной задушевности.

Эти строки написаны в 1940 году. Как тут не вспомнить слова Ст.Рассади́на: «Поэт, конечно, менялся, что неудивительно, — удивительно то, что изменился так мало». Эти слова справедливы в том, в частности, отношении, что дар понимания других (настолько редкий, что Д.Самойлов, например, воскликнул: «Нет! Невозможно научиться себя и ближних понимать!») — этот дар, бесценный для переводчика, поэта, человека, Липкиным и сохранился, и приумножился. Понять ближнего и дальнего, понять *природность*, жизненную основу человека другой национальности — это значит в первую очередь искренно оплакать его горе. Ибо в наши, постсталинские времена кончился, видимо, экзотический, фольклорно-этнографический интерес наций друг к другу; осталось либо сочувствие к чужому страданию, либо ожесточение к инородцу.

И когда стенняк иль горец
Жгли судьбу в чужом краю,
Робко трогал стихотворец
Лиру — добрую змею.

И она повествовала
Не про горе и беду,
А про то, как жизнь вставала,
Как готовили еду...

То *горе инородцев*, о котором в стихах Липкина сказано с каким-то неизбежным лирическим смягчением, с тем особым преломлением, которое придает своему материалу поэзия, есть тема и прозаической «летописной повести» «Декада». Там говорится: «Каким-то особенным холодом веяло время... Вот он спецпереселенец, потому что родился от матери-тавларки и от отца-тавлара, (...) Значит, его народ есть его вина. И вина немцев, высланных из Ленинграда еще до войны с немцами, есть их народ. С ними вместе высланы и русские, но у них другая вина, они враждебны пролетариату. Им лучше. Они могут повиниться, они могут дожидаться счастливого дня, как дождались саратовские, пензенские, самарские, и перестанут быть виновными. А он виноват навсегда, потому что он тавлар. У Сарият Бабраковой родился в скотном вагоне мальчик, и он родился виноватым. Ему еще пуповину не перерезали, а он уже был виноват перед родиной, перед Сталиным, перед всем советским народом, потому что

на крохотном тельце есть незримое клеймо: тавлар. Одни народы, и среди них — соседи тавларов, виноваты, другие не виноваты. Но, может быть, невиновные сегодня будут виновными завтра? Как уйти от вины, если твоя вина — твой народ? (...) Но что такое народ? Как часть людей, отделенная от другой части, становится народом?»

Тут вот на что важно обратить внимание. С.Липкин, несомненно, осознает национальность человека как дар и как чудо его прикрепленности к одной из ветвей человечества. Но он отдает себе отчет и в определенной трагичности этого чуда: «...часть людей, *отделенная от другой части...*» (курсив мой. — Е.С.) Иными словами: ствол человечества расходится на разные ветви, и так тому суждено быть до скончания века.

В этом смысле трагизм исторической судьбы евреев показателен; в нем как бы сгустились до предела претерпленные и другими нациями (в особенности в двадцатом веке) отделенность от остального человечества и в то же время — растворенность в других народах:

В светильниках чьих загоримся
И чьи утеплим очаги?

Это достаточно сложное (но вовсе не противоречивое), сильное и острое переживание и своей, и чужой национальной принадлежности соединено еще и с жгучим ощущением своей принадлежности России, окончательной скрепленности с ее исторической судьбой — какой бы лютой эта судьба ни стала для частного человека:

И пусть по России прошелся терпуг,
Россия — росой обласканный луг
И памятный первый погромный испуг.

* * *

С.Липкину присуще спасительное чувство повседневной причастности к чему-то большему, чем он сам. Полагаю, что именно это поддерживало и поддерживает его и тех, кто его окружает и его читает. Чувство его достаточно редкое, и тем более редко случается, что оно с таким постоянством присутствует в словах и делах человека. (Кое-кому еще памятен сюжет одного из выпусков ленинградской программы «Пятое колесо», посвященный «Метрополю». Вик.Ерофеев там про-

цитировал Липкина, которому после выхода альманаха угрожали карой со стороны секретариата Союза писателей. «У меня скоро другой секретариат будет» — указав вверх, сказал поэт.) Оказывается, что нет ничего нейтрального, безразличного для Высшей Силы, — поступка, действия, жеста; ты всегда и абсолютно во всем — под Божьим Оком. Надо захотеть ответно ощутить эту близость, и она проявится как в совершающихся исторических событиях, так и в повседневности:

Когда мне в городе родном,
В Успенской церкви, за углом,
Явилась ты в году двадцатом,
Почудилось, что ты пришла
Из украинского села
С ребенком, в голоде зачатом.

.....
Когда Казанскою была,
По Озеру не уплыла,
Где сталкивался лед с волнами,
А над Невою фронтовой
Вы оба — ты и мальчик твой —
Блокадный хлеб делили с нами.

Когда Сикстинскою была,
Казалось нам, что два крыла
Есть у тебя, незримых людям,
И ты навстречу нам летишь,
И свой полет не прекратишь,
Пока мы есть, пока мы будем.

Ощущение причастности к высокому неизбежно диктует человеку трезвость — если не суровость — самооценки. Вспомним: совсем еще недавно, пока критическая масса социальных потрясений на нашей родине еще не была достигнута, в литературных изданиях жгуче обсуждался вопрос о том, кто из писателей и как вел себя во время исключения Пастернака. Одни призывали к покаянию, другие от покаяния публично отказывались. Все вместе и тогда, и уж в особенности теперь производило странное, достаточно далекое от Пастернака впечатление. (Пишу это, сознавая, что, какое бы впечатление ни производили дебаты такого рода на меня, общество — и пресса в частности — должны были с неизбежностью через них пройти). По этому как раз поводу

(а именно — об уклонившихся от голосования) Липкин высказался еще в начале восьмидесятых, в поэме «Вячеславу. Жизнь переделкинская» (которую, понятно, напечатали на родине много позже):

Как смеем хвастаться, что светел был порыв?

Нам надо, скопищу виновных,

У господ просить, чтоб нас простив, укрыв,

Хоть отделил от злобесовных!

Прости меня, прости, я виноват;

Я в маскарад втесался пестрый,

А как я был богат! Мне Гроссман был как брат,

Его душа с моею — сестры.

Кстати: тот же отпечаток строгого самонаблюдения, нравственной дисциплины носят и литературные воспоминания Липкина, как опубликованные (о Мандельштаме, Гроссмане, об А.Штейнберге), так и слышанные мною устно. Они не только осмысленно-точные, существенны, но и привлекают тщательным соблюдением достойной позиции мемуариста в отношении его центральных героев. В них видна принадлежность к эккермановской традиции: тот, кто вспоминает, хочет уйти в тень, а предмет своего повествования показать во всевозможной полноте и объемности, во всем блеске живой жизни. (Добавлю: только так — как бы нехотя, исподволь — мемуарист и может занять достойное «фоновое» место в своих воспоминаниях. Ущербен как раз тот вспоминающий, который претенциозно себя оценивает.) Липкин пишет: «Я не был обделен судьбой, был знаком с великими поэтами: очень близко с Мандельштамом и Ахматовой, случалось беседовать с Андреем Белым, Волошиным, Пастернаком, Цветаевой. Я не буду сравнивать с ними Штейнберга как поэта, но уверен, что как человек он был так же значителен, крупен, как и они. Он неохотно рассказывал о лагерных годах, но часто говорил, что благодарен судьбе за все тяжкое, выпавшее на его долю. Страданием душа поэта зреет. Он умер как поэт — недалеко от своей деревенской избы, упав на августовскую тверскую траву возле своей моторной лодки».

Для Липкина это бесконечно важно: жить как поэт и умереть как поэт. В данном случае слово «поэт» вовсе не означаетдемиург, авгур или что-то подобное; «поэт» означает — человек, человек на пределе своих возможностей, или,

как говорил Шекспир, «человек во всем». Мысль о человеческой — в полном смысле слова — жизни и смерти переполняет и последний по времени липкинский цикл «Новый Иерусалим». Она, эта мысль, глядит на читателя из-за угадываемого в строках цикла пейзажа прекраснейших подмосковных мест, расположенных по берегам Истры, вблизи Нового Иерусалима:

Мы здесь навек. Мы не уйдем отсюда.
Земля нам не могила здесь, а лоно.

Елена Степанян

ТРИ ВЕКА

Россия от смуты до наших дней

Исторический сборник под редакцией В.В.Капаша в шести томах.

Репринтное воспроизведение издания т-ва ИД.Сытина 1912—1913 гг.

Москва, «ГИС», 1991

**Заказы на издание принимаются по адресу:
129010, Москва, а/я 31, Издательство «ГИС»**

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«ЧЕРНАЯ ДЫРА» ПОСТПЕРЕСТРОЙКИ

В начале мая я вернулся из очередной, третьей по счету поездки в Москву. И от поездки к поездке впечатления от происходившего в стране становятся для меня все более угнетающими. Угнетают даже не пустые полки магазинов, хмурые очереди возле них, не разруха во всех буквально сферах общественной и социальной жизни, а прежде всего атмосфера всеобщей ненависти ко всем и к каждому, которая наподобие серной кислоты разъедает страну сверху донизу. Но над всеми фобиями терзающими теперь современное советское общество, преобладают в первую очередь фобии национальные.

Поэтому для меня лично, как человека, как писателя, как, наконец, сопредседателя созданного нами на встрече в Риме комитета «Национальное согласие» («Римское движение»), из всех современных проблем не только нашей страны, но и человечества вообще, и волнует преимущественно проблема национальная, ставшая сегодня уже подлинным знаменем, если не проклятием современности.

Самым угрожающим в нынешнем разрушительном процессе мне представляется стремительная ливанизация человеческого сознания, когда межнациональные конфликты тут же перерастают в конфликты внутринациональные, когда в недрах еще вчера сплоченных идей суверенитета народов возникают почти немотивированные междоусобицы, когда, наконец, гражданские и социальные распри эти оборачиваются непримиримым противостоянием всех против всех и каждого против каждого. Во что подобная ситуация может вылиться в самом ближайшем будущем, об этом мне не хочется даже думать.

Я готов согласиться с теми, кто утверждает: наша страна — это империя; правда, империя особого, идеологического типа, где имперский народ не пользуется никакими политическими или социальными привилегиями перед другими населяющими ее народами. Скорее — наоборот.

Но можно ли назвать империей Чехословакию с ее «нежной революцией», где с зеркальной адекватностью отражаются все происходящие у нас процессы и которая с еще большей, чем у нас, стремительностью разваливается на глазах у всех?

Можно ли также назвать империей Югославию? Едва ли. А между тем национальная рознь в этой стране приобрела не меньший, чем в СССР, накал, в результате чего Балканы вновь, после недолгого исторического перерыва, превращаются в пороховую бочку Европы, а гражданская война уже бушует на границах Италии.

Я готов согласиться с тем, что трагические эти процессы являются следствием порочной национальной политики тоталитарных режимов, но тогда давайте зададимся вопросом, какими мотивами руководствуются сепаратисты самых что ни на есть демократических стран, устилаемая безвинными жертвами свой героический путь к столь желанному для них суверенитету: в испанской стране басков, на французской Корсике, в английской Северной Ирландии и прочее, и прочее, и прочее?

Я готов не только согласиться, но и всячески содействовать независимости любого, даже самого немногочисленного народа, но только в том случае, если ее — этой независимости — добиваются законными, сугубо демократическими средствами. Если же это происходит за счет чужой, да к тому же еще и чаще всего ни в чем не повинной крови, то я вправе назвать такое явление обыкновенным фашизмом, моральным и нравственным СПИДом нашего времени, подлинной чумой XX века.

Поэтому я убежден, что выход у нас один-единственный — диалог, как бы мучительно труден он ни был. Другого глобуса, увы, нам уже никто не предложит, и мы обречены жить рядом друг с другом. В этом фатальном соседстве мы вынуждены будем или договориться в конце концов, или перегрызть друг другу глотки. Так что выбор у нас невелик. И от того, что восторжествует у нас — разум или эмоции, зависит выживем ли мы на этой земле вообще.

К сожалению, я никак не могу причислить себя к большим оптимистам. Я почему-то считаю, что мы уже сели в поезд, который везет нас в наше завтрашнее Сараево, но, может

быть, мы еще способны, если не остановить этот безнадежный состав, то хотя бы перевести стрелки, чтобы выкатиться на спасительную железнодорожную «горку», откуда мы смогли бы вернуться в исходное положение и попробовать двинуться в более благоприятном направлении. Может быть, это уже невозможно, но давайте все же попытаемся. Царствие Божие, как известно, усилием берется.

Я убежден, что в ситуации, которая сложилась сейчас в стране, пора отказаться от извечного русского вопроса «Кто виноват?», ибо поиски виновных в случившемся с нами в настоящее время лишь усугубляют эмоциональную напряженность в обществе, накаляя социальные, политические и национальные страсти.

На мой взгляд, отныне актуальным становится другой и тоже типично русский вопрос «Что делать?». Если в ближайшем обозримом будущем мы не найдем на него ответа, то не только Россия, но и весь посткоммунистический мир сделается, выражаясь языком космологии, огромной «черной дырой», которая наподобие гигантского пылесоса постепенно всосет в себя и всю Западную цивилизацию

Итак: что делать?

И это вопрос теперь не только для нас, но и для Запада.

К. Р.

Стихотворения

Первое послереволюционное издание произведений Великого Князя Константина Константиновича Романова (1858—1915)

Москва, Литературный фонд РСФСР, 1991

Заказы направлять по адресу:

Москва, 129010, а/я Э1, издательство «ГИС»

НАША ПОЧТА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Б.Н.ЕЛЬЦИНУ

Пролог

«Фигаро—Магазин» — 27 апреля 1991г.

«Если Вы не желаете, чтобы Вам наговорили вещи, которые Вам не понравятся, не приходите (больше) в демократический Парламент... Вот дверь, Вы можете выйти»... Что случилось? Какой чудовищный акт совершил Борис Ельцин, для того чтобы лидер группы социалистов в Европейском Парламенте Жан—Пьер Кот так его третировал?... От имени кого Жан—Пьер Кот позволяет себе третировать с надменностью «людей из замков» представителя 150 миллионов русских, выбранного 89 процентами избирателей Москвы... Это правда... что он (Б.Ельцин. — Ю.З.) не читал баронессу Надин де Ротшильд, и он не знает, что нужно давать обнашивать костюмы и туфли своему слуге до того, как их носить самому. Короче, можно чувствовать, что это человек из народа... Но я боюсь, что имеется другая причина: если Жан—Пьер Кот, используя слово «мы», подтверждает (в другом выступлении. — Ю.З.), что «мы» предпочитаем Горбачева Ельцину, потому что советский лидер знал, как воплотить свою топорность и свой аппетит власти в «гуманную» речь? (Откуда это так «точно» черпает мотивации политической тактики сам автор из другого демократического учереждения? Из brutally жестких в своем существе (в течение неподготовленной импровизации) западных телевидизированных «матчей по боксу» между политическими деятелями, часто с попытками ударить ниже пояса, когда актер выходит из своих продуманных апломбов? — Ю.З.) Лицемерство, вот что уважают... Кот и его друзья...»

*Кристин Клерк.
Париж, 17 мая 1991*

Уважаемый Борис Николаевич!

Некоторое время назад мне пришлось прочесть заметку в «Фигаро—Магазин» после Вашего визита в Париж, в которой автор, в частности, считает, что тот факт, что Вы не читали книг баронессы Надин де Ротшильд или не имеете слуг, которые Вам бы разнашивали новые ботинки или костюм, не оправдывает примитивно хамского обращения к Вам, когда Вам был предложен «выбор»: или выслушать дерзкие вещи (интересно было бы послушать и «поучиться», как это делается ни с того, ни с сего), или (больше) не приходите в Европейский парламент — со стороны руководителя (!) группы социалистов (!) в Европейском парламенте, бывшего министра. (Кстати, ему платят во много, много раз меньше, чем имеет владелец какого-нибудь кафе в центре Парижа, для которого отдых — это работа, а в этом мире, как Вы

знаете, все относительно — так что будьте к ним снисходительны, по-своему, пожалуйста)¹.

Я никогда такого не слышивал в международных отношениях (тем более, что Черчилль вставал, когда убивец Сталин опаздывал на конференции в Тегеране, а тупицу-разваливца Хрущева целовали во все места, по-лысенковски), и меня это отношение к Вам очень сильно возмутило. Поэтому насчет книги баронессы Надин де Ротшильд: я придумал ее Вам передать, Вам Ваш министр культуры ее переведет — что нужно. А насчет остального: я думаю Вы сами найдете повод ответить как надо, где надо, когда надо и кому надо с присущей Вам иронией.

Я убежден, что Государство-Государство или, точнее, Государство-Государства тут ни при чем: вежливый обмен мнениями, идеями и традициями при истинной демократии всегда и всегда может иметь место, если этого никто не боится, не находя самый примитивный повод рвать отношения, после чего в личных контактах говорят: да идите Вы... Ведь принимают на всех уровнях, например, Премьер-Министров теневого Британского кабинета со всеми почестями, на которые даже формально Вы имеете полное право. Судя по Вашему остроумному замечанию о демократическом Парламенте, демократии, М.С.Горбачеве и Союзе², ставившему все точки над «i». Я думаю: четко двусмысленному и верному — А откуда вы это знали? Ведь в ВПНЗ³ этого не преподавали, а они этого не выдают ни по «Голосу», ни без «Голоса»⁴, Вам просто хотели показать, что Вас принимали за «стоявшего «шагов на сто ниже по ручью». Так что шайба теперь в Ваших руках. «А что скажет Борис Николаевич?» Успехов Вам в вашем дерзающем начале.

Я полагаю, батенька, что Вы согласитесь со мною, что организация фундамента введения новых технологий, начавшаяся еще в 60-х годах в США, приведшая к невиданному еще взлету науки-техники, была образована далеко не лучшим образом (понимание, что иммобилизм в принципе опасен — это лишь элементарное историческое следствие этих достижений — централизованная система при хорошем воображении может во много крат усиливать новое, лучшее, но она также обоюдно остра при установившемся консерватизме). Вы это видели, например, избестселлера Фрейбергера «Силикон Валлей» — они сами во многом обуславливают этот взлет высокой концентрации фирм и университетов, когда встречи фирмачей происходили в каком-то кафе, где стихийная политика получить себе информацию, *скрыв при этом свою*, играла преобладающую роль. Полагаю также, что профессиональный, *яркий диджест* других материалов этих и более поздних времен, а также наиболее интересные материалы, печатающиеся в таких журналах как «Buiseness week», «The Economist», «L'Expansion» и многих других, которые, в принципе, могли бы быть использованы в той или иной обработке в новой Союзной обстановке, неразлучны с

Вашим (и Ваших сподвижников) столом. Ну, а, например, наиболее запечатляющиеся кадры съемок, в том числе благодаря новому удобному камероскопу (магнитная пленка) при посещении Вашими делегациями фирм, лабораторий и т.п., вытеснили даже просмотры художественных фильмов, и после приема по установившейся ранее традиции вместо «Ивана Грозного» можно видеть и слышать комментарии к таким профессиональным В МОНТАЖЕ и значит нескудным съемкам... Ну, а принципиально изготовленные макеты всех лучших нововведений, которые можно видеть необъемлемыми тысячами в скучных Патентных публикациях (и другие подобные разделения трудов), уже не ошеломляют Ваши кадры, так что их яркие образные впечатления сублимируются в ошеломляющие мир открытия и нововведения... (для точек не хватит места)...

Я хорошо могу Вас представить как человека, создающего новую (и в новом контексте) невиданную еще атмосферу чистого и честного творчества и созидания, зачатки которой искрились в 20-х годах, и которая должна была пугать людей, решающих глобальную стратегию международного капитализма. Вот почему так беспрецедентно целил в Вас Монсеньер Демократ: нет контактов — нет заразы от искреннего человека. То, что они были искренни, нет сомнения. Самый важный для них вопрос №1: «возможность построения социализма в одной стране» — обозначал неизбежность нападения из-за зависти и из-за опасности подражания народами капиталистических стран именно хорошей и счастливой жизни для всего населения при построенном социализме. Сталин лишь пожал плоды, которые могли быть гораздо внушительнее, держа на всякий случай на важных хозяйственных и теоретических постах опытных революционеров — сподвижников Ленина, которых он убрал, уверившись окончательно в успехе. Но идет ли это далее сегодня, далее искренних порывов?

Вы помните, как после запуска первого спутника, русский язык и культуру начали интенсивно изучать по косточкам на Западе, без всяких усилий громоздкой и неэффективной пропаганды. Инцидент, который произошел с Вами, никогда не мог бы иметь места в таких обстоятельствах, где о «ручье» не могло бы быть и речи — Вы это знаете лучше меня. Остается только мочь. А можете ли Вы вопреки известной басне Крылова в этот переломный момент истории, когда «верхи» понимают, что «промедление смерти подобно», а «низы» согласны с тем, что по-старому — не лучшим образом. Тем более, что Вы пожинаете сегодня отсутствие массы очень высокого и высокого уровня кадров и тщательности исполнения, на что требуются годы и годы труда и отобранные гены, то что пожал Сталин в 30-х и Хрущев в конце 50-х, но сегодня это беспредельно труднее: в эпоху экспоненциального продвижения новых высоких технологий и тщательного их сокрытия³, максимально возможного без собственных потерь и неудобств... Законы истории должны сказать «Да». Но не всякая химическая реакция

происходит, даже если она не противоречит законам термодинамики, не всякое могучее дерево может вырасти. И если сегодня есть эти обстоятельства, то завтра их может и не быть, и Ваша энергия — тому понимание.

Еще раз успехов Вам в Вашем дерзающем начале.

Ю.А.Загянский

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Кстати, размер жалований от Президента и директоров фирм до дворников не является ни для кого секретом на Западе, но любая информация, касающаяся величины *регулярных* доходов этого жанра «свободных» людей полностью отсутствует на страницах печати, включая «Юманите» или крайне левую «Красная», что недвусмысленно подтверждает подозрение на крайне правую манипуляцию «крайне левых» «Красных Армий» и «Красных Бригад» делать весьма не «то», что в десятку. Судя по фильму «Мадам Клод», за подобного жанра информацию убивают у *всех на глазах*. Давнишняя речь Президента Франции о том, что он против «легких» денег, звучит насмешкой над его властью и возможностями по отношению к такому клану «свободных» людей.

² Я услышал об этом по радио «France-information». Фраза была приблизительно такая: «Борис Ельцин продемонстрировал свою дисциплинированность, сказав в Европейском парламенте, что в *Демократическом* парламенте *должны понимать*, что между ним и Михаилом Горбачевым нет различия по поводу дилеммы: быть ли СССР. Вопрос лишь, с помощью каких методов и на каких условиях это должно быть».

³ ВПШ — Высшая партийная школа

⁴ Голос Америки

⁵ Дело дошло до запрета продажи автоматических заводов по выработке молочных изделий (!)

ШУТИТЬ ЛЮБИЛ...

Помню, как художник Александр Григорьевич Тышлер показывал мне свои картины. Он любил работать циклами. Ряд картин назывался «Казенный ангел». Особенно врезалось в память: ангел лежит тихо, спокойно, положив ногу на ногу. Вся его поза исполнена доверия. А рядом — его отрубленная голова. До последнего мгновения он и помыслить не мог о том, что произойдет. Другая серия — «Расстрел голубки». Широко расставив ноги, стали в ряд убийцы птички. Она, светлая, белая — это контрастно оттенено черным фоном — летит под их дулами. Лица расстреливающих — тупые, свирепые. И вдруг Александр Григорьевич показал мне картину, где у тех же убийц не мрачные, а веселые, ликующие, сияющие лица. Страшное стало еще страшней. Расстрел голубки для участников не просто дело, долг, обязанность, но — удовольствие, радость.

Юрий Боров в книге «Сталиниада» («Советский писатель», 1990) приводит слова великого вождя: «Высшее наслаждение — найти для себя врага и раздавить его, а потом выпить бокал хорошего грузинского вина».

Не просто душегуб, а душегуб-гедонист, для которого «раздавить врага» — наслаждение, и даже — высшее.

В книге приводятся слова Микояна о Сталине: «Шутить любил».

— Жить стало лучше, жить стало веселей, — жизнерадостно приговаривал товарищ Сталин, отправляя людей на расстрел, на виселицу, в глухую, дальнюю, невозвратную ссылку.

Часто приходится читать: Сталин был подозрителен, у него самого, преследовавшего всех и вся, была мания преследования. И автор «Сталиниады» приводит ряд соответствую-

Юрий Боров. Сталиниада. М., «Советский писатель», 1990.

щих примеров. Но вместе с тем показывает, как король забавлялся и как, совершив очередное преступление, весело выпивал бокал хорошего грузинского вина.

На память приходят первые дни после смерти вождя всех времен и народов. Я тогда работал в «Литературной газете». Вся страна оказалась в своеобразном состоянии невесомости. Многим казалось: мир лишился точки опоры. Писатели, деятели искусств поспешили в редакции со статьями и воспоминаниями о великом кормчём. Их статьи не понадобились — уже начиналась борьба с культом личности. Одним из первых в редакцию «Литературной газеты» приехал кинорежиссер Г.В.Александров. В своих мемуарах, написанных почти не отходя от гроба, он рассказывал о приеме у Сталина, который продолжался всю ночь. В 6 часов утра Сталин вынул карманные часы и сказал:

— Дети, в школу собирайтесь.

Там же Григорий Васильевич пишет о том, как его жена актриса Любовь Орлова шутливо пожаловалась Сталину, что Александров ведет себя на киносъемках, как деспот.

Сталин, который, как мы помним, шутить любил, сказал:

— Товарищ Александров, не обижайте Любовь Орлову, а не то мы вас повесим

Александров смутился:

— За что повесим, товарищ Сталин?

— За шею, товарищ Александров.

Это письменное свидетельство режиссера я привожу в книжке «Музыка играет так весело» (1990, стр. 219—220. См. запись этого эпизода у Ю.Борева, стр. 184).

Есть юмор висельника. Но здесь — юмор вешателя. Сам ли он придумал шутку «за шею» или это номенклатурный фольклор тех лет — не важно. Главное, что тиран чувствовал себя хорошо, привольно, он веселился.

Ю.Борев пишет о том, как Сталин шутки ради пугал генерала Е. словами: «А вы, товарищ, все еще на свободе?», «Понять не могу, почему вас до сих пор не арестовали». А после окончания войны на банкете в честь Победы Сталин сказал: «В самые трудные дни войны мы не теряли оптимизма и чувства юмора. Не правда ли, товарищ Е.?»

Еще одно свидетельство, записанное Юрием Боровым:

«Геловани попросил поселить его на даче Сталина у озера Рица.

Когда об этом доложили Сталину, он спросил:

— А почему Геловани хочет жить на Рице?

— Хочет вжиться в ваш образ.

— Тогда пусть начнет с Туруханской ссылки».

Да это просто остроумно.

А как вам понравится такое свидетельство:

«Сталин очень забавлялся, когда начальник его охраны Пикель разыгрывал в лицах расстрел Зиновьева. Два охранника вели под руки еле передвигающегося, повисающего на их руках Пикеля, вошедшего в образ Зиновьева. Потом «актеры» отпускали его, и он рушился на пол, обхватывал сапоги охранников и умолял их пощадить его. Он выкрикивал жалкие, бессвязные слова.

Вскоре спектакль, разыгрываемый Пикелем на утеху вождя, стал для «актера» реальностью: он знал много лишнего и был расстрелян».

Когда пшут о юморе, часто говорят о том, что он демократичен, что он — удел равных. Любят приводить слова: юмора боится даже тот, кто ничего не боится. Хорошо идут цитаты из Герцена о разящей силе юмора, направленного против сильных мира сего.

Но есть, оказывается, и другой юмор: ухмылка душегуба, кровавое веселье, не пир во время чумы, а торжествующий пир самой чумы.

Одному свидетельству можно не поверить. Но «Сталиниада» — свод, энциклопедия, летопись рассказов, притч, легенд о вожде, если можно так сказать, в свое время родном. Автор книги пишет: «Сталин был не только человеком, но и мифом. Он создавал мифы о себе, мифы создавали его ирреальный образ. И в этой обстановке лживого официального мифотворчества неизбежно должны были рождаться легенды, анекдоты, предания, апокрифы, которые при всей своей недостоверности достоверней официального мифотворчества многих фильмов, картин, повестей, стихов, песен, газетных статей сталинской эпохи».

Был юмор Сталина, но был и антиюмор, насмешка над его ложным и зловным величием, над бесчеловечным режимом.

Юрий Боров говорит об одном читателе, который «осуждает сталинизм, но смех над Сталиным и его эпохой считает оскорбительным для людей, подвергавшихся репрессиям». И автор с полным основанием замечает: «Между тем, то, что народ смог в смехе подняться над ужасом сталинской эпохи, — подвиг народа».

Среди «любимых высказываний Сталина» Юрий Боров приводит: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики».

К этому можно добавить горькую шутку поэта Наума Коржавина: «Мой дом — моя крепость, но... нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики».

Кто-то, а Коржавин, бывший в заключении, мог так пошутить.

В главе «Каземат культуры» читаем:

«Сталин назначил академика Георгия Федоровича Александрова главным редактором новой газеты «Культура и жизнь». Этот печатный орган был знаменит суровыми работками деятелей литературы и искусства. За это в кругах творческой интеллигенции газету, сопоставляя с известной тюрьмой, называли «Александровский централ».

И здесь хочется добавить: когда этот орган закрыли, было сказано — газета приказала долго и культурно жить.

Артист Николай Павлович Смирнов-Сокольский поведал мне такую историю (потом я встречался с ней как с изустным преданием). В 1937 году сидели за столиком московские конферансье — он, А.Г.Алексеев, Гаркави, Менделевич. Вдруг входит человек и говорит:

— Беда! Арестован Поздняк.

А Поздняк был такой тихий человек, в политику не вмешивался, занимался делопроизводством эстрады. Как сказал Николай Павлович, врагом народа он не мог быть по недостатку образования. Смирнов-Сокольский, уже па взводе, возмутился, встал и пошел на Лубянку. Там его встречают любезно, чему, мол, обязаны. Он говорит: «Арестован Поздняк, он не может быть врагом народа».

Начальник заявляет — сейчас проверим. 'ажимает на звонок, приходит сотрудник.

— Дайте мне дело гражданина Поздняка!

Приносят огромную папку, начальник перелистывает, читает, лицо его становится все более озабоченным. Захлопнул и говорит:

— Николай Павлович, мы вас уважаем, давайте договоримся, вы у нас не были, ничего не говорили, мы ничего не слышали.

— А что такое?

— Дело в том, что гражданин Поздняк пытался скомпрометировать великого вождя.

— Что ж, тогда простите.

Возвращается Николай Павлович к своим друзьям черней тучи. Они кидаются к нему:

— Ну что?

Он безнадежно машет рукой.

— Поздняк скомпрометировал великого вождя.

Менделевич:

— А! И что это за вождь, если Поздняк мог его скомпрометировать!

И, рассказав, Смирнов-Сокольский добавил:

— Вот какие люди были! Так было сказано о Сталине, а никто из нас не пострадал. Все осталось между нами (см. «Музыка играет так весело», стр.219; «Сталиниада», стр.178—179 и 400).

В словах Николая Павловича звучала профессиональная гордость: мы остряки, но не стукачи.

Впрочем, против Сталина были направлены не только шутки и анекдоты. Не установлена точная дата стихотворения Осипа Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...», за которое он был арестован в 1934 году. Стихотворение написано так, словно уже нет в стране власти Сталина — сам поэт на какой-то поэтический миг захватил полную и безраздельную власть. «Сталинское» здесь — нечто мучительно тяжелое, слова вождя верны, но как «пудовые гири»; здесь гири не измерители веса, а символ неизмеримой давящей тяжеловесности. Указы вождь кует, как подковы. И это не подковы счастья, а орудия убийства.

И как сатирически точно сказано: «Что ни казнь у него, — то малина». Каждая казнь для этого палача — праздник, торжество, веселье. Вместо привычного «не жизнь, а малина» — не казнь, а малина.

В книге Юрия Борева описывается «большой портрет смеющегося, приветствующего всех Сталина на мавзолее». У Мандельштама вождь тоже смеется, вернее — «тараканьи смеются ушища».

Когда я был на международном мандельштамовском симпозиуме в г.Бари (Италия) в 1988 году, один американский специалист стал упрекать поэта в том, что позднее он написал стихи «за» Сталина. Но тяжкий грех обращаться с упреками к писателю, который заплатил за свое бесстрашие жизнью, невероятными мучениями. Сталин подло, старательно, методически расправлялся с поэтом, мстил за каждое слово — и за жирные пальцы-черви, и за слова, верные, как пудовые гири, — за все.

Автор «Сталиниады» выступает как летописец, как собиратель материалов о вожде. Он проявляет объективность, но не беспристрастность. К голосам рассказчиков, свидетелей, мемуаристов он присоединяет и свой голос. Главка о том, как Сталин забавлялся театрализованным рассказом о расстреле Зиновьева, озаглавлена: «Благодарный зритель художественной самодеятельности». Ю.Борев сообщает, что Сталин был недоволен Иваном Грозным — казнил врагов, а потом каялся. Следует вывод: «В общем, для Сталина Грозный был недостаточно грозен».

«Старые горийцы в конце 50-х годов рассказывали, что однажды в дом, где были только женщины и дети, вошел Сталин и потребовал деньги «для революции». Испуганные женщины подчинились и дали деньги, с которыми юный Сосо ушел «в революцию дальше». Цитата из Маяковского звучит смешно и ядовито.

Приводится свидетельство о высказывании Гитлера: «Сталин жесток, как зверь, и подл, как человек. Когда завоюю Россию, назначу Сталина ее гаулейтером, разумеется, под немецким контролем. Никто лучше Сталина не умеет обращаться с русским народом».

Комментарий автора: «Если верить Гитлеру, то Сталину даже в случае поражения не грозила безработица».

А вот главка «Ветеринар вождя»:

«В начале 1953-го Сталин, опасаясь, что настоятельные рекомендации докторов о необходимости для него покоя подорвут его власть, уверовав в сочиненную им самим легенду

о врачах-убийцах, отверг квалифицированную медицинскую помощь. В случае недомогания вождь обращался к охраннику, имевшему образование ветеринарного фельдшера: в страхе за свою власть и жизнь, Сталин низвел себя до положения скотины».

В своей книге Юрий Боров стремится все договорить до конца, не кривит душой, не лукавит, прямо и откровенно признается в своих прежних сталинистских настроениях. Много мы знавали авторов, которые больше всего боялись «подставиться», не столько говорили, сколько оговаривались.

Боров пишет: «Как народ выиграл проигранную Сталиным войну»; «Ни один полководец мира не сделал столько для поражения своего народа в войне, сколько сделал Сталин».

Вы можете с этим не соглашаться, спорить, если вы сталинист — называть это клеветой. Но отдадим дань уважения автору, который сам уважает своего читателя и не обижает его недоверием, неискренностью, педоговариванием.

Автор показывает, какая чудовищная власть — вплоть до мельчайших мелочей — была сосредоточена в сталинских руках, даже в одной руке, потому что одна, больная, высохла.

Он приводит документ: «Передать швейную машину, принадлежащую пошивочной мастерской № 1, фабрике № 7. И.Сталин» и замечает: «Здесь видна такая степень концентрации власти, такое единовластие, такое единоначальное распоряжение мельчайшими объектами общественной собственности, что вся структура общества хорошо просматривается...»

Вспоминаю сталинские годы, когда вышел первый том энциклопедии. Меня поразил унылый, мрачный цвет обложки. Я сказал об этом знакомому, сотруднику энциклопедии. Он усмехнулся:

— Никому об этом не говорите. Выбор цвета обложки проходил так. Перед товарищем Сталиным положили тома с обложками разных цветов, и он выбрал самый мрачный.

Юрий Боров высмеивает миф о необычайной образованности, эрудированности Сталина: он, мол, при всей своей занятости читал по 500 страниц в день, — не 300, не 400, а именно 500.

Когда в 1938 году вышел «Краткий курс» истории партии, мы, студенты ИФЛИ — Института истории, философии и литературы, веровавшие в мудрость вождя, тем не менее втайне потешались над глупыми и неграмотными оборотами этого основополагающего катехизиса. Например, о расстреле рабочих 9 января 1905 года: «Николай второй встретил их недружелюбно — он приказал стрелять в безоружных рабочих» (цитирую по памяти). Впрочем, в этой несуразности — своя логика: если царь велел только стрелять в рабочих, а не мучить их, не пытаться, это, по сталинским временам, — всего лишь «недружелюбно».

«Краткий курс» почитался, как библия, как коран. Мы подросли, я окончил институт, был аспирантом филологического факультета МГУ. И нас уже в «Кратком курсе» смущали не отдельные выражения, а более общие мысли и тезисы.

В «философской» главе Сталин — кажется, он был автором (впрочем в «Сталиниаде» приводятся примеры, как он присваивал себе чужие труды), — так вот в этой главе говорится, что один из признаков идеализма — отрицание познаваемости мира (агностицизм. — З.П.). Это неверно. Агностицизм присущ субъективному идеализму (мир — мое представление), но объективный идеализм вовсе не обязательно связан с агностицизмом. Гегель говорил, что в его системе философия и познает мир как объективную идею.

Все это знали философы тех лет, но, естественно, никто никаких поправок вносить не осмеливался. Точно так же, когда Сталин по лингвистической неграмотности написал, что основой русского литературного языка является орловско-курский диалект, стали прорабатывать тех, кто справедливо видел эту основу в московском диалекте.

И вот примерно в году 1946-м я сдам экзамен по марксизму-ленинизму. Мне достается вопрос: «Признаки идеализма». Передо мной — величественная комиссия философов, принимающая экзамен. Что делать бедному аспиранту? Я отвечаю по «Краткому курсу», зная, что тезис о неизбежном агностицизме идеализма — ошибочный. Один из экзаменуемых напоминает мне о Гегеле, который не был агностиком. Я растерянно лепечу, что в «Кратком курсе» сказано так-то. Тогда другой экзаменатор, бледный, испуганный, говорит: «Дайте вашу зачетную книжку», ставит «отлично» и благо-

дарит меня за прекрасный ответ. Мой ортодоксальный лепет перепугал моих грозных экзаменаторов.

Сталин в «Сталиниаде» — не один. Вокруг него — свора соратников, «тонкошеих», по слову Мандельштама, вождей, и дальше — вожди помельче, вплоть до прислужников, «полулюдей», по слову того же поэта.

Сталин — не только Сталин, но и бесчисленная армия сталинистов. Не все они стали сталинистами по расчету. Были и бескорыстные ортодоксы, убежденные в нерушимой правоте вождя, фанатики, веровавшие в Сталина как в бога. Все лучшее, заветное, святое, связанное с их мечтами, надеждами на светлое будущее, сливалось в их сознании со Сталиным. Они были не только законопослушными, но и правоверными. Они не просто жили, но — горели.

Вспоминается рассказ Евгении Гинзбург: несчастных эков везут в вагоне, который и на вагон не похож, — кого на убой, кого в ссылку. Некоторые бросают в зарешеченное окошечко письма с адресами, просят сообщить их родным. А группа бывших коммунистов всерьез обсуждает: правильно ли — вот так обманывать родное государство, незаконно посылать письма?

В «Сталиниаде» не раз упоминается Иван Михайлович Гронский. Я знал его. Освобожденный после многолетнего заключения он в середине 50-х годов поступил в Институт мировой литературы им. М. Горького. До ареста Гронский был главным редактором «Известий», под непосредственным руководством Сталина руководил подготовкой первого писательского съезда в 1934 году. А теперь, в середине 50-х годов, он — скромный сотрудник ИМЛИ, член партбюро, отвечающий за институтскую стенгазету.

Помню совещание, где он, выступая, называл стенгазету не иначе как «орган». Одну заметку он резко критиковал. Автор заметки, молодая сотрудница, обиженно спросила:

— Так что же, Иван Михайлович, получается, что я написала антисоветскую статью?

Гронский решительно ответил:

— Если бы статья была антисоветской — я пошел бы на взрыв органа изнутри!

Все переглянулись — говорить было не о чем.

Юрий Боров справедливо называет Гронского — «неугомонный, честный, бесхитростный». В нем была приветливость, доброжелательство. Иван Михайлович рассказывал о семнадцати годах, проведенных за решеткой, за колючей проволокой — как его пытали, а он ни в чем не сознался; как несколько заключенных, бывших членов партии, ночью собирались у туалета и шепотом пели «Интернационал». Я много раз беседовал с Иваном Михайловичем — всегда бодрым, жизнерадостным, даже веселым стариком — и ни разу ни одного слова ни обиды, ни протеста он не сказал по поводу того, что произошло, что с ним сделали. Это была какая-то глыба ортодоксальности, вернее — краеугольный камень.

Юрий Боров рассказывает о траурном митинге в редакции «Литературной газеты» по случаю смерти Сталина. «Один из сотрудников, уволенный недавно с работы и исключенный из партии за космополитизм, пришел в родной коллектив и рыдал в углу».

Я знал этого сотрудника. Не стану его называть. Дело было так — один весьма симпатичный, интеллигентный человек работал в редакции исполняющим обязанности заведующего отделом комвоспитания. Тогдашний редактор газеты В.В.Ермилов сказал, что пора его перевести из «и.о.» в завы. Но это была номенклатурная должность. И при оформлении бедного сотрудника начался своеобразный «рентген» — соответствующие органы стали исследовать его биографию. При этом «просвечивании» выяснилось, что 17-летним юношей сотрудник несколько лет служил в белогвардейском органе. Беднягу сняли с работы, исключили из партии, сделали никем и ничем...

И вот траурный митинг. Главным редактором «Литературной газеты» был уже Симонов. Он говорил о священной обязанности советской литературы — отражать бессмертный образ почившего вождя. Не помню почему, я вышел из симоновского кабинета. И тут, не в кабинете, а на лестнице, я увидел несчастного сотрудника — он, конечно, не мог войти в кабинет редакции, из которой был с таким позором и треском изгнан. Он тихо стоял на лестничной площадке и плакал — горькими, горячими, беспартийными слезами.

Юрий Боров правильно пишет, что на основе стенограммы речи Симонова, по его указанию, была написана передовая, которая, кажется, называлась «Священная обязанность литературы». Верно, что секретарь ЦК Петр Николаевич Пospelов кричал на Симонова — он был возмущен передовицей, видел в ней проявление культа. Этот неутомимый служитель культа сумел мгновенно перестроиться. Эпоха насилия рождала руководителей-оборотней.

Но вернемся к ортодоксам. Такие, как Гронский, как плачущий на траурном митинге сотрудник, — ортодоксы по любви, по вере, по убежденности. Но ведь были сотни, тысячи, миллионы «ортодоксов», которых сталинский режим кормил, одевал, обувал. Сталин для них не просто святое, но и — жилье, зарплата, разные степени благополучия.

Я запомнил рассказ писателя, долгое время пробывшего в лагере. Его почему-то освободили на год-два раньше, чем основную массу заключенных. Он был как первая ласточка хрущевской весны.

И он рассказывал, какая паника охватила охранников лагеря, когда его выпускали. С каким ужасом говорили они о том, что за первым освобожденным последуют другие, и, значит, они, охранники, лишатся крова, профессии, которая для многих из них являлась единственной.

Поступок Н.С.Хрущева, который освободил сотни тысяч невинных заключенных, никогда не забудет история. Но недаром памятник Никите Сергеевичу сооружен из белого и черного камня. Когда я прочитал в мемуарах А.Аджубея, что его тесть не участвовал в репрессиях, «...сам он не совершал подлых поступков», я подумал — тут зять Никиты Сергеевича несколько погорячился. И вообще — мудрое правило: при операциях больных не должны присутствовать родственники. Не Светлане Иосифовне произносить авторитетное суждение об Иосифе Виссарионовиче, и не А.Аджубею так свидетельствовать в пользу тестя.

Юрий Боров пишет: «Конечно, в начале 60-х годов Молотов был сердит на Хрущева, отстранившего его от власти. Однако, вероятно, он был недалеко от истины, говоря, что сейчас Хрущев против репрессий, но в бытность секретарем Московского горкома отправил в тюрьму свыше 50 тысяч партийцев. А когда Сталин послал его первым секретарем

партии на Украину после снятия Постышева, он и там проявил умение хвататься за палку...»

Тогда погиб и мой родной дядя Лев Лазаревич Панерный, работавший наркомом земледелия Украины.

Я сказал о своем дяде. А сколько читателей «Сталиниады» вспомнят о своих отцах и матерях, дедах и бабушках, братьях и сестрах, о родных, близких, друзьях, знакомых. Эта летопись, в которую Юрий Боров вложил взыскательный труд многих десятилетий, в то же время явится для читателя своей, личной книгой. Мало найдется у нас семей, так или иначе не пострадавших от Сталина, от его культа и режима.

И — последнее свидетельство.

«Сталин смотрел постановку «Огелло». Главную роль исполнял Остужев. После спектакля руководство театра попыталось узнать мнение вождя об этой работе. Сталин долго молчал, потом сказал: «А этот, как его там, Яго — неплохой организатор».

Таким предстает главный герой «Сталиниады» — великий организатор преступлений и предательств. Были репрессии и до Сталина. В другой форме — они возникали и после его смерти. Когда арестовали Синявского и Даниэля, Сталина уже не было в живых, но тень «кремлевского горца» витала над судебным процессом.

«Сталиниада» помогает увидеть за вождем — режим, почувствовать, говоря словами Пушкина, «дух неволи».

Зиновий Паперный

МИФОЛОГИЯ ПРОЩАНИЯ

Года два назад в «Континенте» был опубликован рассказ Анатолия Наймана «Летом, в воскресный день». Герой рассказа, русский интеллигент, который на досуге «занимался своей любимой мыслью: распределял по порядку доказательства того, как история пожирала мифологию», бежит из

Стихотворения Анатолия Наймана. Нью-Йорк. «Эрмитаж», 1989.

Москвы конца тридцатых годов на Урал, спасаясь от сталинских репрессий.

Есть в рассказе эпизод: беглец получает от жены долгожданную телеграмму, в которой находит такие слова: «...купалась тихом пруду». Дальше — слово автору: «От волнения у Николая Николаевича перехватило дыхание: чего-то такого и ждал он все это время после разлуки. Катя цитировала ему Сологуба, «Ах, это вечный изумруд, всегда в стихах зеленых трав! Зеркальный, вечно тихий пруд в кольце лирических оправ», — ее любимое стихотворение, ее любимый Сологуб, любимые вечерние минуты Николая Николаевича: дети уложены спать, Катя в кресле штопает их чулки, он сидит за своим столом, и вдруг ее спокойный голос: «Ах, этот вечный изумруд», — и, не поднимая глаз, ручкой своей с кольцом, в котором поблескивает изумрудик, легкий взмах в его сторону. «И улыбаются уста шептанью внешнему берез, и снова чаша не пуста, приемля ключ горячих слез. Душа поет и говорит, и жить, и умереть готов, и сказка внешняя горит над вечной скукой старых слов»...

Это во многих отношениях примечательный эпизод. Прежде всего — точная отсылка и к поэтической, и к политической ситуации: в тридцатые—пятидесятые годы для отечественной интеллигенции, для наших учителей, в обществе, где бесправие и страх нивелировали всех, поэзия превратилась в пароль, при помощи которого определяли единомышленников, передавали информацию, рассказывали о жизни. Поэтическая строка, подхваченная и продолженная соседом по одной из бесконечных очередей, соллагерником или товарищем по тюремной камере (об этом недавно в посмертной книге вновь напомнила Лидия Яковлевна Гинзбург) заменяла то, что в нормальной человеческой жизни должна выполнять нормальная, без рифм и аллюзий, человеческая речь.

Мне представляется, что для Анатолия Наймана, поэта, литератора, подобная культура цитирования, обогащенная многолетним общением с А.А.Ахматовой, крайне важна и в его собственном творчестве: его лирика скрупулезно отобранная и объединенная в книге стихотворений — это подлинный храм цитат, отсылок, поэтических намеков. Это не только лирика чувств, но и лирика слова как такового, когда сам язык становится предметом поэзии. Для поэтического окру-

жения Наймана, для той школы, о которой пишет в послесловии к книге И.Бродский, это принципиальная установка.

В стихотворении Сологуба, которое вспоминает герой рассказа, Николай Николаевич, автором пропущены две строфы — и эти строки, как и все стихотворение, похоже, многое значат для Наймана как поэта: «И небо словно бирюза, и вечное дыханье роз, и эта вечная гроза с докучной рифмою угроз! Но если сердце пополам разрежет острый божий меч, вдруг оживает этот хлам, слагаясь в творческую речь...» Значительное число стихотворений самого Наймана — это поэтический порядок, напев, ритм, в который переходит жизнь, осененная или взметенная провидением. «И сказка вешняя горит над вечной м у к о й старых слов», — заканчивает стихи Сологуб. Николай Николаевич вспоминает так: «...над вечной с к у к о й» — вариант, судя по комментариям к стихотворениям Ф.Сологуба в «Библиотеке поэта», оставшийся в черновике. Может быть, здесь тонкий намек искушенного автора на знакомство героя с поэтом, из чтения которого он мог вынести эту строку. А может и «ослышка музы»: «скука» и «мука» старых слов — вечная антиномия, с которой сталкиваешься в поисках нового поэтического языка. Это уже относится скорее к автору, а не к его герою.

И.Бродский сужает понятие ленинградской поэтической школы до ближайшего окружения Ахматовой. Видимо, разговор идет не столько о школе, сколько о выпускном классе, который на многие годы определил тон общения, интересы и пристрастия однокашников. «Обстоятельством не поощряющим, однако, навешивать на А.Наймана ярлык какой-либо школы, направления, течения и т.п., — продолжает Бродский, — следует считать тот факт, что это — поэт рано, но раз навсегда сложившийся, сугубо формальный, никогда ни в чем собственной идиоматике не изменявший. Тон его поэзии — преимущественно медитативно-элегический, сторонящийся лобовой патетики и часто окрашенный сардонической иронией. Он избегает крупных форм, и основным его жанром является лирическое стихотворение, в котором он скорее автобиографичен, чем повествователен.»

Эту достаточно сжатую характеристику хотелось бы расширить несколькими наблюдениями над лирикой А.Наймана. Полсотни стихотворений за тридцать лет — отбор куда как

жесткий, но и он дает возможность определить место поэта в кругу единомышленников, и, как нередко бывает в таком кругу, показать, какие темы, интонации были только намечены или подхвачены нашим поэтом, а развиты и узаконены — его друзьями. Тогда становится куда более отчетливым представление и о том, что выпадает на долю читаемого нами поэта, что ему присуще больше, нежели сотоварищам по цеху.

А.Найман — Значительный русский переводчик поэзии. Причем его работа многих лет, будь то песни трубадуров или старофранцузские романы в стихах, свидетельствует отнюдь не о мимолетности его переводческих увлечений. В этой огромной трудоемкой работе «на культуру» отражается главное пристрастие поэта: жизнь опирается на слово — от обдуманной формулы до «легкого словца»:

Наше смирное житье
полулежа на диване —
очень тонкое шитье
по кой-где протертой ткани.
Скажешь легкое словцо,
так, в беседе со своими,
а за ним встает лицо,
стон, молчанье, призрак, имя.

Оглядка на поэтическую традицию, на Державина или Ходасевича, — это прежде всего взгляд на слово, проверка его на вкус, цвет, вес, обкатывание его в горле, прежде чем выпустить навстречу слуху:

Прорва речей, и созвучий, как в небе созвездий,
слово-втяжка и слово-пузырь, потерявшие пол.

.....
Брать бы пример с говора лиственной рощи:
душно — так всхлипы, больно — так скрип или стон.
Бы — это блажь! Бы, безумный, бы-бы, безъязыкий! —
быльем порхал меж губами бесстыднейший слог...

В стихах Наймана то и дело сквозит пристрастие к барочности — неосборимое необарокко шестидесятых годов — грандиозный «Сентиментальный марш», которым открывается книга, или «Двухголосная fuga», следующая за ним, или аукнувшееся через десятилетие «Последнее стихотворение»... Львиную «долю» содержания берут на себя ритм, интонация,

перечень, повтор, в которые облакаются то мистическая аллегория, то обнаженное чувство.

Работа переводчика, «усталого от слов со дня рождения», не проходит даром. Одно из лучших, на мой взгляд, стихотворений сборника — третья часть «Ленинградского синдрома», которую хочется привести целиком. Найман дает интерпретацию «Моста Мирабо» Аполлинера — стихотворения, до сих пор по-настоящему не переведенного на русский, показывая возможный путь совмещения культур, создания единого «блока» перевода и оригинального произведения:

«Дням и неделям потерян счет,
не вернется любовь, ни ушедший год,
под мостом Мирабо
Сена течет.»

Так писал поэт, тот, кто *смерть* и *сметь*
рифмовать хотел, но как раз тут смерть,
только *см* сказал —
а куда смотреть?

На пустой ли дом, на прочтенный ли том,
на зимы ль нежный пыл, ставший майским льдом,
что проносит Нева
под Литейным мостом?

Мимо красных ростр, мимо серых химер.
И ответить смешком на рычанье эр
не посмел ни Блок,
ни Аполлинер.

Наших лиц отраженья и наши любви
уносит течение, а ты живи.

Ночь наступает, года летят,
ни мгновенья, ни страсть не приходят назад.

И река, что под,
и поэт, кто над.

Ленинграду у Наймана посвящено много стихов: для бывшего ленинградца, проведенного в городе добрую часть жизни, это естественно. «Прощание с Ленинградом» — классический «проход» по городу, путь-воспоминание (как во многих стихах А.Кушнера или Е.Рейна), который мог бы обернуться и просто легкой прогулкой. «Вообще почти все почти у всех в Ленинграде было во время прогулки, — как-то писал А.Найман в «Русской мысли». — Это такой город, в котором лучше гулять, чем жить.» Однако у него у самого

это — жизнь, превращающаяся в фантасмагорию, начиная с первой же строки: «Звонил Ленгаз, вошла Госбезопасность»... «Прощание с Ленинградом» — это прощание с друзьями и культурой, это город, увиденный глазами «трупа» — раздавленного, уничтоженного, разбросанного по свету поколения:

Да, не эпоха выплывает весной,
а с выколотыми глазами некто,
со срезанными начисто губами,
скальпированный, без бумаг, никто...

Единственная спасительная ниточка — память о корнях, прощальные элегии Баратынского, зазвучавшие с новой силой через полтора столетия.

Поэзия — а может, и шире: поэтика — расставания, столь свойственная лирике «ленинградской школы», присутствует в творчестве А.Наймана в наиболее, пожалуй, острой и откровенной форме — в теме и идее одиночества. Это главное, это суть его поэзии, начиная с ранних стихов: я один или один на один — с городом, миром, сердцем, Богом. Отсюда и постоянное сведение счетов — с собой, с жизнью, с прошлым: «жизнь наша оказалась не про нас», «Ведь ничего исправить невозможно», «Зачем нам это? Зачем мы живы?», «меньше, чем нас, узнающих друг друга в лицо, не бывает на свете», «Я мертв — и нет причины ожить», «Не гляди на меня, как в открытый гроб», — сколько горестных заклинаний! «А я стоял, боясь глаза открыть, чтоб не узнать про то, что я один остался», — писал он еще в одном из давних стихотворений.

Исповедальные стихи впитывают в себя мотивы прощания, оставляя другим формам жизни все прочее. Для читателя стихов такая исповедальность многого стоит. Во всяком случае, обогащает необходимыми силами, чтобы спасти мифологию от истории, как бы последняя, по предположениям уже известного нам героя рассказа А.Наймана, ни «пожирала» первую.

«Мифология прощания» А.Наймана делает его лирику явлением сегодняшней поэзии. В самом деле, со многим приходится прощаться. И — надеяться.

Михаил Яснов

КОРОТКО О КНИГАХ

ВЧЕРАШНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Перед нами два почти легендарных документа сталинской эпохи, на которые десятки лет ссылались политологи, историки, публицисты и политики (и не только они!) и которые в Советском Союзе обсуждались лишь в узком дружеском кругу и то чаще всего не по первоисточнику, а понаслышке, ибо для нашего отечественного читателя доступ к ним был до самого последнего времени закрыт, хотя один из них — «Москва 1937» Лиона Фейхтвангера был выпущен по-русски в Москве тех времен.

С первого впечатления обе книги, изданные Госполитиздатом в прошлом году под одной обложкой, противоположны друг другу по взгляду на советскую действительность тридцатых годов, так это, кстати, и трактуется автором предисловия к этому изданию Альбертом Плутником.

Но, к сожалению, это только с первого впечатления. При внимательном же изучении любой непредубежденный читатель будет вынужден прийти к печальному выводу, что оба автора единодушны в главном, основополагающем пафосе из мировоззренческой позиции — безусловной апологетики самой идеи социализма.

Критикуя, один в большей, другой в меньшей степени; отдельные искажения и промахи в осуществлении этой идеи на русской почве, они оба тем не менее остаются правоверными и последовательными социалистами.

Согласитесь, что сегодня, когда принципиальный провал социалистической модели признан не только советским обществом, но и самой коммунистической партией в лице ее Генерального секретаря, такая позиция выглядит по меньшей мере наивно, а по большей, учитывая цену, уплаченную за этот эксперимент не одной лишь Россией в частности, но и человечеством вообще, еще и интеллектуально преступна.

И все же, думается, оба эти свидетельства не теряют своей поучительности и в наше время, учитывая тех на Западе и на Востоке, кто продолжает считать, что во имя достижения великой цели любые средства хороши и что успешное завершение этой кровавой игры стоит свеч.

Андре Жид. Возвращение из СССР. Лион Фейхтвангер. Москва 1937. Издательство политической литературы. Москва. 1990 год.

Только сделают ли эти горе-экспериментаторы какие-либо выводы из предлагаемого им чтения, вот в чем вопрос?

Увы, но чаще всего ни чужой опыт, ни, тем более, чьи-либо документы или свидетельства никого и ничему не учат или, как заметил сам Лион Фейхтвангер, описывая свою встречу с комсомольцами в поезде Москва—Орджоникидзе: «Их вагон был очень тесным, стояла жара, и все задыхались от духоты. Это было прекрасно!»

Что ж, пусть попробуют сами!

В.М.

ОГЛЯНИСЬ НА СВОЮ СУДЬБУ

В наше время стало модным писать мемуары. Их пишут все: политические деятели и артисты, телекомментаторы и спортсмены, предприниматели и налетчики, модельеры и, мягко говоря, публичные дамы. Все они наперебой спешат вывернуться перед читающей публикой наизнанку, поделиться с нею не только фактами собственной биографии, но и откровенно сообщить ей о своих общественных и половых наклонностях. Им, видимо, кажется, что без ссанса этого их нравственного стриптиза человечество просто осиротеет.

Но вот передо мной небольшая по объему книжица, даже скорее брошюра, состоящая всего лишь из четырех газетных интервью, сопровождаемых вместо комментария документальными текстами.

В ней, в этой книжице, вы не найдете никаких претензий на кокетливую исповедь. Это обычный спонтанный разговор двух друзей детства, жизненные пути которых с наступлением зрелости биографически разошлись. Один (принадлежащий, кстати сказать, к самому привилегированному слою советского общества: отец — первый секретарь обкома, дядя — секретарь ЦК КПСС) — уехал в столицу, сделав там почти головокружительную научную и политическую карьеру, другой — выходец, так сказать, из среднестатистического ряда, остался дома, здесь же получил образование и осел затем в областной газете.

Разговаривают двое: теперь уже бывший член Президентского совета, бывший член ЦК КПСС, бывший член партии, академик Станислав Шаталин и тверской журналист — Евгений Борисов.

Разговоры эти разделены во времени последних пяти-шести лет советской истории. Беседуют друзья обо всем понемногу, в основном на злобу дня, без какой-либо заранее обдуманной системы или постав-

Станислав Шаталин, Евгений Борисов. Диалог за Кремлевской стеной. НПО «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ». Тверь. 1991 год

ленной цели, но из самой внутренней логики собеседников, из приведенных ими фактов и свидетельств, из проговорок и оговорок той и другой стороны поневоле складывается поразительно объемная мозаика нашей, не столь, к сожалению, прекрасной, сколь по-настоящему яростной эпохи, пронизанной лейтмотивом одной, мучительно пересоознающей себя судьбы, тем более мучительно, что это просветляющее преображение происходит с нею на ее жизненном закате. Для человека моего поколения — это духовный и душевный подвиг.

При всей полярной противоположности наших со Станиславом Шаталиным биографий, я, слушая его, словно смотрюсь в зеркало: так много между нами выявляется общего не только в мироощущении, но даже во вкусах и пристрастиях. К примеру, в молодости мне тоже довелось почти профессионально играть в футбол, быть заятым болельщиком, и я до сих пор остаюсь поклонником «Спартака».

Ощущение это по мере чтения в людях моего возраста возникает, наверное, оттого, что история Человека и Гражданина, Ученого и Гуманиста Станислава Шаталина является, в чем я убежден, историей целого поколения, к которому принадлежу и я. Поколения последних иллюзий и первого прозрения.

В заключение книжки приведены две газетные информации:

Комментируя политическое заявление ЦК КПСС на пресс-конференции Высшего консультативного координационного совета при Председателе Верховного Совета РСФСР, состоявшейся 6 февраля 1991 года, известный публицист, народный депутат СССР Юрий Карякин, в частности, сказал: «...Если пленум отрекается от одного из умнейших, честнейших, совестливейших людей, таких, как Шаталин, этот пленум сам подписывает себе интеллектуальный, нравственный смертный приговор. Таким человеком гордиться бы должны. В его письмах Президенту звучали ноты подлинно толстовского правдолюбия и беспощадности к себе. Он просит у народа прощения за то, что не до конца был последователен в защите той правды, которая представляется ему истинной. Но его исключают». «Куранты», № 25, 8 февраля 1991 года.

«Как стало известно, по возвращении из зарубежной поездки член ЦК КПСС, академик Станислав Шаталин направил в первичную парторганизацию заявление о своем выходе из КПСС. Таким образом, решение январского объединенного Пленума ЦК и ЦКК КПСС «рассмотреть вопрос о действиях т. Шаталина С.С. стало беспредметным».

К этому мне добавить нечего: жизнь Станислава Шаталина кончилась, началось — Житие.

Владимир Максимов

ОПЫТ НОВЕЙШЕГО ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

Не знаю отчего это так запомнилось. Вроде бы незначительный эпизод, случившийся в гастрономе ГУМа лет десять назад. Все было, как всегда: разгоряченная очередь в сбитых на спины пуховых платках, деревенские полушубки, острые локти, крики. И какой-то человек, лица которого почти не помню, ибо ничего не было в этом лице особенного, никаких примет индивидуальности, никаких ярких отметин, просто человек — среднего роста, неброской окраски, в сером пальто, в клетчатом шарфе, тоже разгоряченный этой толкотней, духотой и острыми локтями — запальчиво кричал кассирше: «Если бы все были такими как Алексей Николаевич Косыгин, вот тогда у нас был бы порядок! Потому что он джентльмен, да! Он настоящий джентльмен! Он...» Может, оттого это так и отпечаталось в памяти, что он выкрикивал слово странное, искусственное в устах «простого» человека: «джентльмен»? Помню, как я вышла на улицу, под благодатный сияющий снег, шла к метро, навьюченная сумками и думала: «Господи, несчастная страна! Несчастные дикие люди! Какая каша у них в головах! Как они готовы верить любой несообразности! И сколько энтузиазма, сколько нелепого пафоса! При чем здесь Косыгин? Почему? Откуда взялось это «джентльмен»? И я подумала тогда, как все это громоздкое здание официальной советской государственности, глухо затянутое флагами и плакатами, красными полотнищами парадов и демонстраций, портретами вождей, еще живых и уже почивших, как вся эта мрачная средневековая азиатчина, символически увенчанная бережно хранимым в центре большого живого города мертвецом в стеклянном гробу, никогда не обнажится человеческому взору в своей будничной подлинности, всегда будет преподноситься ему, отлакированная, нереляльная в своей абстрактной официальности, и только мы, маленькая частичка этого бессовестно надуваемого народа, мы, анемичная советская интеллигенция, читающая запрещенную литературу и слушающая «враждебные» голоса, хоть и не знаем досконально, как это все там, наверху, происходит, но в общих чертах все же представляем, догадываемся, называем вещи своими именами, а люди-то, просто люди, в сбитых на спину пуховых платках, что они ведают? Еще

Григорий Бакланов. Свой человек. Повесть. Знамя. № 11—12, 1990.

хорошо, если анекдот где-нибудь подцепят, а то ведь и анекдот достанется элите, ее ироническому кухонному застолью...

Недавно этот магазинный дифирамб тусклоглазому Косыгину вспомнился мне, как ни странно, по поводу напечатанной в ноябрьском номере журнала «Знамя» повести Бакланова «Свой человек», которая словно бы восполнила определенный пробел в литературе советской перестройки. Это еще одно художественное «можно» на ранее запретную тему, еще один рывок свободного слова. А в чем, кроме как в свободном слове, и преуспела перестройка? Повесть, как и всякое разоблачение, может показаться тенденциозной, несколько слишком прямолинейной. Но, на мой взгляд, несправедливо упрекать ее в этом. Она выполнила свою задачу и выполнила ее прекрасно. Да, прямое разоблачение человека с самого-самого официального советского «верха», без пяти минут министра. На первых же страницах жестко поставленная цель, не оставляющая места импрессионистичности. Мне даже хочется уподобить жанр этой повести старинному жизнеописанию, знакомому нам по античности. Только в античности царит большая сосредоточенность на событии как таковом и психологическая сторона человеческого поступка не вскрывается во всей ее затаенной глубине, не «вспарывается» словом пишущего, а Григорий Бакланов умело добился сочетания объективной исторической четкости и выпуклой живописной детали, которая играет роль увеличительного стекла, наводимого на человека и обстоятельство.

Есть вещи, написанные со знанием дела, исполненные большой профессиональной свободой, и к ним безусловно относится повесть «Свой человек». Бакланов знает материал, за который берется, и чувствует себя в нем привольно, как рыба в воде. Его профессиональность сказывается на всем, о чем пишет: от механизма государственного аппарата до ондатровой шапки на голове почти министра, до белых лампасов его финских тренировочных штанов, заправленных в меховые сапоги. Меня саму поразило то любопытство, с которым я вчитывалась в этот текст, та моя читательская самоотдача, которая возникла при поглощении спокойного, ничем «остро захватывающим» не отмеченного сюжета, настойчиво выписывающего лишь то, в чем мы вроде бы давно ориентируемся, из чего, кажется, почти и невозможно создать художественное полотно. Григорий Бакланов это художественное полотно создал. Если бы не боязнь банального сравнения, то я бы сопоставила многие из его страниц с холстами уверенного в себе мастера-живописца, который щедро, но точно пользуется богатой палитрой масляных красок, не скупясь на сочные и пронзительно яркие пятна: «Их принимал в Бухаре первый секретарь обкома, еще более смуглый, почти черный, но очень приятный человек, и достаточно молодой для столь высокого поста, хотя, как выяснилось, он уже отец десятерых детей, что вызвало известное оживление изнывающей от жары делегации. От него тоже исходило сдержанное сияние, от полного его лица,

от сплошных золотых зубов, когда рассказывал он об успехах и перспективах области, и это было не светлое, с добавлением серебра, а темное чистое золото. Он показывал образцы каракуля, черного, золотистого, белого и невиданного ранее розового и голубого, и рот его золотой сиял, и длинный стол в кабинете был уставлен восточными сладостями и фруктами».

Замечательно не только то, что эта проза написана яркими красками, но то, что обилие их не преисполнило ее неуместной в рамках строго реалистического жанра и заданной темы красоты. От красоты Бакланов резко отталкивается, и как бы ни переливался впаянный в текст натюрморт или портрет, сам этот текст всегда жесток, а то и желчен, а то и жуток: «А потом эта поездка в морг, их провели вниз по стертым ступеням и показали: уже в гробу она лежала, подкрашенная, веки закрыты, цветы, цветы, всю ее покрывали цветы. И сквозь запах формалина устоявшийся в этих подвальных стенах, застарелый запах несвежего мяса, так пахнет колода, посыпанная солью, на которой рубят мясники».

О чем же повесть? Почему она, на мой взгляд, так хорошо, так выразительно прозвучала сейчас, когда жизнь партаппарата, ей Богу, перестала быть некой мистерией, и обнажилась на журнальных советских страницах в своей разбойничьей простоте? Впрочем, не будем так уж преувеличивать: разоблачение прошлошь плеткой по лидерам ушедшей эпохи пресловутого застоя, да и то не по всем. Картина, конечно, вырисовывается, но в общих чертах, и, прямо сказать, не всегда полная. Автор повести «Свой человек» — не только бытописатель советской верхушки, спрятанной за матовыми автомобильными стеклами и глухими заснеженными заборами зимних дач, самое существенное в этой повести то, как она прослеживает некую закономерность почти сюрреалистического превращения из в общем-то нормального, подвергнутого многим испытаниям подростка, воспитанного доброй и глубоко нравственной матерью, в совершенно особое существо, являющее собою одну из клеточек, одну из песчинок огромного государственного аппарата. Почему-то простая мысль, что этот огромный аппарат состоит также из людей, детство которых пришлось на те же самые пронзительные тридцатые годы, которые сформировали в огромном количестве таких же выросших в их лоне детей жгучее неприятие советской государственности, почему-то эта простая мысль не сразу приходит в голову. Кажется, что те, которые служат, прошли другую школу, выросли в некоем неведении и были как бы запроданы дьяволу в младенческом возрасте. Ну, а потом, конечно, когда сделка над душой младенца состоялась, тут началась и подлость, и корысть, и борьба за место, и страхи. Повесть Бакланова оказалась для меня неожиданной своим открытием: служат те, которые на собственной шкуре поняли, кому служат. Сделка с советским дьяволом прошла по — я бы сказала — пищеварительному тракту, минуя душу. Мальчик

хлебнул всякого, всякого насмотрелся и пошел служить тем, кто был прямым виновником его испытаний. Выписанная кривая осозналась им как лучшее правило жизненной игры: Возникла определенная философия поведения в мире и особое представление о нем — наперекор логике душевной, по логике животного «я». Он, увидевший голод, не проникся жалостью к голодающим, но еще острее полюбил сытость, он, испытавший бедность, возненавидел ее, и выполнил все условия, которые потребовались для того, чтобы в последующей жизни всегда «можно было открыть холодильник и из свертков выложить на тарелки». И все это после того, как давным-давно, в детстве «сам не раз видел, как лошадь привезет фургон с хлебом, и на хлебный дух, на пар, который валит оттуда, сбегается толпа голодных: бабы, дети в лаптях, и что-то невообразимое начинает твориться, когда их отгоняют гуртом, как овец, а лошадь по глаза в подвешенной торбе пережевывает тем временем овес».

Повесть Бакланова — отчетливо историческая повесть, хотя он и не сосредоточивает ни на одном крупном историческом событии специального внимания. Исторические куски впаяны в нее не сами по себе, а как помогающий материал, на котором раскрывается психология интересующих его людей: «За всю преданность не миновало и его то, что остальных, преданнейших из преданных, не миновало: очередь прошла по разнарядке, а может, знал много. Лет семь отсидел он, был выпущен после двадцатого съезда, о котором тем не менее говорил с ненавистью».

Или еще кусок из воспоминаний без пяти минут министра: «И там за загородкой стояла женщина в синем халате, бледная, как святая, и суд стоял перед своими высокими креслами, все трое: судья и заседатели. Зачитывали приговор: восемь лет за то, что вынесла с фабрики флакон одеколона «Кармен». «Деточки мои!» — кричала она, когда ее уводили».

В России существует одна особая тема. Чаще всего она звучит в разговоре — магазинном, трамвайном, на остановке, в больничной очереди, в прачечной. Как бы сугубо бытовая тема, прорывающаяся из незадумывающихся людских уст, мимоходом, в сердцах. Устойчивость и безнравственность произносимого, а также фанатическая убежденность в собственной правоте, помню, всегда удивляли меня. Проще всего определить эту тему как отчаянную тоску по утраченному сталинскому порядку, собачью тоску по хозяйскому кулаку. Ну, примерно так: «Раньше-то ведь — как? Раньше порядок был! А теперь без хозяина-то вот и распустились! Патлы отрасли!» Или еще как-нибудь в том же роде. Из этой специфической темы рождались и действия: фотографии усатого улыбающегося Сталина на ветровом стекле, науськивания вступающего в жизнь сына или дочки («Ты там верь, да не очень, раньше-то порядок был!») и многое другое. Я всегда объясняла этот российский психологический феномен невежественностью,

глупостью, восточной любовью к божкам — в случае простых людей, и откровенной преступностью в случае людей «государственных», которым сталинская эпоха раскрыла когда-то свои хищные объятья. Или глупость, или прямая подлость. Но в обоих случаях — холопство, жалобы гоголевской унтер-офицерши, которая сама себя выскла.

В повести «Свой человек» не подвергается никакому сомнению та мысль, что демократия в России есть величина вымышленная, эфемерная, и происходит это так потому, что весь партаппарат — то есть все *государственное мышление страны* — не только не согласен к восприятию тех демократических азбучных истин, которые давно восприняло (с большим или меньшим успехом!) основное человечество, но, напротив, в плоти и крови этого государственного мышления, в этом зараженном большевистскими бактериями мозгу этой собирательной величины, которая сосредоточивает в своих руках всю власть и осуществляет вкривь и вкось управление огромной нищей страной, живо одно страстное убеждение, сформулированное в тексте Бакланова: «Кто до двадцати пяти лет не был либералом — подлец, кто и после тридцати все еще либерал — идиот». Очевидно, что тут выведен закон, о котором не скажешь однозначно: «подлость» или «глупость». Все это несколько сложнее. Власть в России осуществляется людьми, приведенными в почти животное состояние. Перечислить, что было сделано, для того, чтобы изменить генетическую структуру личности, не так уж сложно, факты произведенного достаточно известны. Генетически преобразованный человек передает свои психологические особенности последующим поколениям так, как передают по наследству цвет волос и глаз. И именно об этом написано у Бакланова: отец героя, яркий сталинист, фанатик эпохи, который в тридцатые годы высоко залетел, а потом обрушился с головокружительной высоты вниз, и умер в конце пятидесятых на свободе, но в нищете и заброшенности, умудрился все же каким-то колдовским образом передать нелюбящему его и им нелюбимому сыну свое парадоксальное преклонение перед крепкой властью. и сын, переболев пресловутым либерализмом, как дети переболевает корью, вернулся на «круги своя», в лоно родного отцовского мышления: «Тысячелетний этот порядок вещей не нравится только тем и только до тех пор, пока сами рвутся к креслу, но, сев, постигают быстро, что жизнь неглупо устроена и порядок надо не разрушать, а укреплять».

Для меня общее звучание повести не оставляет надежд. При этом мне трудно представить себе, что она обращена к эпохе застоя и только, что вытягиваемые ею на поверхность, обнажаемые перед всеми факты животного и безнравственного существования огромного количества обремененных огромной властью людей — суть дело прошлое, о котором можно посудачить сейчас дистанционной неторопливостью. Все ведь, в сущности, осталось: и власть, и кровавая борьба за нее, и решительное отсутствие демократических навыков, и дачи за глухими забо-

рами, и спецпайки, и многомиллионный народ, для которого ежедневная забота о куске хлеба (а чтобы без метафор — о куске, скажем мыла!) невольно заслоняет духовный потенциал, заложенный в каждого человека. О чем уж тут говорить, когда килограмм мяса на рынке стоит пятьдесят рублей? О том, что не хлебом единым? Разумеется. Но нет большей пошлости, чем говорить об этом тогда, когда не хватает хлеба.

Повесть Григория Бакланова — серьезный разговор о существовании советской власти, именно как о власти в ее будничном современном состоянии. Без абстракций, без философствования. В традициях натуралистической школы, в традициях безжалостной толстовской прозы (не сопоставляю ни по каким другим параметрам: только по крутости детали, только по безжалостности): «И то, что он увидел было страшно. Он видел сплошные маски вместо лиц, там в ложе сидели живые пародии на самих себя: перекошенный набок рот Громыко, старческие выпученные глаза Тихонова на сплюснутом лице, и этот огромный рот, извергающий нечленораздельное... Боже мой!» Повесть не оставляет надежд, повторяю. Это слово о беде, которой трудно помочь словами и прогрессивными реформами, ибо «миллионы заинтересованы, чтобы гнило как можно дольше. От верху до низу миллионы временщиков, и каждый хочет при жизни получить свой кусок. Я сегодня в театре посмотрел на них. Это прочно. И опирается на самые примитивные инстинкты, а в природе все примитивное самое жизнеспособное». Я еще хотела бы сказать, заканчивая рецензию, что в книге Бакланова прозвучало и то, что относится уж напрямую к сегодняшнему дню, и из глубины восьмилетней давности («Свой человек» формально говорит о брежневском периоде!) извлекает происходящее сегодня, попадая, что называется, «не в бровь, а в глаз» нынешней русской жизни: «А ты бы, конечно, хотел, чтобы все рухнуло?» — спрашивает почти министр бывшего друга своей молодости. И тот неожиданно отвечает: «Я-то как раз не хочу. К сожалению, из нашей истории следует со всей очевидностью: первыми жертвами всегда становятся ни в чем не виновные». Похоже, что так...

Ирина Муравьева

НАША АНКЕТА

«МЫ — ЕВРАЗИЯ»

*Беседу с Никитой Михалковым
ведет поэт Эдмунд Иодковский*

Я вошел в просторный кабинет Никиты Михалкова на 4-м этаже «дома Алябьева» в Малом Козихинском, в двух шагах от Патриарших прудов, когда знаменитый кинорежиссер, баловень судьбы, вальяжный усач заканчивал телефонный разговор с Владимиром Максимовым по поводу вчерашнего спектакля «Кто боится Рэя Бредбери?» в театре им. Маяковского. (Автор, кстати, пригласил в театр, кроме Михалкова с женой, трех редакторов «Комсомолки» 60—90-х гг.: Аджубея, Панкина, Фронина.)

Включаю магнитофон.

— ...почему была такая реакция зрительного зала? Сработало. с одной стороны, то, что это, в общем, правда, с другой — что пишет человек, имеющий на это право и к тому же не вернувшийся.

Если бы это написал человек, который раскаялся и вернулся для того, чтобы ему вернули квартиру и ордена, — другое дело. А тут человек уезжает обратно, и его совершенно искренне прожитое — даже не позиция, а боль. Удивительная штука, эффект поразительный!.. Мы после спектакля зашли с женой погреться в другой театр, в Театр Пушкина. Володя, в театре сидело 36 человек, мною насчитанных. На сцене было приблизительно в два раза больше людей, которые играли для этих 36-ти. Это в основном были такие гордые старушки, как твоя в пьесе. Гордые старушки, которые наперекор всему последние деньги тратят на билеты и идут питаться духовной пищей. Упадок чудовищный, играют ужасно. А вот здесь, в Театре Маяковского — иное... Есть клише актерские, я их чувствую особенно у женщин, но это другой разговор. И есть места такого класса... хорошего русского класса! Это пьеса, где есть что играть... В наших театрах органическое бормотание под нос принимается за

правду. А мне милее кто-то из великих, Москвин или кто-то из них... Когда у него не было репетиций утром и спектакля вечером, был выходной, а душа горела, потому что его переполняли эмоции, — он выпивал «тонкий», шел в театр, брал у реквизиторов детский гробик, садился на извозчика и ездил по Москве. И все крестились, и он рыдал, обнимал этот гробик, заливался слезами, старухи его крестили, сами крестились, промакивали платочком глаза, а он — эмоцию выталкивал, он иначе взорвался бы! Вот гениальный образ русского характера, русского артиста.

И в этой пьесе есть что играть. Замечательная роль двойная. Вообще придумано здорово. Поэтому я тебя поздравляю. Тут все сошлось. Пьеса очень временная — не временная, а временная.

Так что я очень рад. Я жалел, что тебя вчера не видел, но может, оно и к лучшему, чтобы мы там впопыхах не болтали.

Целую тебя, дорогой, давай на этой неделе повидаемся...

* * *

— *Никита Сергеевич, ваши фильмы очень разные. Разные по жанрам, по темам. А что для вас их объединяет? В чем генеральная линия?*

— Да я вообще считаю, что я снимаю просто одну длинную картину. О чем эти фильмы? Это поиски гармонии между человеком и миром, который его окружает. Между миром и самим собой. Это поиски своего места, как это ни банально звучит, не столько в физическом, сколько в духовном смысле общей, так сказать, симфонии жизни.

— *Чуть конкретнее, в каком направлении сейчас идет ваш поиск? Насколько я знаю, фильм «Урга» (я его не видел) — это фильм о столкновении двух культур, России и Востока.*

— Нет, это другое... Поиск гармонии в этом фильме является главным. Как бы мы ни пытались походить на Запад, принимать внешние формы Запада, считать себя цивилизованными людьми в западном понимании этого слова, — мы не являемся Западом и никогда им не будем. В открытом письме премьеру Силаеву я писал: проводится мысль о том,

что в перспективе мы должны и обязаны жить, как в Голландии, Англии, Финляндии, США и т.д. и т.п. В этом нет ничего предосудительного, если бы не одно обстоятельство — мы никогда не будем жить, как в Голландии, Англии и т.д. и т.п.

Парадокс нашего существования в том, что мы будем жить, как в России. Между тем эта иллюзия европейской модели существования нашего государства становится сегодня государственной доктриной, и я предвижу очередной грандиозный крах и грядущий коллапс, когда российский организм «переварит» это очередное заблуждение нашей увлекающейся интеллигенции. Мы смотрим на витрины Голландии, Франции, заходим в подъезды и не чувствуем запаха мочи прогорклой. И спрашиваем себя: почему мы не такие? Почему у нас не так? Почему у нас пусто — и пахнет мочой в подъезде? Давайте жить так, чтобы не пахло мочой и было всего много!

Но мы не можем так жить. Я не говорю, что мы обязательно должны гадить в подъездах. Я просто говорю о том, что механическая попытка принять западный образ жизни обречена. Запад может существовать, беря за основу существования экономические взаимоотношения. Я тебе посылаю нитки, ты мне посылаешь шпульки — и на этой экономической основе мы можем сосуществовать. А в России это нересально — существовать только на экономической основе.

То, что сегодня нас подталкивает еще к одной европоцентристской схеме общечеловеческого счастья, некой единой модели, — меня, во всяком случае, тревожит. Я мог бы вспомнить немало предостережений, произнесенных на сей счет, но из множества (Достоевский, Леонтьев, Данилевский, Самарин) сошлюсь хотя бы на Тютчева: «Нам известно идолопоклонство людей Запада перед всем, что есть форма, формула и политический механизм. Идолопоклонство это сделалось как бы последней религией Запада».

В России без идеи жить невозможно. Я не имею в виду идеологию — скажем, большевистскую. Мы уже это проходили. Но без идеи, без какого-то духовного единства в России нельзя. Действительно, не хлебом единым жив человек.

Русские люди, люди российского мира — ни европейцы, ни азиаты. Ведь Россия, представляющая собой не национальное, а государственное образование, сложилась и стала

«Востоком-Западом» (Евразией), впитав в себя ценности национальных и этнических культур населявших ее народов.

— Я слышал от Максимова, что вы увлечены идеями евразийства. Расшифруйте тогда, что вы вкладываете в понятие «евразийство».

— Я вкладываю в это понятие консолидацию всех желающих вокруг России, которая является евроазиатским континентом. Я не то чтобы увлечен идеями евразийства, я просто не вижу иного выхода на сегодняшний день. Россия всегда была тем балансом, той балансирующей, тем балансирующим институтом, включающим в себя и культуру, и историю, который вносил равновесие между Востоком и Западом, истинным Востоком и истинным Западом. Россия всегда была Евразией. Я это чувствую на уровне подкорки даже, нерационально — Россию вытащить и объединить только экономическими взаимоотношениями нельзя. Ну нельзя! Должна быть идея. Вообще идея — давайте создадим демократическое государство! — это херня, глупость, общий разговор, болтовня. Должна быть идея. Какая это идея и кто мы такие? Мы империя? Нет. Мы социалистическое государство? Нет. Кто мы? Мы — Евразия. У нас был, есть и, думаю, будет свой путь — евразийский. И несмотря на то, что «материализация» теории евразийства, возникшей в недрах Российского Зарубежья в 1920-х годах, не состоялась в силу различных причин (в том числе из-за откровенных и грязных провокаций большевистских спецслужб), — убежден, что сегодня на родной земле благотворные идеи евразийства способны воплотиться в реальность. В Союз суверенных евразийских государств, который и оставит Россию в центре, как это было, в силу того, что Россия и есть центр. Но в то же время уничтожит набившее оскомину понятие «старшего брата», который всех должен поучать, всеми командовать, а живет-то хуже всех младших... Я не говорю о том, чтобы присоединить там... Филиппины или тащить сюда Польшу — нет!

— Вроде к этому идет дело — создан ССГ...

— Союз суверенных государств? На чем он создан? Что их объединяет? Кроме экономических идей — ну что? Есть ли какая идея внеэкономическая? Мы говорим: отдавайте вы

нам — хлопок, мы вам — нефть. И что все? Где идея, вокруг которой это объединится? В чем эта идея? В дальнейшей демократизации, приватизации? Это все разговоры! «Демократическое государство анархично, — писал еще в 1934 году Карсавин. — Совершенно не управляет страной «народ» (демос); почти не управляет парламент, немного управляет кабинет министров, а более всего — бюрократия, единственный постоянный элемент власти».

Знакомая картина, не правда ли? И смотрите, какое сопротивление оказывается приватизации, рынку! Это не шпионы действуют — это внутреннее сопротивление. Тут несколько причин. Причины негативные — то, что людей отучили работать; то, что люди развращены Советской властью; то, что они привыкли ждать сверху указаний, поощрений, похвал, наград... или наказания. Не умеют думать о себе сами. Потеря понятий греха и стыда отучила их работать и делать что-то хорошо. Они делают плохо. Существует поговорочка: «Мы делаем вид, что работаем, а государство делает вид, что нам за эту работу платит». В этом «делании вида» прошло 74 года, включая репрессии. Сопротивление новому связано и с тем, что нет общей идеи. Россия объединялась до 17-го года вокруг престола, империи, православия, народности; после революции — вокруг идеи социализма. Монархию заменил сталинизм, сталищина. Товарищ Сталин обращался к людям сначала — «товарищи», а когда грянула война — «братья и сестры». «Товарищ» — понятие выдуманное, «братья и сестры» — понятие глубинное. Религию заменил социализм. Ни в одной стране мира не было государственного строя, который воспринимался как религия, на уровне эмоциональном! Была эта идея у России. Теперь эта идея разрушена.

— Ну, а идея демократии, свободы — разве она не может быть объединяющей?

— Нет. Как может идея свободы быть объединяющей? Идея свободы — разъединяющая, тем более в России, где свобода понимается как вседозволенность. В России «свобода» — это когда все можно, а «несвобода» — когда чего-нибудь нельзя. В отличие от Запада, где свобода — это когда можно то, что можно, а нельзя — то, что нельзя. А несвобода

для Запада — это когда сегодня нельзя то, что можно было вчера. России не свобода нужна, а отсутствие неволи. Как ни близки эти понятия, но оттенок противоположный. Все рассыпалось, а новой идеи нету.

— *А разве в событиях августа не было новой идеи? Молодежь у Белого дома...*

— Бессспорно, это как раз идея, которая могла бы утвердиться, если бы правительство не потеряло времени на эйфорию, на демонстрацию радости победы, на раскачивание толпы, на «рок на баррикадах», освященный Патриархом, где пели матерные частушки:

Загорелся БТР
у села Кукуева
Ну и пусть себе горит,
железяка ...!

«Хуева», но пелось — «железяка ржавая». Без даже мысли о том, что в этом бэтээре горят мальчики — и не фашисты, не кто-то еще другой, а мальчики, наши мальчики... Какая бесчувственность — и национальная, и просто гуманитарная! Если можно полуголой даме на ступеньках Белого дома в рок-концерте, на котором присутствовал Патриарх Московский и Всея Руси, петь такую частушку, с такими словами! Не задуматься о том, что БТР горит, в котором не враги сидят, а мальчики, давшие присягу.

— *Как раз это могло стать моментом национального примерения, а вместо этого...*

— Это могло стать моментом национального примерения, если бы сразу же не начали разбираться, «что вы делали 19-го числа?» «Почему вы сюда пришли, когда вас тут не было 19. 20 и 21-го?» Если б не стали делить пирог, пересаживаться из «Волг» в «Чайки», и из «Чаяк» в «ЗИЛы», скорей расхватывая помещения, места, славу и т.д. Во всем этом самое страшное — отсутствие и исторической памяти, и надежды на историческое будущее. Глубокое будущее, я не имею в виду сидение в кабинете в течение как можно более долгого времени. И поэтому, на мой взгляд, время-то упущено. 23, 24, 25, 30 августа — это были дни, когда можно было провести любые решения, и народ бы их принял. Народ бы их в ту секунду принял, понял и помог бы, потому что это

были бы решения, которые приняты в экстремальной ситуации. Вы можете себе представить Владимира Ильича Ленина, как бы к нему ни относиться, который...

— *Удалился в отпуск!*

— Да, вы можете себе представить? Вот на 5-й день революции он уехал в Крым отдохнуть... Это возможно?! Тут что-то не так, это продолжение того самого разложения, которое рождено большевизмом. Просто этот большевизм сменил цвет и направление, а методы остались те же: «кто не с нами, тот против нас». Променили шило коммунизма на мыло плохо понятой демократии.

— *Говорят, именно в эти дни вы стали советником Президента по культуре.*

— Нет, неправда. Во-первых, я стал советником не Президента, а премьер-министра России Силаева, а во-вторых, я стал им полтора года назад. Я просто не считал необходимым об этом на каждом углу говорить. У меня было мое дело, и я им занимался, и было другое дело, которое я обещал сделать Силаеву. А 23-го я положил ему мой рапорт об отставке. Именно в те самые дни счастья, когда, наверно, был смысл себе дырку в лацкане крутить, я положил ему мою отставку...

— *Почему?*

— Я написал, что не хочу иметь дело с Грядущим Хамом. Я увидел, что Президента окружают хамы. Президента окружают люди, которые не умеют себя вести, которые наслаждаются собою. Я говорю о явлении, которое обозначено словами «Грядущий Хам» и у Мережковского, и у Достоевского.

— *А людей, воплощающих это понятие, вы не хотите назвать?*

— Я называл их в интервью по телевидению. Я все назвал своими именами. Я вдруг увидел, что за всем этим стоит гордыня. Имена Президента и премьер-министра используется в вольной интерпретации теми, кто стоит за ними. Я ни на один митинг не ходил — и это был единственный митинг, на который я пришел просто в силу того, что я действительно был и внутри Белого дома 19-го числа, и снаружи. Я говорил

с людьми по радио. Я пришел туда не для того, чтобы наварить политического капитала или другого какого. Я пришел потому, что 19-го меня оскорбили, мне плюнули в лицо, кто-то пытался разговаривать со мной и с моей страной с позиции силы. Интеллигенция, которая в основном была на этих баррикадах, имеет право на то, чтобы кто-нибудь от нее выступил на митинге победы. И я просил слова не только себе: там был Ростропович, который прилетел из Америки специально для этого. И это слово нам не было дадено, хотя там выступал француз с переводчиком, еще кто-то... Шел отсев: «наши» и «не наши», кому дать — кому не дать слово. Это оскорбило меня не как Никиту Михалкова, а как представителя той самой российской интеллигенции, без которой ни одно доброе дело существовать не может. Когда власть не опирается на интеллигенцию, она превращается в насилие рано или поздно.

Власть должна быть красивой. Некрасивая власть становится безобразной. Не было дано слово ни мне, ни Ростроповичу, никому из интеллигенции. Выступал юноша-танкист, который назвал трех «великих людей» — Елену Боннэр, Хазанова и Ельцина, и это стало образом этой революции: Боннэр, Хазанов и Ельцин...

— *Жанна Бичевская на ступеньках Белого дома не нашла ничего лучше, чем пнуть Людмилу Зыкину.*

— Да, это все носит характер безобразный. Это некрасиво.

— *Как реагировали на ваше заявление об уходе?*

— Просили бумагу забрать, «сейчас не время». Мы должны работать вместе. Но я не верю в эту демократию, о которой все говорят. Ее нет — какая демократия? Нашу демократию люди поняли как возможность называть начальника дураком только потому, что он начальник. Не потому, что он еще и дурак. Не понимая, что если твой начальник — дурак, то ты сам не умнее своего начальника. Я не верю в эту демократию, никогда в нее не верил, ибо в России демократию понимают тоже как вседозволенность, как «можно все», как беспредел. «А почему ему можно, а мне нельзя?» Как в Англии — паровая машина, так в России всегда

движущей силой была зависть. А зависть, помноженная на эту «свободу», порождает такие уродства!

Люди перепутали понятия «равноправие» и «равенство». Равноправие — это равные для всех права, а равенство — это отсутствие прав. Равноправие достигается эволюцией, равенство — революцией.

Равноправие — это когда у нас у всех равные права, а уж дальше — как Бог дал, как ты учился, как работал, как ты реализуешь, что тебе Бог дал. А равенство — это когда: «А почему ему можно, а мне нельзя?» А вот потому, представь себе, что так Бог устроил: одним можно, а другим нельзя. Одни должны заниматься этим, а другие — тем. Если у тебя нет слуха, ты не должен петь в Большом театре. И если у тебя умение резать по дереву, ты должен резать по дереву. Отсутствие своего места в жизни и уважения к этому месту породило чудовищное явление, умноженное как бы на «демократию»: совершеннейший разгул, неуправляемость! Страна неуправляема сейчас.

— *То есть русский менталитет не дает возможности построить демократию в этой стране?*

— Да, но почему нужно понимать демократию в этой стране зеркально тому, как ее понимают во Франции? Это другая страна! Мы говорим, что были отсталой страной по сравнению с Западом. А почему нужно сравнивать себя с Западом-то? Почему критерием, эталоном стал именно Запад? Почему не Кигай, не Япония?

«В этой стране невозможна демократия». В этой стране голландская и английская демократия невозможны. Здесь может быть русская демократия. Какая — не знаю, могу догадываться только. Но ее нету.

Без центростремительности, без соборности России не будет. А если не будет России — то это конец мира просто...

— *Ну, а в качестве советника российского премьер-министра, то есть теперь уже советника Ельцина по культуре, что-то вы делаете конкретное?*

— Все, что в моих силах, я делал и продолжаю делать, общаясь с Силаевым, он сейчас — премьер-министр нового государства. Моя задача не в том, чтобы шептать на ухо

советы или наветы. А в том, чтобы люди, с которыми общаюсь, получали бы от меня информацию о том, как все это решалось в России, когда она была единой и неделимой. К сожалению, в силу разных причин у них нету этого опыта, этого знания. Они не знают Ильина, они не знают Бердяева, они не знают Струве, они не знают Леонтьева, они не знают Мережковского, они не знают Соловьева, они не знают Розанова. Они не знают всего, что создано русской философской мыслью как резюме исторического пути этой державы. Слово «перестройка» я нашел в бумагах Александра I, которые подготавливал ему Сперанский. А мы считаем, что это слово, которое придумал Горбачев. Это все было! Нужно искать ответы на сегодняшние вопросы не в том, каковы ошибки Брежнева или Сталина, а в чем были победы Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Михаила Федоровича Романова или Александра I. Искать у Столыпина...

— *Что из тех идей кажется вам актуальным сегодня, годным для воплощения?*

— Выступление Столыпина в качестве премьер-министра об аграрной реформе, о фермерстве — это же то, о чем говорится сейчас! Но 74 года людей отучали работать. Страна богата, открывали холодильник — и вынимали мясо, вынимали нефть, кормили этой нефтью полмира за бесценок, чтобы они голосовали только за коммунистические режимы, которые кровью, огнем и мечом уничтожали старые. Было много всего — и стало иссякать, и вдруг поняли, что это не бесконечно. Жили, ничего не приумножая, а только пользуясь богатствами. Целые поколения выросли людей, которым не стыдно сделать плохо. Посмотрите, как строятся дома, зайдите в больницы, на вокзалы, посмотрите, как работает умывальник, как делают батареи! Хорошо делают тем, от кого зависит конкретная твоя жизнь. Вот был ЦК КПСС — ему делали хорошо. Не сделаешь хорошо — уволят, а уволят — будешь работать в РСУ. А работать в РСУ — это значит: ни пайка, ни двух выходных...

— *А в применении к культуре? Что утрачено?*

— Утрачено все, чего там говорить... Утрачены понятия греха и стыда. Утрачена сама культура. Как учат детей, на

чем их учат? Учат, что история начинается с 17-го года, с Ленина, что Толстой — «зеркало русской революции», что Герцен — демократ... Вы когда учились в школе?

— *Я окончил в 49-м.*

— Значит, в 39-м поступили. Вы что-нибудь знали про Мережковского, пока учились в школе? Если вы сами не читали...

— *Читал.*

— Вы что-нибудь знали про Ильина, про Бердяева, про сборник «Вехи», про Соловьева? Ничего не знали про тех, кто спорил с Лениным, кроме тех материалов, где Ленин их лихо разбивал.

— *А когда для вас начался процесс постижения всех этих ценностей? Ведь вы тоже прошли через какое-то инакомыслие.*

— Мне повезло с матерью. Была Кончаловская Наталья Петровна, человек верующий, внучка Сурикова. Благодаря моему отцу имевшая возможность жить так, как она жила, то есть хранить дом и эти традиции. И мы воспитывались в совершенно иных условиях, чем все. Я никогда не был большевиком. Не то, чтобы я никогда не был в партии, дело не в этом, — никогда внутренне! Я воспитывался не на отрицании большевизма, ибо это было опасно, страшно, никто меня так не воспитывал — на ненависти; я воспитывался на том положительном, что несла в себе русская культура. Это картины Кончаловского. Рихтер, который приходил к нам домой. Писатели, которые приходили к нам, и рассказы мамы о том, как Маяковского бабушка спустила с лестницы, когда он пришел без приглашения. И Хлебников, который спал на диване у них. Шаляпин приходил домой к Кончаловским, и дети Шаляпина, и Рахманинов. Всех их знала моя мама, с ними дружила, называла на «ты». Имена, которые витали во время обедов и чаепитий: Павел Васильев, Борис Корнилов, еще кто-то. Это носило характер естественной ауры, атмосферы, там не было места большевизму.

— *Понятно. Но у вас был момент противостояния официальным структурам?*

— Он всегда был. Но я по своей природе не диссидент. Диссидентство — это отрицание. А мне неинтересно ни говорить, ни делать то, что я не люблю. Неинтересно говорить, как я, допустим, не люблю Ленина. Мне интересней рассказывать, как я люблю Обломова. А почему я не люблю Ленина — должно быть понятно из того, что я люблю Обломова. Я склонен — и меня учила так мать, с молоком матери это воспринималось — больше говорить «да», чем «нет». Но в том, чему я говорю «да», уже заложено мое «нет». Поэтому противостояние было всегда. Мне 46 лет. У меня четверо детей. Я снял... сколько? 11 картин. Написал около 30 сценариев. Около 60 картин, в которых я снялся. Почти все мои картины отмечены в мире премиями. Золотые премии — Сан-Себастьян, 4 премии в одном фестивале в Лондоне, «Обломов»... Но у меня нет ни одной государственной премии своей страны. Ни российской, ни СССР. Даже сейчас, когда выставляют на премию «Комиссара» или картину моего брата «Асю Клячину», не возникает идеи, скажем, выставить картину «Механическое пианино», которая облетела весь мир и называется в мире классикой. Когда «Пять вечеров» выставили на госпремию вместе с картиной «Москва слезам не верит», я попросил снять с обсуждения мою картину, потому что принимал, что получают они, а быть дорогостоящим гобелем для них не хочу. У меня никогда не было никаких премий... Нет, были: диплом кинотеатра «Ударник» и премия за режиссуру на всесоюзном кинофестивале в Киеве. Ну, фильмам цену мы знаем все. Не всегда было противостояние. Но кто-то — по-моему, Пушкин — сказал: «Я глубоко презираю свое отечество, но не люблю, когда это делают другие». Вот это для меня принципиально. Я никогда не пел в хоре.

Я сказал Павленку, заместителю министра кинематографии: «Я объявляю вам войну». Сказал это в его кабинете, когда он был заместителем министра. После этого я довольно много съел говна. А на 5-м съезде кинематографистов его стали поливать грязью и сгонять с трибуны Ермаша, министра кинематографа, свистом и топотом. Я из президиума, в котором сидел в первый и последний раз, видел, как люди топают ногами, прячась за спинами сидящих впереди. Я с

ними не хочу иметь ничего общего. И я защищал этого Павленка на съезде.

— *Владимир Максимов выдвигает идею примирить «правых» и «левых». А как вы считаете, эта идея живуча, жизнеспособна?*

— Примирить-то правых и левых можно только на общей идее. Общая идея — это идея нового государства. На чем оно будет? На демократических основах? Да, конечно, учить надо демократии. Но демократия — в первую очередь уважение друг к другу. Может быть демократия без уважения? Ну о какой демократии можно говорить, когда в парламенте люди с места орут на Президента страны, которого сами избрали? Машут на него руками, кричат, требуют сатисфакции...

— *Или даже пытаются привлечь по уголовной статье.*

— В этом привкус, запах коммунальной кухни, который очень трудно вытравляется. У Пушкина есть гениальное четверостишие:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

— *В России так было всегда. Хотя нет — ведь Жуковский воспитывал царских детей...*

— Конечно. Но сегодня раб и льстец одни приближены к престолу. А когда возникает механическая оппозиция — абы говорить против — меня это не интересует. Меня интересует только то, о чем можно говорить «за». «Да», «давайте», «хорошо», а не «нет». В цивилизованном мире принято: можешь сделать — делай! Какая поразительная, простая формула! Так рассуждают все: если я могу этого не сделать, я этого не сделаю.

Приходит с просьбой кто-то, можно сделать — не делают! И вот это унижение, которое я испытывал, ходя по инстанциям, хихикая и лебезя, бия чечетку в кабинетах, уговаривая, объясняя, пия водку с людьми, с которыми неинтересно это делать, — это все ради чего? Ради того, чтобы у себя на родине работать... твою мать! У себя!

Я могу работать где угодно, слава тебе Господи, сейчас — где угодно: во Франции, в Италии, в Америке, в Испании. Зовут — вот так! В Японии... Я могу получить офис, квартиру, купить квартиру в Риме — пожалуйста! Я могу это сделать. Но я хочу работать дома. И мне приходится трагить силы и унижаться для того, чтобы иметь возможность работать дома. Чтобы жить и работать здесь, мне приходится ухищряться, давать взятки. Вместо того, чтобы мне давали взятки и уговаривали, б... — есть работа! Вместо того, чтобы мне создать условия — только не уезжай!

— *В 46 лет вы встали во главе собственного дела. Вы имеете собственный особняк в историческом центре Москвы. Вы воплотили почти все свои замыслы. А в чем все-таки сверхзадача? Когда вы сможете сказать себе: «Я выполнил свое жизненное предназначение»?*

— Надеюсь, что никогда не смогу этого сказать. Счастье жизни — в самой жизни. Меня интересует не результат, а делание, процесс. Как замечательно в книге Лошица сказано о Гончарове: счастье не тогда, когда получилось, не тогда, когда получится, а когда получается. Когда Гончаров писал «Обломова», он вдруг написал: «По-лу-ча-ется!» — в движении! В России важен процесс, а не результат. Самое большое несчастье наших руководителей, многих, в том числе Петра I, что они хотят видеть результаты своей деятельности при своей жизни. Они торопят процесс. Эволюцию разбивают и, гоня ее, превращают в революцию. Ленин желал видеть результаты жизни при жизни...

Петр разделил навсегда интеллигенцию и народ. Одни учатся в Голландии, а другим не объяснил, зачем нужно кофе пить утром, а не водку, как пили при дедах. Петр, введя табель о рангах, создал эту структуру, когда инспектор ГАИ отдает честь черной машине независимо от того, кто в ней едет. Это символ власти. Там могут везти помидоры, арбузы, пьяного, ребенка, тетку — кого угодно! Но это образ власти...

— *А у вас нет желания хоть чуть-чуть повернуть колесо истории в нужном направлении, подтолкнуть его?*

— Дело не в этом. Надо не пиздеть, простите меня, на митингах, а заниматься делом. Если б та энергия, которая

была истрачена на митингах в течение прошлого года, была б пущена просто на то, чтоб восстановить дороги в Москве, мы б ездили по хорошим дорогам. Если бы энергия, которая выпускается в воздух для того, чтобы раскачивать толпу, была бы пущена на то, чтобы ремонтировать водопровод или дома, у нас были бы отремонтированы и водопровод, и дома.

«Надо заниматься делом, господа!», как говорил профессор Серебряков в «Дяде Ване». А мы делом не занимаемся, — отучили. Посмотрите, сколько людей ходят по улицам в течение всего дня, в каждый будний день. Улицы забиты людьми — до семи, до закрытия магазинов, дальше они пустые. Никогда на Калининском проспекте не было столько людей даже в выходные или праздники. Страна превратилась во всеобщую тусовку. Тусовка и болтовня, и не занимаются элементарным делом.

— *Если б соединить, как говорил Сталин, русский революционный размах с американской деловитостью, — может быть, что-то бы из этого и получилось.*

— Да зачем с американской? Вот это поражает. Соедините размах с купеческой деловитостью, русских купцов дореволюционных. Что такое был русский купец! Русский фабрикант! Русский купец, которому было достаточно крестик поставить на притолке у входа, чтобы знать, что тебе принесут долг тогда-то. Без писем — было слово!

Посмотрите, как развивались мануфактуры, вообще промышленность в стране, как она гигантски развивалась! Какие ткани делались, какие набивки, какие фантастические краски! Лен какой был, я уж не говорю про остальное — про живопись, музыку. Вы Шмелева почитайте — «Лето господне», какой стол был в Великий пост, начиная с грибного рынка. И насколько это было доступно! Да... Я уж не говорю — икорочка, о которой сейчас смешон даже разговор. Ну да, какие-нибудь трюфеля не всем были доступны, чай цейлонский был дорог. Но на одном и том же рынке брали еду в пост и баре, и не-баре. Я специально говорю именно о «поститься»...

— *Никита Сергеевич, какие ваши прогнозы, что будет в итоге — ну, хотя бы в ближайшие 2-3 года? Выберемся мы из этой дыры или нет?*

— Я не знаю. Вряд ли. Мы возвращаемся к тому — на чем мы можем объединиться, господа? На том, что мы континент. Взаимоотношения между Ельциным и Назарбаевым, да и сам состав участников будущего Союза указывают на то, что Евразия как геополитическая, экономическая и историко-культурная общность есть не только судьба России, но может и должна быть образующей линией ее союзной деятельности.

Из этого не следует, что нужно отворотиться от Европы и броситься в Азию. Вообще, не нужно вертеться! Следует просто и ясно вспомнить, кем мы были, понять, кто мы есть и занять свое место.

— *Так почему же в России все-таки интересно жить?*

— Не знаю! Я не могу этого объяснить. Но когда прихожу в Париже или в Италии куда бы то ни было, я себя чувствую человеком, который давно это все знал. Поверьте, это не снобизм — «а, это мы видали, это мы знаем», «а у нас лучше»... Просто я вижу, что на Западе уровень мышления и ассоциативный уровень настолько поверхностны! Они берут Достоевского — и вынимают из него только достоевщину. Они берут Чехова и пытаются его разгадать путем интервенции самовольной в его тексты. Чехов в исполнении французских или итальянских актеров, как правило, абсолютно лишен смысла, потому что они играют слова. А весь Чехов — он между словами. «Тарабумбия, сию на тумбе я» — это не слова, это состояние души!

В России все гигантское — гигантские просторы, гигантские глупости, гигантские таланты, гигантское хамство и гигантская нежность. А выедешь из Костромы в Финляндию — все есть, а удивляться нечему. Можно удивиться один раз, очень быстро понять — и все. Дальше только технология, технология, технология.

И меня поражает Япония, я потрясаюсь Японией. С одной стороны — японская технология, Осака, где стоят сто тысяч игровых автоматов, и день и ночь этот звук: «трим-брам, трим-брам». Автоматы, сидят люди накуренные, играют — и это похоже на наркотик. И с другой стороны — Киото, где стоит храм, дворец. Когда его строили тысячу лет назад, рядом сажали лес, который должен расти и стареть вместе с

храмом. И ремонтировать этот храм должны тем лесом, который рожден одновременно с храмом. Вот это меня поражает: ощущение единого целого, себя в пространстве.

— *Давайте закончим тем, с чего начали, — разговором о пьесе Максимова, на которой мы вчера были. Я так понял идею автора: и там, и здесь настоящему таланту пробиться одинаково трудно.*

— Любой художник находится в противоречии с самим собой, с окружающим миром, с завистниками. У меня было ощущение, что вижу пьесу, написанную советским драматургом много лет назад. Смелая пьеса, со словечками, с возвращением первоизданного смысла словам «ностальгия», «родина», «малая родина», «снежок на улице», «сверчок». Это то, что возбуждает и делает душу как-то мягче. Это мир теней, воспоминаний, запахов, ощущений, звуков, половиц, ветра. Это живет в генетической памяти нашей. То, что старушка вчера на сцене у Максимова говорила, я это ощущаю физиологически, это во мне. Варенье, запах варенья... только у меня другой запах — кофе с молоком, на террасе, летом, и запах жареных тостов, который сопровождал все... Летние завтраки на террасе, когда все сходились пить чай, и мама в халате... Все это составляет мою историю, мою жизнь, жизнь моих родителей, моих предков, которые поколениями здесь жили — и здесь, и не здесь — 500 лет моему роду!

— *Вы говорите, это особняк Алябьева? И он отремонтирован вашими друзьями-реставраторами? Интересно было бы знать, на чьи средства...*

— Дом Алябьева мы восстановили за свой счет, вложили в него почти 2 миллиона.

— *На средства «Мосфильма»?*

— Какого «Мосфильма»? Это моя студия, «Мосфильм» никакого отношения не имеет к этому.

— *Как называется студия?*

— Называется «Тритэ» — три «Т»: товарищество, творчество, труд. Плюс издательство, которое, вот видите, издало такие книги. А самое главное — многотомное издание «Российский архив», продолжение дела Бартенева. Ни один

документ до сих пор не был опубликован! Никаких изъятий — и никаких толкований. Первый том — 40 печатных листов, открыта подписка. В огромном количестве голов и душ, изуродованных, как ржавчиной, завистью и неверием, не укладывается мысль, что кто-то может это делать бескорыстно. Есть что-то более важное, чем немедленно схватить — и разбежаться... Я отдал Фонду культуры 10 тысяч долларов моего гонорара за постановку «Механического пианино», спектакля в Риме. Первый вопрос был такой: «Сколько ж он заработал, если он может 10 тысяч оставить?»

Существует гадкое, всепожирающее неверие ни во что. Безбожие, в общем-то.

Еще раз повторяю, мы россияне, в глубинной своей сути не славянофилы и народники (как принято думать) и не западники (как бы того хотелось многим). Мы — евразийцы, люди, для которых священно творческое значение самодержавной человеческой личности, в том числе и в области хозяйственной; люди, которым чужд экономический уравнительный коллективизм; люди, которые помнят свою историю, любят свою землю и для которых всегда служила опорой Русская Православная Церковь. Мы не задворки Европы, мы — окно в Азию...

... — Я должен сейчас отъехать к Кремлю! — последняя реплика, записанная на магнитофон в кабинете Никиты Сергеевича Михалкова.

18 ноября 1991

КОНТИНЕНТ — CONTINENT
Годовая подписка (4 номера)
Abonnement pour 1 an (4 numeros)

Фамилия (Название учреждения) (Nom ou etablissement):

.....
.....

Адрес (Adresse):

.....
.....

Оплату произвожу (Je fais le payement):
приложенным чеком во франках (par cheque en francs)
почтовым переводом (par mandat postal)
банковским переводом (par ordre bancaire)

Стоимость годовой подписки (Prix d'abonnement annuel):
200 francs fr. — 60 DM — 32 \$ USA (air mail — 40 \$)

Заполненный талон просим направлять по адресу
(Veuillez envoyer votre talon rempli a l'adresse):

Association des Amis de la revue «Continent»,
16bis rue Lauriston, 75116 Paris, France
Платеж — по тому же адресу или в банк
(Payement a la meme adresse ou a la banque):
Les Amis de la revue «Continent», compte 3.726130.8.
Societe Generale, Agence Kleber, 45 av. Kleber,
75116 Paris, France

Для подписчиков в США и Канаде
(For the subscribers in USA and Canada):
Continent-USA, Edward D. Lozansky
3001 Veazey Terrace, N.W., Washington, D.C. 20008,
USA



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходявшей в 1890 — 1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи пойдет на закупку одноразовых шприцев и других медикаментов для передачи Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненные золотом, богато иллюстрированные табличками, цветными картами и литографиями тома. Издание осуществится в 1990 — 1994. Стоимость тома \$28. Пересылка в США и Канаду \$0.99 за том, в другие страны \$1.99 за том. Оплата подписки может производиться поточно по мере выхода. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30% скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит \$1600 плюс \$56 (в США и Канаде) или \$113 (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton, MA 02159, USA. FAX (617) 489-6255. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеназванные благотворительные цели.

ВЫШЛО СОРОК ТОМОВ

Сдано в набор 6.12.91

Подписано в печать 11.01.92 Формат 70х100/32.

Бумага офсетная №1. Печать офсетная.

Печ. л. 10,5. Усл. печ. л. 13,35.

Тираж 5000 экз. Зак. 3112—92

Оригинал-макет изготовлен

А/О «Сложные программные системы (СПС)»

г. Москва. Тел.: 462-15-45

Отпечатано в 12 ЦТ

ISSN 5-8330-0008-4

Prix 60F